СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

Советский писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия
Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

*Вступительная статья
и составление С. И. Машинского*

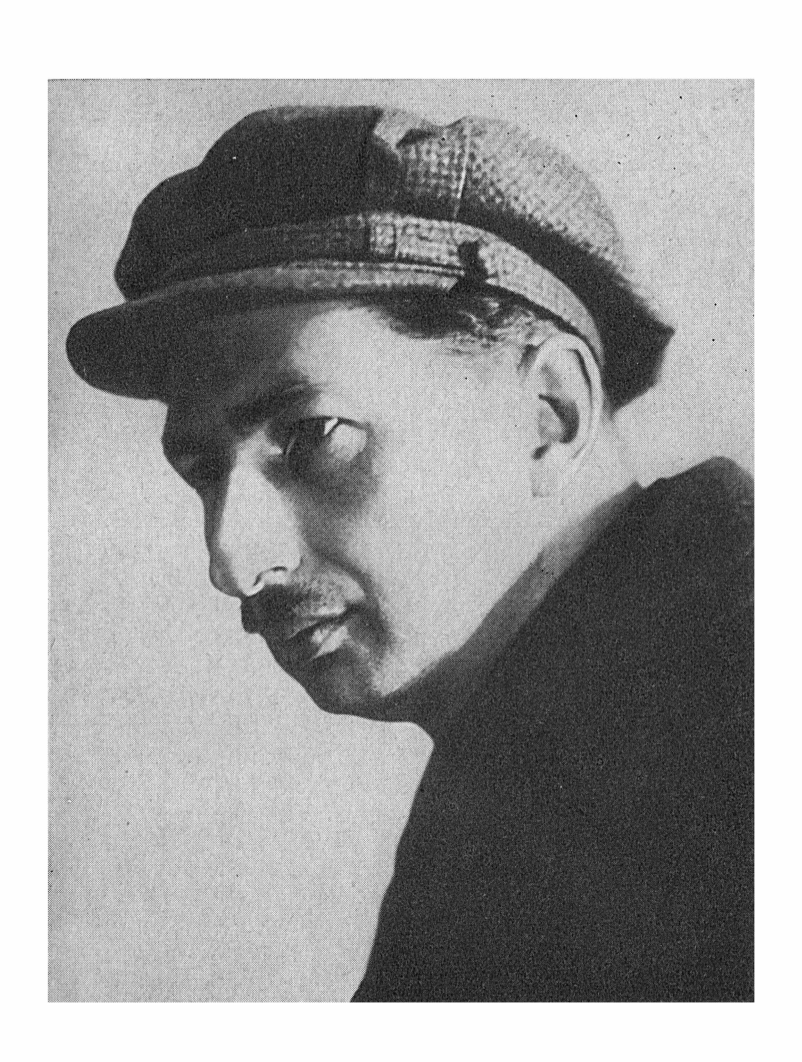
*Подготовка текста
и примечания Е. И. Прохорова*

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1974

Р 2
Г 70

Самобытный и одаренный мастер стиха, Сергей Городецкий (1884—1967) принадлежит к тому поколению советских поэтов, чей творческий путь начался задолго до Октября. Преодолев влияния модернистских течений — символизма и акмеизма — Сергей Городецкий принял активное участие в строительстве социалистической культуры. Настоящее издание — самое полное из существующих и первое научно подготовленное собрание стихотворений поэта. Оно включает в себя наиболее характерные и яркие образцы творчества Городецкого. Несколько стихотворений публикуется впервые.

Г $\frac{70402-111}{083(02)-74}$ 338—74



СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

Вскоре после выхода в свет первой книги стихов Городецкого «Ярь» Блок опубликовал в журнале «Золотое руно» статью «О лирике», в которой поставил молодого, далеко еще не оперившегося поэта в один ряд с самыми крупными мастерами современной русской поэзии. «Прошло немногим больше года с той поры, — писал он, — как на литературное поприще вступил Сергей Городецкий. Но уже звезда его поэзии, как Сириус, яркая и влажная, поднялась высоко. Эта звезда первой величины готова закончить свое первое кругосветное плавание». И далее: «Мы верим в то, что эта звезда-корабль отбросит груз и, строго храня свои чудесные сокровища, заключит первый круг, уже почти очерченный ею, и, поднявшись снова, пройдет путь еще круче и еще чудеснее». [1]

Блок прозорливо разглядел в молодом Городецком и сильное дарование и то, что оно в самой ранней своей фазе было отягощено неким «грузом», от которого поэту предстояло возможно скорее освободить свой волшебный корабль.

В начале нашего века литературная критика, поспешно вершившая свои приговоры, каждодневно открывала новые светила. Но судьба подавляющего большинства модных в то время поэтов была быстротечной. Сверкнув одним-другим десятком стихотворений, они быстро затем иссякали и угасали, чтобы кануть в Лету.

По-иному сложилась судьба Городецкого. После «Яри» он выпустил немалое количество книг, со страниц которых вставала самобытная индивидуальность художника, сумевшего пронести сквозь

---

[1] Александр Блок, Собр. соч. в восьми томах, т. 5, М.—Л., 1962, с. 145. В дальнейшем все ссылки на сочинения Блока даются по этому изданию.

строй десятилетий живое, творческое восприятие действительности И, пристально вглядываясь сейчас в строки, столь разные по своему содержанию и форме, мы ощущаем в них не только личность поэта, но и приметы времени, атмосферу больших исторических событий, современником которых был Сергей Городецкий.

В своем художественном развитии Городецкий знавал взлеты и падения. И сколь бы ни были серьезны неудачи, постигавшие поэта в различные периоды его многотрудной творческой биографии, важно, однако, отметить, озирая весь его поэтический путь, что в моменты наиболее крутых исторических поворотов он шел вместе с народом и ему посвящал свой труд и свой талант.

1

Сергей Митрофанович Городецкий родился в январе 1884 года в Петербурге. Он происходил из семьи, отличавшейся прочными культурными традициями. Его мать, урожденная Анучина, в ранней юности была знакома с И. С. Тургеневым, а позднее увлекалась идеями шестидесятников. Отец поэта всю жизнь провел на службе в земском отделе министерства внутренних дел, он был писателем-этнографом, а также художником-любителем.

Ребенком Городецкий встречал в кабинете отца видных художников и писателей, а от Н. С. Лескова получил «Левшу» с дарственной авторской надписью. В будущем поэте рано пробудился интерес к литературе. Отец Сергея Городецкого, самозабвенно любивший искусство, был первым человеком, внушившим ему горячую любовь к поэзии, к Пушкину, Кольцову, Никитину, и вместе с тем критическое отношение к поэтам-эпигонам — С. Г. Фругу, К. Н. Льдову.

Когда Городецкому едва минуло девять лет, в семью вошла печаль и нужда: умер отец, и мать осталась с пятью детьми на небольшой пенсии. Потекли годы гимназического ученья, а с шестого класса началась трудовая жизнь — пришлось заняться частными уроками.

В 1902 году мы уже видим Сергея Городецкого студентом историко-филологического факультета Петербургского университета. С энтузиазмом изучал он историю искусства и русской литературы, славянские языки. С помощью старшего брата — Б. М. Городецкого, впоследствии известного библиографа, знатока истории Северного Кавказа — юноша был введен в общество библиографов и специалистов-филологов. Казалось, ему было уготовлено поприще ученого-филолога. Но все сложилось по-иному.

В 1903 году в жизни Городецкого произошло важное событие, окончательно решившее его судьбу. В университетской аудитории, на лекциях по сербскому языку, он познакомился со студентом Александром Блоком. Как только выяснилось, что оба студента — поэты, знакомство переросло в дружбу.

В написанной полтора десятилетия назад автобиографической исповеди Городецкий рассказывает о своих ранних духовных скитаниях. На заре своей юности он испытал сильную потребность в философско-мировоззренческом самоутверждении. Еще в университетские годы он попеременно пережил увлечение славяноведением, античностью, историей отечественного искусства и литературы. Соответствующие кафедры предлагали ему остаться при университете и соблазняли перспективой ученой карьеры. Но Городецкий не внял «соблазнам» и, не сдав государственных экзаменов, внезапно расстался со своей альма-матер. Примечательно данное им объяснение: это случилось потому, что ни одна из кафедр не давала ему «путевки в жизнь на основе твердого мировоззрения».[1]

Нужда в таком мировоззрении бросала молодого Городецкого навстречу различным, порой весьма сомнительным философским теориям, в которых он тщетно искал ответы на тревожные вопросы, все сильнее будоражившие его душу. Он пережил увлечение Ницше, искал свет истины в новомодных тогда «Энергетике» Освальда и «Творческой эволюции» Бергсона. Одни увлечения сменялись другими, но никакое из них не давало серьезного удовлетворения.

Вдумчивый, предрасположенный к конкретной и вместе с тем обобщенной мысли, Городецкий стремится уяснить те процессы, которые происходят в современном общественном сознании и литературе. В его высказываниях порой сквозит симпатия к декадентству и желание оградить его от критики. 12 декабря 1904 года он сообщает Блоку: «Я прочитал на днях свой реферат в одном домашнем кружке с явно выраженным позитивным направлением. Между упреками в неопределенности таких терминов, как «сущность», «просветление», вас — в индивидуализме (говорили, что поэт должен жечь сердца людей, а не заниматься личными ощущениями), называли поэзию декадентов бегством от действительности. Я восставал, но различия во взглядах оказались принципиальными, поэтому каждый остался при своем. Надеюсь завтра встретить среду более восприимчивую».[2]

---

[1] С. Городецкий. Мой путь. — «Советские писатели. Автобиографии в двух томах», т. 1, М., 1959, с. 321.

[2] Центральный Государственный архив литературы и искусства (в дальнейшем сокращенно: ЦГАЛИ), ф. А. А. Блока.

Блоку Городецкий поверял свои самые сокровенные раздумья о разнообразных явлениях жизни и искусства. До нас дошло более восьмидесяти его писем к Блоку. Ответные, к сожалению, почти не сохранились. Но и письма одной стороны воссоздают атмосферу духовной близости и доверия, которая царила в отношениях обоих поэтов. Блок был старше четырьмя годами и вообще казался Городецкому одареннее и проницательнее его самого, он служил для него абсолютным мерилом нравственной и эстетической чуткости. Тон писем Городецкого доверителен и необычайно восторжен. «Я вне всякой литературы связан с тобой первыми отроческими впечатлениями бытия, — писал он Блоку 20 октября 1910 года, — и в минуты ясности и в минуты грусти одинаково тянусь к тебе и тяну тебя к себе. Это выше и крепче многого-многого». [1]

Во взглядах Городецкого на искусство угадываются обрывки подхваченных и наспех усвоенных идей. Из разных систем извлекает он аргументы для обоснования своих взглядов. С одной стороны, Городецкий убежден в том, что только реальная жизнь может служить источником истинного искусства и лишь правда достойна его. С другой же, для него характерна апология «мифа», способного якобы воплотить некую высшую для художественного творчества «правду-ложь». Вот несколько строк из его письма к Блоку (28 июня 1906 года): «Миф — это наибольшая ложь. А большая ложь — это существенный признак той большой, *здоровой* поэзии, которой так теперь хочется. *Лги по правде* — вот формула, т. е. так, чтобы тебе поверили. Выдумывай, сочиняй, и это будет самая *нужная* поэзия». [2] В представлении Городецкого, на руинах «только что законченного периода» рождается искусство, которое сохраняет свою преемственную связь с прошлым и обладает тем преимуществом над этим прошлым, которое дает творчеству «наибольшая общедоступность». Насаждавшийся символизмом культ утонченного, рафинированного искусства утрачивает в глазах Городецкого свое значение. С первых же своих самостоятельных шагов в поэзии он ищет путей к слову, наполненному ясным содержанием и способному возможно более конкретно передать мир человеческих чувств. Поиски изобразительных возможностей мифа сочетаются в Городецком с интересом к изображению реальных, земных сторон жизни. Он допускает возможность значительных художественных достижений и в реалистических формах творчества. В цитированном выше письме к Блоку он замечает: «Может быть, для Вас действительно дорога к большому искусству

---

[1] ЦГАЛИ, ф. А. А. Блока.
[2] Там же.

лежит через „реализм"».[1] И далее он просит того же корреспондента подробнее разъяснить мысль о том, что «искусство должно изображать жизнь (поскольку Вы согласны с формулой: явление жизни — семя художественного произведения)».[2]

Двойственность, незрелость эстетических взглядов Городецкого вполне очевидна. Печать этой двойственности лежит и на его ранних стихах. И даже лучшую его книгу «Ярь» он сам называл «двойственной по содержанию».[3]

Серьезным испытанием для Городецкого явился 1904 год. Военное поражение России отозвалось глубокой болью в сердце поэта, тогда еще далекого от понимания истинных причин этой катастрофы. И в жизнерадостную, оптимистическую тональность его юношеских стихов вплетаются новые мотивы, навеянные скорбными размышлениями о гибели мира и своей собственной смерти. Но не эти мотивы составляли тогда главную стихию творчества молодого поэта.

Летние поездки 1904 и 1905 годов в деревни Псковской губернии пробудили в молодом поэте жадный интерес к народному творчеству, получивший затем дальнейшее развитие в университетских студиях. В районах Псковщины в те времена еще бытовали старинные хороводы, затейливые обрядовые пляски, а в причудливых сказках старух и детских играх слышались отзвуки языческой старины. Отсюда идет живая нить к «веснянкам» и «ярильским песням» поэта, которые легли в основу его первой книги «Ярь».

Эти стихи сделали Городецкого любимцем нескольких литературных салонов в Петербурге. В. А. Пяст рассказывает в своих воспоминаниях, как на одной из поэтических «сред» в знаменитой «башне» на седьмом этаже у Вячеслава Иванова Городецкий прочитал стихотворение о рождении Ярилы. «Все взволновались, — продолжает мемуарист. — Все померкло перед этим «рождением Ярилы». Все поэты, прошедшие вереницей перед ареопагом под председательством Брюсова, — вместе с этим ареопагом, вынуждены были признать выступление Городецкого из рук вон выходящим». Ворчал лишь один Мережковский. Вячеслав Иванов вскочил и произнес речь. «Все следующие среды были средами триумфов юного Ярилы».[4] Вяч. Иванов пытался приблизить молодого поэта к символизму.

В начале 1907 (фактически — в декабре 1906) года вышла

---

[1] Письмо к А. А. Блоку от 28 июня 1906 г. — ЦГАЛИ, ф. А. А. Блока.

[2] Там же.

[3] С. Городецкий, Письмо к А. Блоку от 19 декабря 1906 г. — ЦГАЛИ, ф. А. А. Блока.

[4] В. Пяст, Встречи, М., 1929, с. 93.

первая книга Городецкого — «Ярь», принесшая двадцатидвухлетнему поэту широкое признание.

Этот небольшой сборник стал примечательным явлением в литературной жизни начала века. Крайне сложный и неровный по своим идейным мотивам и стилевым устремлениям, он, однако, прозвучал определенным диссонансом поэзии символизма.

Центральная тема первой книги Городецкого была связана с поэтизацией стихийной силы первобытного человека. Обращаясь к древнеславянской языческой мифологии, поэт создал образы, излучающие бурную радость, воплощающие как бы красоту и мощь самой природы (циклы «Тар», «Ярила», «Валкаланда» и другие).

«Ярь» воссоздает многоцветный, яркий, полуреальный образ древней Руси, в чем-то созвучный полотнам Кустодиева и Васнецова. Как явствует из воспоминаний М. В. Бабенчикова, университетского товарища Городецкого, поэт «хорошо знал славянскую мифологию и чувствовал народный язык».[1] С детских лет Городецкий впитал в себя интерес к русской старине, давшей ему изначальный толчок к познанию истории и раздвинувшей его представления об окружающем мире. «Стремление к древности, — писал Городецкий в одной из ранних своих автобиографических заметок, — я унаследовал от отца. На этой почве, под впечатлением деревенской жизни, возникли мои языческие стихи, основанные на наблюдениях над играми деревенских детей».[2]

В стихах Городецкого очень своеобразно отражается поэтический строй языческой мифологии. Ярила, Тар — образы, созданные воображением поэта. Мифотворчество у Городецкого предстает совершенно очищенным от мистики и светится земным юмором. Поэт творит оригинальные мифологические образы, в которых причудливо сплетаются отголоски языческих верований, достоверной старины, обрядовых игр, традиций народной поэзии, а также живые приметы современной эпохи. Его мифологические герои наделены страшной, нечеловеческой силой и готовы вступить в единоборство со стихиями природы. Они веселы, беззаботны; они несут в себе высокие нравственные идеалы. Вот, например, триптих, посвященный Яриле. В первой части изображается «рожество» героя.

В горенке малой
У бабы беспалой

от неведомых отцов появляются на свет божий дети и среди них — «невиданный малый» Ярила. В последующих стихотворениях мы

[1] ЦГАЛИ, ф. М. В. Бабенчикова.
[2] ЦГАЛИ, ф. В. Е. Чешихина.

узнаем новые подробности о Яриле, рожденном для подвигов и добрых дел. Это стихи веселые и озорные, написанные в манере, близкой к традициям народной поэзии, и абсолютно лишенные того отпечатка салонности и светскости, который лежал на поэзии символизма. Стихи Городецкого дышали молодостью и свежестью поэтического чувства. Строгой соразмерности и «упорядоченности» стиха, свойственной символистам, Городецкий противопоставляет свою, во многом отличную поэтику. Его разностопный, свободно организованный стих необычайно экспрессивен. Обогащенный фольклорными мотивами, вобрав в себя элементы древнерусской речи, он открывался читателю какими-то совершенно новыми гранями.

«Ярила, Ярила,
Высокой Ярила,
Твои мы.
Яри нас, яри нас
Очима.
Конь в поле ярится,
Уж князь заярится,
Прискаче.
Прискаче, поиме
Любую.
Ярила, Ярила,
Ярую!
Ярила, Ярила,
Твоя я!
Яри мя, яри мя,
Очима
Сверкая!»

Звонкая, напряженная интонация этих стихов, звучавших как заклятие или заговор, будоражила воображение и вносила какие-то существенные поправки в общепринятую систему стихосложения. Связанный в истоках своего творчества с эстетикой и поэтикой символизма, Городецкий вместе с тем испытывает внутреннюю потребность в преодолении традиционных форм символизма.

Другая тема ранней лирики Городецкого отражала интерес поэта к миру простых людей, к жизни тружеников города и деревни. Это — поэзия, в которой ощущается запах ржаного хлеба, слышен звон кандалов, видны вдовьи и материнские слезы. Грустные размышления над «миром горюющим», скорбная тональность этих стихотворений явно противостояли светлым, солнечным краскам «яриль-

ских песен», овеянных настроениями страстного жизнелюбия, буйной радости человека, воспринимающего жизнь в «огнепылающей красе» и восторженно любующегося «вселенной молодой». Различие между двумя основными разделами стихов в первой книге Городецкого еще более подчеркивалось их названиями — «Ярь» и «Темь».

«Ярь» была книгой резких красок и контрастных звучаний. Она включала в себя стихи, свидетельствовавшие о присущей Городецкому наблюдательности, его умении пристально и глубоко вглядываться в нищую жизнь городских окраин и голодной деревни. Эти стихи создавали еще ощущение стихийного, жизнеутверждающего песнопения, пытающегося отразить неукротимые творческие силы народа.

Резкая контрастность в идейном и эмоциональном восприятии жизни, наряду с разнообразием стилевых красок, подчеркнуто выраженное желание уйти от обычной ритмической плавности стиха к более стремительным стиховым ритмам, — все это составляло характернейшую особенность «Яри».

О первой книге Городецкого появились восторженные критические отзывы. Давно уже книга стихов не вызывала в печати столь единодушных похвал.

Вячеслав Иванов назвал «Ярь» «литературным событием», знаменующим появление в русской литературе яркого таланта, «если еще и не зрелого, то во всяком случае самобытного и внушающего богатые надежды».[1] Особое значение Вяч. Иванов придавал вторгшейся в поэзию Городецкого живой стихии разговорного языка. «В его языке, — продолжал он, — подлинная *динамика* народной речи». О «великой чувственности», пронизывающей каждое стихотворение Городецкого, писал Максимилиан Волошин.[2] Суховатый и сдержанный на похвалы Брюсов выступил с рецензией, в которой отметил свежесть и молодость первой книги поэта — разнообразие ее содержания, оригинальность ее поэтики (автор «попытался возвратить стиху красоту метра и бесхитростных созвучий»). Брюсов писал, что своей «Ярью» Городецкий не только дал большие обещания, но и «приобрел опасное право — быть судимым в своей дальнейшей деятельности по законам для немногих».[3] Уже говорилось, что Блок отозвался о «Яри» как о замечательном явлении русской поэзии того времени. Он назвал ее «большой книгой», «поразительной и неожи-

---

[1] Вяч. Иванов, С. Городецкий. «Ярь». — «Критическое обозрение», 1907, вып. 2, с. 48.

[2] М. Волошин, «Ярь». Стихотворения С. Городецкого. — «Русь», 1906, 19 декабря.

[3] В. Брюсов, Далекие и близкие, М., 1913, с. 164.

данной», «может быть, величайшей из современных книг», в которой «все живет и трепещет своей жизнью».[1]

Разные по духу литераторы приветили книгу Городецкого и оценили ее за разное. Формула Блока (все в этой книге «живет и трепещет своей жизнью») оказалась, пожалуй, наиболее емкой и точной.

А. Т. Гречанинов, С. Н. Василенко и другие выдающиеся композиторы сочиняли музыку на стихи Городецкого. Словом, «Ярь» принесла ее творцу несомненный успех. Молодой поэт получил приглашение сотрудничать в модных тогда символистских журналах «Весы» и «Золотое руно», а несколько позднее стал печатать свои стихи в альманахах издательства «Шиповник».

В том же 1907 году, вскоре после «Яри» вышла в свет вторая книга Городецкого — «Перун», во многих отношениях близкая к первой. Особенно интересны здесь стихи, развивающие мотивы одного из разделов первой книги поэта — «Темь». Перед нами проходит длинная вереница лирических образов, в своей совокупности воплощающих «темные» стороны старой России. Это стихи о каторге фабричного труда, о беспросветно-тягостной жизни прачки, о горе слепой матери, сын которой томится «в далеком каземате», стихи о ничтожестве мещанства и о «зрелищах трущобных катастроф».

В некоторых стихах поэта таилось ощущение возможности иной, более совершенной действительности и содержались несомненные отзвуки революции 1905 года. Таково стихотворение «На массовку», проникнутое страстным осуждением «мира негодного», которому противопоставляется поэзия труда. В этом мире труд осквернен, оплеван:

В городе дымном
Станками, машинами, кассами
Дух искалечен.
В труде заунывном
Голод всегда обеспечен.

Но никто не может погасить мечту людей о «весне», о «воле», о «новой доле». Вот почему «морем шумливым» текут по оврагам люди на массовку, где они:

Снова и снова
Пьют заповедную брагу
Воздуха, воли, лучей.
Слова, кипящего слова,
Смелых речей!

---

[1] Александр Блок, Записные книжки (1901—1920), М., 1965, с. 85, 533; см. также Собр. соч., т. 5, с. 145, 148.

А. В. Луначарский сказал об этом стихотворении, что оно явилось «первым подарком поэта рабочему движению».[1]

В первых книгах Городецкого достаточно отчетливо выявились две стилевые тенденции. Одна из них была выражением чисто экспериментальной задачи, которую ставил перед собой поэт в области формы стиха — его структуры, словесной инструментовки и пр. Городецкий легко и весело умел играть словом:

И только ал закатный вал,
И только мил вечерний пыл.

Легкокрылая строка вылетает из груди поэта словно без каких бы то ни было усилий.

Прочитайте начало стихотворения, которым открывается книга «Ярь»:

Я под солнцем беспечальным
Верю светам изначальным,
Изливаемым во тьму...

А вот первые строки другого стихотворения из той же книги:

Не воздух, а золото,
Жидкое золото
Пролито в мир.
Скован без молота —
Жидкого золота
Не движется мир...

(«Зной»)[2]

И еще одно начало — из самого, вероятно, нашумевшего стихотворения этого поэта:

Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены...

(«Весна. Монастырская»)

---

[1] С. М. Городецкий, Стихи, с предисловием А. В. Луначарского, М., 1934, с. 7 (книга эта не вышла в свет, цитирую по единственному экземпляру корректуры, сохранившейся в архиве С. М. Городецкого; см. также: «Литературное наследство», № 74, 1965, с. 46).

[2] Об этом стихотворении Блок писал в статье «Краски и слова», что оно кажется ему «совершенным по красочности и конкретности словаря» (Александр Блок, Собр. соч., т. 5, с. 21).

Изощренная и, надо сказать, виртуозная звукопись не служит, однако, ни в одном, ни в другом, ни в третьем случае средством выражения значительной поэтической мысли и приобретает в сущности характер едва ли не самоценной игры. Певучая сила стиха Городецкого, кажется, работает здесь на холостом ходу. Вместе с тем нельзя не заметить, что богатая звукопись стиха иногда помогает своеобразному выявлению очень тонких, полуосознанных душевных движений или настроений.

В творчестве молодого поэта все отчетливее пробивалась и другая тенденция, в которой ощущались элементы реалистического восприятия действительности. Чтобы это почувствовать, достаточно перечитать такие стихи 1907 года, как «Поясок», «Череда», «Гость», отличающиеся сосредоточенной мыслью, свободной песенной интонацией и раскованностью поэтических ритмов. И пусть «ярильские песни» осложнены тяготением поэта к абстрактно-мифологическому образу, а порой и поэтизацией дикой языческой стихии, в них, в этих песнях, бурлила задорная молодость со свойственным ей ощущением избытка сил, царило пытливое стремление проникнуть в тайники жизни. И это мажорное начало в стихах Городецкого, отчасти вдохновленное в нем поэзией русского фольклора, скульптурой Коненкова, живописью Рериха, графикой Билибина, музыкой Римского-Корсакова и Лядова, привлекло к себе внимание всей читающей России.

Здесь, именно здесь коренилось то здоровое, первородное и неистребимое начало в поэзии Городецкого, от которого он временами впоследствии удалялся, но сердцем, видимо, никогда не изменял. Это начало определяло в нем относительно устойчивый мир чувств и мыслей, скрепляло разнообразный мир его творчества, придавая ему известное единство на всем протяжении литературного пути поэта.

2

Ранний этап творчества Городецкого совпал с очень сложными процессами, происходившими в общественной жизни России. Поражение революции 1905 года вызвало, как известно, разброд и смятение в среде буржуазной интеллигенции. Значительная ее часть прониклась настроениями безверия и пессимизма. На поверхность общественной жизни всплыло множество теорий, отражавших различную степень деградации буржуазной идеологии и культуры. Одним из характерных ее проявлений явилась теория так называемого «мистического анархизма» Г. И. Чулкова. Она выражала настроения определенной группы литераторов, близких к символизму, для кото-

рых «левая» фраза была формой мимикрии и служила стыдливым прикрытием истинного декадентства. Увлечение идеями «мистического анархизма» пережил и Городецкий, отдавший им дань также в своем творчестве.

28 июня 1906 года он писал Блоку: «Наступает великое время, выходит народ. И этому времени — свое искусство, тоже великое. Я не знаю, что такое символизм, но что какой-то круг завершен, это слишком ясно... Каждый чувствует приход и пророчит на своем языке. Г. Чулков — с мистическим анархизмом. В. Иванов — с теориями мифотворчества». И затем добавляет: «В них большая доля правды».[1] Как мы увидим, эта последняя фраза не случайно вышла из-под пера Городецкого.

Пафос теории «мистического анархизма» заключался в провозглашении непререкаемого права личности на абсолютную свободу, или, как выражался Чулков, в поисках путей «освобождения, которое заключает в себе *последнее утверждение личности* в начале абсолютном».[2] Почти одновременно с публикацией книги «О мистическом анархизме» Чулков предпринял издание альманаха «Факелы», вышедшего в двух книгах (1906 и 1907). Первая из них открывалась небольшим предисловием. Оно формулировало символ веры, который объединял авторов этой книги, проникнутых решимостью «бить в набат», во имя самоутверждения человека и его внутренней свободы. Торжественно и высокопарно звучали строки: «Стоустый вопль — «так жить нельзя!» — находит созвучие в сердце поэтов, и этот мятеж своеобразно преломляется в индивидуальной душе. «Факелы» должны раскрыть — по нашему плану — ту желанную внутреннюю тревогу, которая так характерна для современности».[3]

Надо, впрочем, признать, что эта широковещательная программа имела очень мало общего со включенными в сборник стихами и прозой самого Чулкова, Вяч. Иванова, Брюсова, Блока, Белого, Бунина, Андреева, Сологуба, а также Городецкого. Сочинения этих авторов и теоретическая программа сборника явно не звучали в унисон. Этот недочет, видимо, должна была восполнить выпущенная вскоре вторая книга «Факелов», составленная вся из статей почти тех же авторов.

Задавал тон во втором сборнике все тот же неутомимый Георгий Чулков, в одной из своих статей провозгласивший «непримиримое и

---

[1] ЦГАЛИ, ф. А. А. Блока.

[2] Г. Чулков, О мистическом анархизме, СПб., 1906, с. 28. Курсив автора.

[3] «Факелы», кн. 1, СПб., 1906, с. 3.

революционное отношение ко всякой государственности и к институту собственности».[1]

Выступил здесь со статьей и Сергей Городецкий. Она называлась «На светлом пути» — о поэзии Федора Сологуба «с точки зрения мистического анархизма». Сочинение это было довольно путаным. Общая теоретическая позиция автора никак не вязалась с конкретным разбором поэтического материала. Да и сама позиция была шаткой.

Как уже отмечалось, искушениям теории «мистического анархизма» поддался и Городецкий-поэт. Можно вспомнить, например, его стихотворение «Беспредельна даль поляны...». Все оно проникнуто патетическим прославлением некоего всемирного, нет — даже вселенского хаоса, в коем народы обретут наконец заветную гармонию и счастье:

Древний хаос потревожим,
Космос скованный низложим, —
Мы ведь можем, можем, можем!

Только пламенней желанья,
Только ярче ликованья, —
Расколдуем мирозданье!

Итак, разрушить, низвергнуть, «расколдовать», обратить все мирозданье во прах — вот тот «мистико-анархический» символ веры, который выражен в стихотворении Городецкого. Оно вызвало иронический отклик Блока: «Удивительно: как только Городецкий начинает кричать и расколдовывать мирозданье при помощи угроз, — становишься равнодушным к нему».[2]

Луначарский метко назвал сторонников «мистического анархизма» людьми, которые «подменяют борьбу за счастье — хныканьем и пустословием о блаженной кончине мира».[3]

Отрекаясь от декадентства, выдавая себя за принципиальных его противников, теоретики «мистического анархизма» в действительности мало чем от него отличались. Прошло много лет, и Чулков вынужден был признать, что корни его «мистического анархизма» так или иначе «уходили все-таки в декадентство».[4]

---

[1] «Факелы», кн. 2, СПб, 1907, с. 25.

[2] Александр Блок, Противоречия. — Собр. соч, т. 5, с. 413.

[3] А. Луначарский, Заметки философа. — «Образование», 1906, № 8, с. 55.

[4] Георгий Чулков, Годы странствий. Из книги воспоминаний, М., 1930, с. 82.

Нечто подобное можно было бы сказать и о Сергее Городецком. Вопреки основной тенденции своего творчества, он в известной мере был восприимчив и к декадентству, а в отдельные периоды своего художнического развития — и явно к нему тяготел. Не разделяя во многом теоретических воззрений символистов, их «душного мистицизма», отвергая их установку на «чистое искусство», поэт вместе с тем сотрудничал в их органах, да и в собственной творческой практике иногда оказывался по существу их союзником. Ему импонировали в символистах их особый интерес к «музыкальному началу» в поэзии и вообще к «поэтической форме» стиха, а также горячо отстаиваемая ими идея «свободы творчества».

Городецкого с его гражданским темпераментом неудержимо влекло в сферу активной общественной жизнедеятельности. Но, лишенный твердого мировоззренческого фундамента, он постоянно подвергался различным идеологическим воздействиям. Этим объясняется сложность пути Городецкого в дореволюционные годы и те очевидные противоречия, которые обнаруживаются в его идейной и собственно эстетической позиции.

В молодые годы свои поэт стал свидетелем революции 1905 года. Легко воспламенявшееся чувство Городецкого не прошло мимо грозных событий этого года. О том свидетельствуют многие стихи первых послереволюционных лет, проникнутые тревожным ощущением разлома мира и его трагического неблагополучия. Вот это здоровое начало всегда противостояло в сознании поэта тем чертам мировосприятия, которые формировались в нем в результате общения с Вяч. Ивановым, Чулковым и другими деятелями этого поэтического круга. Городецкий был недостаточно самостоятелен, и потому так сравнительно легко поддавался совершенно противоположным воздействиям.

В конце 1907 года группа демократических писателей задумала издание литературно-публицистического «благотворительного сборника», доход от которого предназначался для революционных целей. В этой несостоявшейся книге должны были участвовать Ленин, Горький, Луначарский, Покровский, Вересаев. Горький не только обещал свое участие в сборнике, но и принял на себя даже часть трудных организаторских хлопот, связанных с привлечением ряда писателей. В одном из писем к Вересаеву (от 13 декабря 1907 года), согласившемуся редактировать литературную часть книги, Горький советовал расширить круг ее авторов и, в частности, заметил: «Было бы хорошо пригласить из поэтов С. Городецкого — он, надеюсь, не с-р?» [1]

[1] М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 29, М., 1955, с 40.

Подозрение о причастности поэта к эсерам, вероятно, возникло у Горького в связи с выступлениями Городецкого в защиту «мистического анархизма».

В поэзии Городецкого далеко не все нравилось Горькому. От его внимательного глаза не могли ускользнуть те мотивы и тенденции в творчестве молодого поэта, которые вели свое начало от декадентства. В сентябре 1911 года Горький писал В. С. Миролюбову: «К⟨онстантин⟩ П⟨етрович⟩ со стихами Городецкого не согласен, и — правильно... Смешны стишки и довольно лубочные».[1] Горький имел в виду стихотворение «Поэт» («Тут, на углу, в кафе нескромном ..»). И суть дела, надо полагать, состояла вовсе не в отдельных ошибках против вкуса, отмечаемых здесь Горьким. Все стихотворение Городецкого казалось ему неточным по содержанию и направленности своей.

В конце 1906 года Городецкий организовал при Петербургском университете так называемый «Кружок молодых». Ядро кружка составляла демократически настроенная группа студентов. Литературные вечера, которые они проводили, помимо воспитанников университета посещали многочисленные любители поэзии, нередко и профессиональные писатели. Здесь иногда выступал и Александр Блок, к тому времени уже закончивший университет и ставший знаменитостью. В атмосферу литературных споров на вечерах иной раз врывались и не очень обычные для этой аудитории политические мотивы в речах Анатолия Луначарского. В позднейшей своей автобиографии Городецкий писал: «В «Кружке молодых» созрел мой разрыв с Олимпом символистов, со «средами» Вячеслава Иванова, где появились отчетливые мистические тенденции».[2]

В самом деле, его творчество претерпело зримую эволюцию. Наступившая после революции 1905 года эпоха реакции заметно приглушила страстный порыв и бурные жизнеутверждающие интонации поэзии Городецкого. Это всего нагляднее сказалось в книге «Дикая воля» (1908). Стихи последующих сборников — «Русь» (1910) и «Ива» (1913), посвященные изображению тяжких условий русской деревни, уже лишены резкой контрастности и ослепительной яркости красок, свойственных первым циклам Городецкого. Художественная палитра поэта, теперь менее узорчатая и пестрая, становится более ровной, и

---

[1] М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 29, с. 188. Константин Петрович — К. П. Пятницкий, один из руководителей издательства «Знание»; в то время был близок к Горькому.

[2] С. М. Городецкий, Мой путь. — «Советские писатели. Автобиографии в двух томах», т. 1, М., 1959, с. 325.

его творчество в целом постепенно приобретает черты возмужалости. Недаром одно из стихотворений в «Иве» называлось «Отдание молодости».

Внимание Городецкого сосредоточено на самых различных явлениях русской жизни. Мертвая «даль безлесья и бездомья», поэтически нарисованная в печальном стихотворении «Неотвязная картина», внутренне созвучна образу нищей в одноименном стихотворении, заинтересовавшем, по свидетельству автора, Льва Толстого. Это чудесное стихотворение почти с блоковской энергией поставило вопрос о трагическом неустройстве действительности. Бездомный плачущий ребенок, встреченный в пути в морозный встреный день, внушает поэту гневные строки:

Что же ты, Русь нерадивая,
Вьюгам бросаешь детей?
Ласка твоя прозорливая
Сгинула где без вестей?

Или сама ты заброшена
В тьму, маету, нищету?
Горе, незвано, непрошено,
Треплет твою красоту?

Ну-ка, вздохни по-старинному,
Злую помеху свали,
Чтобы опять по-былинному
Силы твои расцвели!

Буйно-радостное восприятие жизни в первых стихах все более явственно уступает теперь место сдержанной печали, сквозь которую возникает образ порабощенного «волгаря-бурлака» и заунывная картина «скорбящей моей страны» (стихотворение «Печальник»).

Растет и мастерство Городецкого. Выразительнее и чище становится его поэтический словарь, проще и прозрачнее — изобразительные средства, еще многообразнее — ритмика стиха.

Видное место в творчестве Городецкого занимает поэтический образ родины — ее прошлого и настоящего, трудной исторической судьбы ее народа. С этой темой связаны наиболее прогрессивные и демократические тенденции творчества поэта.

Многие стихи «Яри», «Перуна», «Руси» представляют собой лирические медитации, в которых раздумья о родной земле сопряжены с мыслью о трагических неурядицах современной жизни. Печаль и

тревога перемежаются здесь с чувством горделивой радости и веры в великость исторической судьбы своего народа.

Да, бедна ты и убога,
И несчастна, и темна,
Горемычная дорога
Всё еще не пройдена.

Но и нет тебя счастливей
На стремительной земле,
Нету счастья молчаливей,
Нету доли горделивей,
Больше света на челе.

Это строки из стихотворения «Русь», открывающего одноименную книгу. В нее вошло пятьдесят «песен и дум», развивающих ту же тему. Книга эта, как и все другие сборники Городецкого, неровная, противоречивая. Добротные стихи соседствуют в ней со строками невыразительными, недоношенными. Но общая, сквозная интонация, свойственная «народным» стихам Городецкого, свидетельствовала о том, как временами успешно могла муза поэта противостоять тем декадентским поветриям, к коим он бывал столь восприимчив. «Необычайная любовь Сергея Городецкого к древней Руси, — писал в 1913 году Владимир Нарбут, — его привязанность к неведомым медмежьим углам родины и соболезнование обиженным судьбою — роднят автора «Яри» с певцами, вышедшими непосредственно из глубин народных. . .». [1]

Эти глубинные народные истоки в творчестве Городецкого недаром вызывали ассоциации с поэзией Некрасова. Говоря о некоторых особенностях дарования молодого поэта, отразившихся в «Яри», Луначарский отметил: «У него начинают доминировать ноты, родственные Некрасову, — поэзия печальная, негодующая, в общем народническая, хотя она ближе к Некрасову произведений городских, чем к Некрасову деревни». [2]

Близостью к народным корням поэтического творчества вызван интерес Городецкого к поэзии Ивана Никитина. В 1911 году он вдруг выступил в роли ученого-литературоведа и выпустил добротное, первое

---

[1] В. Нарбут, С. Городецкий. «Ива. Пятая книга стихов». — «Вестник Европы», 1913, № 4, с. 387.

[2] А. В. Луначарский, Предисловие к «Стихам» С. М. Городецкого, М., 1934, с. 7 (см. выше первую сноску на с. 14).

научно подготовленное издание сочинений этого поэта, сопроводив его своей обстоятельной вступительной статьей и примечаниями. Заметим, что издание это явилось определенной вехой в изучении наследия Никитина.

Интерес Городецкого к простому человеку, «труду заунывному», «волгарю-бурлаку», свидетельствовал, с одной стороны, о демократической направленности творчества поэта, но, с другой стороны, этот демократизм был еще в значительной степени созерцательным, аморфным, лишенным социальной энергии и страсти. Жизнь и поэзия существовали в сознании Городецкого если и не разобщенно, то во всяком случае как явления, связанные между собой узами, не слишком обязательными и прочными.

Книга «Дикая воля» сопровождена эпиграфом.

Наша доля — веять волей
И в плену всегда томиться,
Враждовать со злом-неволей
И бескрылой птицей биться...

Бессильный порыв, смятение и чувство обреченности выражают эти строки. В условиях политической реакции, наступившей в России после 1905 года, такого рода умонастроение было, как известно, довольно распространено. Определенная часть интеллигенции почувствовала себя обескрыленной и растерянной, утратила историческую перспективу. И естественно, что в творчестве тех писателей, которые прониклись такими настроениями, образ реального мира нередко лишался исторической плоти и обретал мистифицированный, искаженный характер.

Стихи «Дикой воли» весьма заметно отличались по тональности и общей своей направленности от «Яри». Преобладают в этих стихах мотивы грусти и печали.

Мне тяжело, как в первый день,
Как в первый день ночного горя,
Когда впервые пала тень
На ровноту земли и моря...

Так начинается первая из девяти элегий, открывающих книгу. Все они проникнуты горестным сознанием личной неустроенности лирического героя, жизнь которого замкнута в микромире его «расколотой» души и совершенно отрешена от людей и макромира современного общества. Этому герою мнится скорое избавление от рокового

«плена» и «тлена» жизни, а также возможность обретения на том, лучшем свете полной гармонии и внутренней свободы.

Осенью 1907 года за перевоз из Финляндии в Петербург «историко-революционного альманаха», выпущенного издательством «Шиповник» и запрещенного к распространению в России, Городецкий был арестован и посажен в тюрьму «Кресты». В десятидневном заточении он написал цикл «Тюремных песен», целиком вошедший в сборник «Дикая воля». Стихи гладко обточенные, ровно журчащие, с глуховатым тоном и погасшим нервом. Стихи, обращенные автором как бы внутрь себя, очень личностные, тоскливые, без выходов во внешний мир. И вдруг в последнем стихотворении «тюремного» цикла — такие строки:

Теперь иное назначенье
Открылось духу моему,
И на великое служенье
Я голос новый подыму.

Но строки эти в сущности оказались только декларацией, не получившей ни подтверждения, ни дальнейшего развития в творчестве поэта.

Книга «Дикая воля», как и следующая — «Ива», не несла в себе значительных художественных открытий. Городецкий шел в фарватере традиционной поэтики, ставшей достоянием обширного круга эпигонов. Он писал быстро и легко, выпуская книгу за книгой, не успевая обновлять запасы своих жизненных впечатлений. Иные стихи его писались без озарения, как бы одной техникой. На них лежит печать торопливости, нетребовательности. Изобразительные краски тускнеют, становятся все более расплывчатыми. Метафора, сравнение или эпитет утрачивают свою характерность и остроту. Риторика то и дело подменяет собой истинное, глубокое чувство. А вдруг проскакивает стихотворение и вовсе сырое, недописанное. Порой поэт повторяет самого себя.

Еще осенью 1907 года Блок с тревогой заметил: «Городецкий совсем не установился, и Бугаев ⟨А. Белый⟩ глубоко прав, указывая на его опасность — погибнуть от легкомыслия и беспочвенности».[1] Эта опасность недостаточно осознавалась самим поэтом. Шумный успех первых книг вскружил ему голову, и он в известном смысле утратил самоконтроль.

---

[1] Александр Блок, Записные книжки (1901—1920), М, 1965, с. 97.

3

1910 год Блок назвал годом крушения символизма. Состоявшиеся весной в «Обществе ревнителей художественного слова» доклады Вяч. Иванова «Заветы символизма» и Блока «О современном состоянии символизма» вызвали резкую критику со стороны Брюсова и Мережковского и ускорили давно вызревавший раскол внутри этого течения.

Его художественная программа, как известно, вовсе не сводилась к утверждению культа формы, к защите автономного и самоценного искусства, хотя отдельные писатели и критики-символисты считали именно такое искусство наиболее приемлемым.

Символизм хотел выразить себя не только как явление искусства, как художественное течение, — он считал себя универсальным, целостным, философским мировоззрением, имевшим своей целью, по убеждению Андрея Белого, некое «пересоздание жизни», «пересоздание человечества». [1] Подобный же взгляд защищали, впрочем каждый по-своему, Блок, Вяч. Иванов, да и многие другие.

Поэзия символизма по своему содержанию и характеру была одновременно и исповедальной и воинственно проповеднической. Подвергая критике те или иные стороны современной буржуазной действительности, теоретики символизма призывали к ее «очищению» от мещанской скверны, к защите культуры от опошления ее своекорыстной моралью господствующих классов. Но все это, разумеется, нисколько не предполагало покушения на основы современного общественного строя. Критика некоторых явлений действительности, ощущение ее трагической неустроенности, непрочности, скептический взгляд на современное общественное бытие — все это прекрасно уживалось у символистов с настроениями пессимизма и ощущением незыблемости самой социальной структуры буржуазно-помещичьей России.

У русского символизма были, правда, определенные заслуги перед художественной культурой, в частности — перед культурой поэтической. Но та философия жизни и искусства, которую он отстаивал и насаждал — причем насаждал крайне агрессивно, — создавала препятствия для нормального развития художественного творчества. Об этом однажды очень резко сказал Горький в письме к Леониду Андрееву, осенью 1907 года. Воздав должное символистам за их «культурные заслуги», Горький заметил далее: «Но они уже вообразили себя околоточными надзирателями по литературной части и — как

---

[1] А. Белый, Символизм. Книга статей, М., 1910, с. 10.

у всех русских полицейских — у них погибло уважение к личности, к ее свободе. Они противно самолюбивы — вот что отталкивает меня, они холодны, они слишком зрители жизни...».[1]

Кризис символизма наступил гораздо раньше, чем можно было ожидать. Уже к концу 1910-х годов художественные ресурсы символизма в сущности были исчерпаны.

На смену символизму явился акмеизм, сложившийся как литературное течение к началу 1913 года. Годом раньше возник кружок «Цех поэтов», подготовивший оформление акмеизма. Блок назвал «Цех поэтов» «Гумилевско-Городецким обществом». Да, оно было детищем обоих поэтов. Они определяли его направление, вовлекали людей, искали и находили возможности для публикации их сочинений. Особенно регулярно это происходило на страницах журналов «Гиперборей» и «Аполлон». Словом, «новое течение» в русской поэзии начало свое существование громкими декларациями. Его инициаторы пытались создать впечатление, будто на свет божий появилось направление, отличающееся абсолютной новизной идей и принципиально разнящееся от символизма. В 1913 году сам Городецкий в программной статье «Некоторые течения в современной русской литературе» писал: «Новый век влил новую кровь в поэзию русскую. Начало второго десятилетия — как раз та фаза века, когда впервые намечаются черты его будущего. Некоторые черты новейшей поэзии уже определились, особенно в противоположении предыдущему периоду».[2] В действительности же это «противоположение» было весьма условным. Суть дела состояла в том, что акмеизм, как и символизм, представлял собой явление декаданса и являлся выражением буржуазной идеологии в искусстве. Для акмеистов характерно было апологетическое отношение к капиталистическому миру, их объединял страх перед грядущей пролетарской революцией.

Сергей Городецкий вместе с Н. Гумилевым одновременно выступили на страницах «Аполлона» с теоретическим обоснованием позиции, смысла «нового течения» и его места в русской поэзии. Нельзя не заметить, что мировоззренческая и теоретическая аргументация акмеизма не отличалась ни обстоятельностью, ни глубиной. В этом отношении он явно уступал символизму, выдвинувшему ряд серьезных теоретических умов. Гумилев и Городецкий не годились для такой роли. Вспоминая свое недавнее литературное прошлое, Осип Мандельштам, уже после Октябрьской революции, не без основания заметил, что «акмеизм мировоззрением не занимался: он принес

---

[1] «Литературное наследство», № 72, 1965, с. 297.
[2] «Аполлон», 1913, № 1, с. 47.

с собой ряд новых вкусовых ощущений...».[1] Для многих символистов было характерно понимание неустроенности, непрочности современного мира, стремление его осмыслить и как-то упорядочить. Акмеистов эти общие вопросы мало тревожили. Современная действительность была для них воплощением гармонии и порядка. «После всяких «неприятностей», — писал Городецкий, — мир бесповоротно принят акмеизмом, во всей совокупности красот и безобразий».[2] Прагматический взгляд на действительность сочетается с отказом от попыток решать какие бы то ни было социальные проблемы.

Отвергая приверженность символизма к мистике, акмеизм тяготел к «вещному», материально-чувственному изображению мира, провозглашая первейшим условием художественности пластичность и ясность поэтического образа.

Акмеизм, так же как и символизм, не был единым и цельным течением. Он был представлен в сущности очень разными индивидуальностями. Гумилев и Городецкий, А. Ахматова и О. Мандельштам, М. Кузмин и Б. Садовский, В. Нарбут и М. Зенкевич — все они по-разному раскрывались и в сфере теоретической и творческой. В то время как Ахматова, отчасти Городецкий все более отчетливо тяготели к реалистической поэтике — Гумилев, например, ожесточенно противопоставлял себя и все течение реалистическому искусству. «У реализма, — объяснял он, — есть много средств очаровывать душу, но ему нечего сказать, некуда позвать».[3] И вся поэзия Гумилева, в отдельных своих произведениях оригинальная и выразительная, в целом казалась какой-то бездушно-рационалистической, удивительно отдаленной от национальной почвы, от непосредственных контактов с действительностью. Воинствующий, «конквистадорский» дух этой поэзии создавал довольно причудливый, экстравагантный и во многом искусственный мир. Чуткому Блоку недаром мерещилось в гумилевских стихах «что-то холодное и иностранное»,[4] а Горький называл этого поэта «нерусским», «настоящим французом в манжетах».[5]

Художественная устремленность Городецкого значительно отличалась от гумилевской. Городецкий был более непосредствен, нежели

---

[1] О. Мандельштам, О природе слова, Харьков, 1922, с. 11.

[2] С. Городецкий, Некоторые течения в современной русской литературе. — «Аполлон», 1913, № 1, с. 48.

[3] Н. Гумилев, Письма о русской поэзии, Петроград, 1923, с. 194.

[4] Александр Блок, «Без божества, без вдохновенья». — Собр. соч., т. 6, с. 181.

[5] См.: Вс. Рождественский, Страницы жизни. — «Звезда», 1959, № 2, с. 182.

Гумилев,[1] и теснее связан с национальными корнями русской культуры. Эта связь осуществлялась через историю и литературу, живопись, музыку, фольклор. Да и взгляды Городецкого на искусство, хотя и путаные, крайне непоследовательные, в каких-то существенных своих звеньях заключали в себе рациональное, здоровое зерно.

Уже упоминавшееся выступление Блока «О современном состоянии русского символизма» (1910) вызвало резкий полемический отклик Городецкого, игриво озаглавленный «Страна Реверансов и ее пурпурно-лиловый Бедекер».[2] Оспаривая некоторые соображения Блока о путях и судьбах символизма, упрекая это течение за мистифицированно-искаженный образ мира, создаваемый им, за отрешенность от современной действительности, Городецкий в этой связи подчеркивает весьма важную для него мысль: «Жизнь и искусство — одно». Конечно, с точки зрения теоретической это положение может быть оспорено. Но неточность формулировки не должна помешать нам ощутить ее общий смысл, ее направленность, отражающую стремление поэта сблизить поэзию с жизнью.

В прошлых стихах Городецкого имелись предпосылки, которые при известных условиях могли бы привести его к утверждению на реалистических позициях. Но покуда этим предпосылкам не суждено было сбыться. На известном этапе развития поэта стали преобладать слабые стороны его творчества.

Могучий прибой моря (стихотворение «Море», написанное в в 1912 году, но опубликованное почти четверть века спустя под названием «Прибой») возбуждает в поэте подъем душевных сил, и он с гордостью восклицает:

О волны! Я воин!
Мне враг, кто спокоен.

Но в том-то и дело, что эти строки вступали в неумолимое противоречие с пафосом умиротворения, характерным для большинства стихотворений, скажем, «итальянского» цикла и появившегося чуть позже сборника восьмистиший «Цветущий посох».

Для Городецкого акмеизм служил опорой в его давней неприязни к тем сторонам символизма, которые уводили поэзию в ирреальный, таинственный, потусторонний мир. Убежденно звучали строки в

---

[1] На это обратил внимание уже Блок в своей статье «Без божества, без вдохновенья»: «С. Городецкий — поэт гораздо менее рассудочный и более непосредственный, чем Н. Гумилев» (Собр. соч., т. 6, с. 179).

[2] «Против течения», 1910, 15 октября.

программной статье Городецкого о том, что борьба акмеизма против символизма есть прежде всего «борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю». Действительность в изображении поэтов-символистов утрачивала реальные очертания и приобретала часто эфемерный характер, становилась, по слову Городецкого, «фантомом». «У акмеистов, — пишет он, — роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще». [1]

Отказ акмеизма от свойственных символизму абстракций, иррационализма и установка на изображение «вещного» мира, его цвета, формы, объема — еще не означали поворота к реалистическому искусству. Лишь много лет спустя Городецкий смог осознать эту истину. «Нам казалось, — пишет он в автобиографии, — что мы противостоим символизму. Но действительность мы видели на поверхности жизни, в любовании мертвыми вещами и на деле оказались лишь привеском к символизму и были столь же далеки от живой жизни, от народа. Я хотел привлечь и Блока в наш кружок, но он ответил убийственной статьей „Без божества, без вдохновенья"». [2]

Блок относился к акмеизму с плохо скрываемым раздражением. Он корил его за мелкотемье, эклектизм, претенциозность, за то, что его стремление изображать земной, пластический, чувственный мир оборачивалось бескрылостью и общественной индифферентностью. [3] В дневниковых записях и письмах Блока содержится немало иронических замечаний по адресу «нового течения». Он видел его безжизненность и бесперспективность. 25 марта 1913 года в его дневнике появляется запись об акмеистах — что они «хилы» и явление неживое. [4] Менее чем через месяц — новая: «В акмеизме будто есть «новое мироощущение» — лопочет Городецкий в телефон. Я говорю: зачем хотите «называться», ничем вы не отличаетесь от нас». [5]

Активное участие в «Цехе поэтов» не проходило бесследно, оно ослабляло не только гражданские ноты творчества Городецкого, но и его талант лирика. Это сказалось уже отчасти в цикле «итальянских» стихов поэта, написанных под впечатлением двух его поездок в Италию (1912—1913).

---

[1] «Аполлон», 1913, № 1, с. 48.

[2] С. Городецкий, Мой путь. — «Советские писатели. Автобиография в двух томах», т. 1, М., 1959, с 325.

[3] См.: П. В. Куприяновский, Александр Блок в борьбе с акмеизмом. — «Ученые записки Ивановского гос. пед. института», т. 12. Филол. науки, вып. 3, 1957, с. 53—75.

[4] Александр Блок, Собр. соч., т. 7, стр. 232.

[5] Там же, с. 238.

Восприятие Италии у Городецкого явно отличается от блоковского. Циклы обоих поэтов были написаны примерно в одно время. Но, прочитав их один вслед за другим, мы вдруг начинаем ощущать их художественную несовместимость. «Итальянские» стихи Блока — очень русские стихи. В них угадываешь приметы той национальной стихии, которая оплодотворила все другие произведения этого поэта.

Строен твой стан, как церковные свечи.
Взор твой — мечами пронзающий взор.
Дева, не жду ослепительной встречи —
Дай, как монаху, взойти на костер!

Живые, трепетные строки этого стихотворения Блока («Девушка из Spoleto») подкупают своей лирической тональностью, пластикой; они напоминают нам энергию многих других произведений блоковской лирики. Итальянский колорит не мешает поэту выразить здесь самого себя, свое лирическое мироощущение.

Нечто другое мы испытываем при чтении «итальянских» стихов Городецкого. Его чувство стреножено, а сами стихи — описательны. Мысль поэта эмпирически фиксирует общеизвестные приметы пейзажа страны, ее истории и культуры.

Каждый из названных поэтов *по-своему* лирически интерпретирует тему. Прочитайте две заключительных строфы стихотворения Городецкого «Пиза»:

Там колокольня наклонилась,
Чтоб поглядеть за край земли,
Как будто ей планета снилась,
Где виснуть тяжести могли.

Но видны только Апуаны,
Поляны, взморье, виноград,
Лениво дремлющей Тосканы
Всё тот же безмятежный сад.

Эти стихи по своей фактуре весьма характерны для поэтики акмеизма, искавшего путей к смысловой четкости и определенности звучания слова в стихе, тяготевшего к конкретному, «вещному» видению мира и стиху стройному, уравновешенному во всех его ритмических, композиционных и смысловых элементах.

Эстетика акмеизма не благоприятствовала развитию дарования Городецкого. Случилось так, что, будучи одним из главных органи-

заторов этого течения, он, однако же, творчеством своим не проявил себя в нем сколько-нибудь значительно и ярко.

«Итальянский» цикл стихов Городецкого готовился к изданию отдельной книгой — под названием «Canti d'Italia» («Песни Италии»). Но в свет она не вышла. Появилась другая книга — «Цветущий посох». Это была книга раздумий — о жизни, о поэзии, о себе. «Не декадентским эгоцентризмом, — предупреждает автор в предисловии, — продиктовано обращение стольких восьмистиший к самому себе, а голосом жизни наедине, долгим поединком с самим собою».[1]

Главный итог, с которым Городецкий пришел к «Цветущему посоху», заключался в осознании полного крушения символизма и пережитого поэтом кризиса мировоззрения. Городецкий продолжает еще искать выход из кризиса в акмеизме, в котором он восторженно видит не только литературную теорию, но и практическое руководство к творчеству. Главную же заслугу акмеизма он усматривает в восстановлении правильных, от природы необычайно ломких, отношений «между вещью и словом». Так одно заблуждение уступало место другому, не суля ничего, кроме новых разочарований и огорчений.

«Цветущий посох» имел подзаголовок: «Вереница восьмистиший». Все стихи написаны в одном эмоциональном ключе и почти на одном ритмическом дыхании. Закованные в строгую двухстрофную форму, они казались полной противоположностью бушующим и озорным ритмам «Яри».

После бурной молодости Городецкий, казалось, вступил в такую фазу своего духовного развития, когда должна была наступить некая душевная умиротворенность и потребность в покое. Акмеизм и явился известным выражением этого процесса.

4

Каждое отступление от прошлых позиций было, разумеется, нелегким испытанием для Городецкого и всякий раз являлось результатом определенных трудностей в духовном развитии поэта. И не один раз он мог бы с грустью повторить строки из своего стихотворения 1912 года:

Какие-то песни в душе отзвучали,
И с чем-то проститься настала пора.

(Из цикла «Себе»)

---

[1] Сергей Городецкий, Цветущий посох, СПб., 1914, с. 14.

Незаметно снова наступала пора мучительной переоценки ценностей, пересмотра своих отношений со многими прежними друзьями. С иными из них уже никакой дружбы быть не могло, с другими она еще мерцала. В это время возникают новые привязанности. Одной из самых дорогих для Городецкого явился Сергей Есенин.

В 1915 году он пришел к Городецкому с запиской от Блока и принес с собой завязанные в деревенском платке стихи. С первой же встречи с Есениным Городецкий ощутил прикосновение к большому таланту. Несмотря на различие в возрасте они сразу же подружились. Сам Есенин так рассказывал в «Автобиографии» о своем приезде в Петроград: «Там меня приняли радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй — Городецкий». И затем: «Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхивал ни слова».[1]

Сохранилось несколько писем Городецкого к Есенину того времени, дающих нам ощущение атмосферы этой удивительной дружбы. Вот несколько выписок:

«Не влюблен я в тебя, а люблю здорово»; «Сердце мое, Сергунь!»; «Много о тебе думаю — радуюсь в темные свои дни, что ты еси. Ради бога не убейся о немцев...»; «Мне все еще нова радость, что ты есть, что ты живешь, вихрастый мой братишка...»; «Я тебе не скажу, что ты для меня, потому что ты сам знаешь. Вот такие встречи, как наши, это и есть те чудеса, из-за которых стоит жить»; «Был я в Москве. Молва о тебе идет всюду, все тебе рады», и далее — предостережение: «Вот какой ты знаменитый. Только ты головы себе не кружи, а работай потихоньку, поспокойнее».[2] Восторженно, нежно и требовательно относился Городецкий к молодому поэту, в котором прозорливо увидел великую надежду русской литературы.

Через Есенина Городецкий сблизился с группой крестьянских поэтов — Сергеем Клычковым, Александром Ширяевцем. Их всех сближал интерес к русской старине, к народным истокам поэзии. Городецкий вместе с Алексеем Ремизовым организовал литературное общество «Краса» и одноименное издательство. К обществу и издательству были привлечены Есенин, Клюев, Клычков, Ширяевец. Именно в этом издательстве вышла в свет первая книга стихов Есенина — «Радуница».[3]

---

[1] ЦГАЛИ, ф. Ю. В. Соболева.

[2] С. Городецкий, Письма к С. Есенину от 4 июня и 7 августа 1915 г. — ЦГАЛИ, ф. С. А. Есенина.

[3] См.: В. А. Вдовин, Есенин и литературная группа «Краса». — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1968, № 5, с. 66—80.

Между тем грянули трудные годы первой мировой войны. Определенная часть интеллигенции, охваченная шовинистическим угаром, не сумела разобраться в характере этой империалистической войны и стала поддерживать правительственную политику «войны до победного конца».

Мутная волна казенного патриотизма захватила и Городецкого. После позора поражения России в 1904 году, полагал он, стране необходимо некое нравственное искупление, которое может принести лишь безусловная победа над Германией. Эта победа, казалось ему, приведет к национальному возрождению, поднимет уровень самосознания народа и утвердит его впоследствии на вершинах благоденствия. Это был один из тех мифов, через соблазн которых прошла в начале XX века русская буржуазная интеллигенция и за крушение которых она всякий раз платила дорогой ценой разочарований и духовных потрясений. Все это пережил и Городецкий. Достаточно вспомнить его стихи из книги «Четырнадцатый год», проникнутые фальшивой романтикой и не тронутые сколько-нибудь глубокой мыслью.

Начало века запоздало:
Пришло в четырнадцатый год.
Какое дивное начало!
Какой торжественный восход!

(«Четырнадцатый год»)

Так начинается программное стихотворение, открывающее книгу. Городецкий воспринимал эту войну как некую великую очистительную бурю, из коей Россия выйдет нравственно оздоровленной и избавленной от своих вековечных внешних врагов, а затем, став притягательной силой для всех славянских народов, вместе с ними и во главе них быстро пойдет по пути прогресса и цивилизации. Вот эти иллюзии отразились в книге «Четырнадцатый год». Лишь отдельные стихотворения в ней были одушевлены живым поэтическим чувством. Одно из них, например, было посвящено подвигу знаменитого летчика Нестерова. Но в целом книга оказалась немощной и фальшивой по содержанию. Риторика заглушала и ту довольно слабую лирическую струю, которая кое-где здесь пробивалась.

Истинный смысл своих псевдопатриотических стихотворений Городецкий постиг несколько позднее, на Кавказском фронте войны, куда он прибыл в качестве корреспондента газеты «Русское слово».

На полях обагренной «огнем и кровью» Армении для Городецкого началась мучительная переоценка ценностей. Наступает новый, по признанию поэта, «предельный кризис» в его духовном развитии.

Следы этого кризиса можно обнаружить в его книге «Ангел Армении» — маленькой книге, раздумчивой и тревожной. Поэт увидел подлинный лик этой страшной войны и понял всю несостоятельность своих недавних представлений. Из этого испытания он вышел в значительной мере очищенным от груза старых ошибок и способным к восприятию новых идей, которые выдвигала жизнь.

Февральскую революцию Городецкий встретил в Персии, где он оказался вместе с отступающими русскими войсками.

Октябрьская революция поставила Городецкого перед окончательным решением. Глубокое патриотическое чувство, которым всегда было проникнуто сердце поэта, сознание своей близости родному народу — все это облегчало поэту возможность сделать правильный выбор. В отличие от иных своих бывших друзей — символистов или соратников по акмеизму — Городецкий безоговорочно стал на сторону революции.

Октябрь 1917 года застал поэта на Кавказе. Еще не отдавая себе ясного отчета в значении свершившейся революции, он вместе с тем как бы интуитивно почувствовал, что произошло величайшее событие в мировой истории. Он живет в Тифлисе, а затем — в Баку. Грузинские меньшевики и мусаватистские власти в Азербайджане пытаются оградить Закавказье от «большевистской заразы». Городецкий понимает обреченность этих усилий и всей душой тянется к новой, революционной России. В 1918 году он пишет стихотворение, характерно озаглавленное — «Ностальгия». Вот несколько строк из него:

Как к неведомому раю,
Из глуши моих ночей
Вдаль я руки простираю
К милой родине моей.

Горе метит долю нашу.
Нет на родине венца,
Но хочу испить я чашу
Вместе с нею до конца.

Эти стихи свидетельствовали о решительности сделанного поэтом выбора. Примерно в то же время, но чуть раньше, были написаны глубоко выстраданные строки Анны Ахматовой:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь Россию навсегда...»

На голос этот поэтесса не отозвалась:

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Городецкий, Ахматова, Мандельштам — каждый в меру своих возможностей — порвали с прошлым и пошли навстречу новому миру.

Революция обострила интерес Городецкого к народу, к крупнейшим достижениям русской национальной культуры. В 1917—1919 годах он работает над статьями о Горьком, Короленко, Тургеневе, Репине. Критические работы Городецкого этой поры представляют большой интерес. В великих русских художниках, сумевших запечатлеть моральную крепость и душевную красоту человека, он справедливо видит чутких выразителей народной совести. В единстве эстетических и этических верований этих художников усматривает Городецкий источник силы их искусства. Подобный вывод весьма примечателен для бывшего акмеиста, для понимания той эволюции, которую претерпела его собственная эстетическая позиция.

Но еще важнее другое. Анализ выдающихся произведений русской литературы, живописи, музыки приводит его к более глубокому осознанию антинародной сущности буржуазно-помещичьего строя. Критические статьи Городецкого могут дать представление о характере его гражданского самосознания на самой заре нашей революции.

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы эстетический груз прошлого не оказывал никакого влияния на духовное развитие поэта. Спотыкаясь, а порой падая и вновь подымаясь, он шел к новому пониманию искусства и его места в жизни народа.

В том же 1918 году Городецкий редактирует журнал «Арс» («Искусство»), издававшийся в Тифлисе на средства А. Антоновской. Направление журнала было довольно эклектичное. Теоретическая его программа представляла собой в сущности смесь старых декадентских идей. Попытка обновить их и совместить со служением высоким гражданским идеалам не увенчалась успехом. Журнал ориентировался на узкий круг «ценителей искусства» и никакого широкого общественного резонанса не имел. Под редакцией Городецкого вышло всего три номера.

Там же, в Тифлисе, в 1918 году Городецкий создал местный «Цех поэтов», устраивавший широкое обсуждение различных проблем искусства и издававший альманах «Акме». В самых этих названиях — кружка и альманаха — слышатся запоздалые отголоски акмеизма. Городецкий регулярно проводил занятия с молодыми поэтами

и, по свидетельству современницы, интересно рассказывал о тайнах художественного мастерства, о структуре стиха, о природе рифмы и т. д.[1] Поэтические среды «Цеха поэтов» проходили в помещении «Артистериума». Здесь часто бывали Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Валериан Гаприндашвили. Эти среды благодаря Городецкому стали заметным явлением культурной жизни тогдашнего Тифлиса.

Несколько позднее Городецкий вместе с П. Д. Меркуровым, братом известного скульптора, организовал новый журнал «Нарт». Это было веселое сатирическое издание, на страницах которого печатались порой довольно острые материалы, направленные против меньшевистских правителей Грузии. Первый номер журнала, например, открывался сатирической карикатурой на самого Ноя Жордания — лидера грузинских меньшевиков. Политическая позиция журнала была вскоре признана предосудительной, и после нескольких номеров его запретили, а Городецкого выслали из Тифлиса.[2]

Поэт переехал в Баку. Здесь, в захваченной мусаватистами столице Азербайджана, ему пришлось еще горше, чем в Тифлисе. Нужда заставляла заниматься поденной литературной работой. Он зарабатывал хлеб насущный переделками Андерсена, восточных сказок, сочинял по договорам пустяковые пьески.

Между тем из рассказов заезжих писателей и обрывков случайно доходивших сюда советских газет поэт узнавал правду о новом мире, который создавался на руинах бывшей Российской империи.

В поэзию Городецкого постепенно входит большая социальная тема. Он пишет стихи, в которых разоблачает колониально-империалистический гнет («Кофе», «Восточный крестьянин»), раскрывает тра-

---

[1] См.: Р. Погосян, Старейший мастер «Цеха поэтов». — «Литературная Армения», 1964, № 3, с. 65.

[2] В недавно опубликованных воспоминаниях А. И. Микояна есть интересное замечание о Городецком. Как-то однажды, после Октябрьской революции, в Москве, рассказывает мемуарист, на квартире у вдовы Степана Шаумяна собрались Горький, Луначарский, Енукидзе, Камо, Микоян, Лев Шаумян. Горький с Луначарским вели оживленный разговор о литературных делах. Вдруг Горький обратился к Микояну:

«— Вы, кажется, недавно с Кавказа? Что там происходит в литературной жизни?

Откровенно говоря, я смутился, так как ничего не мог ему ответить: мне тогда не приходилось близко сталкиваться с литераторами. Выручил Лев Шаумян, рассказав о Василии Каменском, Сергее Городецком, Рюрике Ивневе, с которыми он недавно встречался в Тифлисе, где тогда еще хозяйничали меньшевики. Шаумян говорил, что эти поэты часто выступают с лекциями, читают свои стихи — в общем, ведут себя очень достойно и, судя по всему, настроены вполне просоветски» («Новый мир», 1972, № 9, с. 179).

гедию порабощенного труда на бакинских нефтепромыслах («Промыслы», «Зых»). Зых — один из нефтяных районов Баку. Зых — зловещий символ подневольного труда в условиях буржуазного общества. Поэт говорит о мученической жизни труженика: «Все попрано: правда, и жизнь, и краса!» Стихотворение пронизано ощущением великой силы рабочего человека и радостной верой в его скорое освобождение:

Но слышишь ты, фабрика, радостный гул?
Мы скоро проснемся. И все как один!

Любопытно, что стихотворение «Кофе», обличавшее тиранию голландских «цивилизаторов» на Яве, Анри Барбюс напечатал в переводе на французский язык в газете «Юманите», и затем оно было переведено на английский и голландский языки и стало известно на острове Ява. Несколько раньше написано сильное стихотворение «Призыв», в котором поэт поет гимн «бушующей волне», «сорвавшей зимние оковы», и приветствует «свободы радостные зовы». Обращаясь к смелым и молодым, он восклицает:

Не бойтесь! Горы упадут,
Неправда рухнет вековая,
И там, где правды сердцем ждут,
Там жизнь воспрянет, расцветая!

В апреле 1920 года в Баку вошли части Красной Армии. Население восторженно встречало освободителей. Городецкому было поручено написать и организовать перевод на тюркский и армянский языки воззвания к населению, отпечатать и расклеить его по городу.

С момента установления советской власти на Кавказе Городецкий активно включился в строительство нового мира. Он стал редактировать журнал «Искусство», выходивший на русском и азербайджанском языках. Формулируя главную задачу, стоящую перед современной поэзией, прозой и драматургией, Городецкий в программной статье «От редакции» писал: «Все силы современного искусства должны быть отданы на то, чтобы создать поэзию труда и в художественных образах отразить и уяснить идеологию рабочего класса». [1]

В то же время Городецкий ведет многообразную работу в культурных учреждениях Баку: руководит отделом художественной агитации и пропаганды в Кавказском отделении РОСТА, возглавляет

---

[1] «Искусство», Баку, 1921, № 2-3, с. 59.

литчасть Политуправления Каспийского флота. Вскоре в этой же должности он был переведен на Балтийский флот.

Незадолго перед тем, 21 июня 1921 года, поэт писал Андрею Белому: «Я погружен в работу, заведую Изо, стариной, музеями, теперь наладил журнал, но тоска по Москве все сильнеет».[1] Осенью 1921 года Городецкий наконец переехал в Москву, где стал работать в литературном отделе газеты «Известия» и руководить литчастью Театра революции.

Октябрьская революция расширила политический горизонт Городецкого, помогла ему глубже осмыслить роль искусства в общественной жизни страны, а также место русской интеллигенции в боевом строю борющегося народа. Осенью 1920 года он напечатал в «Известиях» гневную статью, резко озаглавленную: «Разложение интеллигенции». Городецкий казнит презрением ту часть старой буржуазной интеллигенции, которая не пошла вместе с революцией, изменила народу и родине. «Необъятная, распаханная глубоко нива России, — пишет он, — ждет жадно зерен «разумного, доброго, вечного»... Но с неизъяснимым подхалимством взялись вы продолжать дело низвергнутого класса, и хоть минуточку побыть еще буржуем для вас дороже, чем долгая рабочая жизнь. Работы непочатый край, критическая проверка всей вашей культуры — задача дня».[2]

Существенно отметить, что Городецкий сразу же после революции осознал свою нераздельную близость к новой действительности — не только политически, но и эстетически. Он не раз высказывал свое горделивое удовлетворение тем, что давно порвал с декадентством, с декадентами и решительно связал свою поэтическую судьбу с революцией. Когда однажды со страниц «Печати и революции» раздался упрек по адресу Городецкого, что он-де неверно, грубо, вульгарно истолковал творчество Вяч. Иванова, поэт 14 января 1922 года написал редактору журнала В. Полонскому резкое письмо: «Вячеслав ⟨Иванов⟩ — стилизатор. Моя же работа вывела русский поэтический язык из тупика, в который завели его эстеты».[3]

1917 год открыл, по убеждению Городецкого, широчайшие просторы для развития искусства и литературы. И долг каждого честного художника — отдать всего себя созиданию нового мира. Городецкий публикует в тех же «Известиях» статью «Литература и революция», в которой призывает писателей «огненным словом» прославить Советскую Россию и ее могучий народ, свершивший великую револю-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. А. Белого.

[2] «Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов», 1920, 12 августа.

[3] ЦГАЛИ, ф. В. П. Полонского.

цию. В этой связи чрезвычайно характерно одно замечание автора о Блоке. «Его «Двенадцать», написанные в атмосфере саботажа, поистине подвиг, — восклицает Городецкий. — И если б он раскрыл сейчас свои уста и за Двенадцатью увидел миллионы, а это будет. этого все ждут, как праздника, — если б он допустил себя до радости понять все происходящее, то за судьбу поэзии можно было б быть спокойным». [1]

В эти годы Сергей Городецкий не прерывал и поэтической деятельности. Напротив, революция вызвала в нем огромный прилив творческой энергии. Своими стихами Городецкий откликается на самые разнообразные вопросы современности. Впечатления тех лет отразились в стихотворениях, составивших первую советскую книгу поэта — «Серп».

5

Революция окрылила музу Городецкого и раздвинула ее горизонты. Никогда еще произведения поэта не были одушевлены таким бурным романтическим порывом. Революционная тематика воскресила в новом качестве стремительные ритмы «Яри» и вдохнула в стихи Городецкого ощущение молодости своего народа и его безграничной творческой силы. Осуждение старого мира, ассоциируемого с «тюрьмой» или «публичным домом», сопровождается вдохновенными призывами к борьбе —

Пока на всей земле не будет
Ни одного раба!

(«XI армии»)

Стихи Сергея Городецкого одухотворяла оптимистическая вера в неизбежное и повсеместное торжество на земле идей «свободы и братства». Они прославляли героику революционного подвига, клеймили врагов революции, воспевали интернациональную солидарность людей труда, постигших, что

У народов угнетенных
Есть отечество — Москва!

(«Восточный крестьянин»)

Послереволюционное творчество поэта широко и разнообразно. Он пишет едкие сатирические памфлеты, направленные против бе-

---

[1] «Известия Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов», 1920, 17 августа.

лополяков, румынских бояр («Пан Жупан, долой обман!» и «Знай боярскую Румынию», 1922) и других врагов молодой Советской республики. Его стихи адресованы красноармейцам и крестьянам, рабочим и интеллигентам, взрослым и детям. Стихом и песней, частушкой и лаконичной подписью к сатирическому плакату — всеми видами поэтического оружия Городецкий участвует в созидании нового мира.

Среди произведений Городецкого этих лет видное место занимает цикл стихотворений, представляющих собой лирические раздумья об исторических судьбах Руси. Вот их названия: «Старая Русь», «Русь», «Разговор с Русью» и т. д. Написанный в манере, несколько напоминающей ранние стихи «Ярь», этот цикл несет вместе с тем на себе печать другого времени. Стихи обретают масштабность, они проникнуты чувством истории, ощущением неразрывной связи между жизнью отдельного человека и судьбой народа. Песенно-былинная интонация этих стихотворений придает характерную окраску философическим размышлениям поэта о путях развития своей родины. И хотя эти размышления не всегда четки и ясны, порой несколько архаичны по своему словарю и художественному строю, — они отразили напряженную работу мысли поэта, его глубоко искреннее восприятие социальных перемен, происшедших в России, его веру в великое будущее своего народа. Верно написал о Городецком в те годы Иннокентий Оксенов: «Корни его таланта уходят куда-то глубоко в целину чернозема; родственная связь поэта с народной — именно крестьянской — душой несомненна, и она-то дала ему живо почувствовать революцию». [1]

Надо, однако, сказать, что в художественном отношении многие произведения Городецкого, написанные в первые годы революции, страдали очевидными недостатками. Романтика героической борьбы нередко выливалась в формы обнаженной риторики, глубина мысли подменялась выспренней, митинговой декламацией, а конкретное изображение характера и чувств нового человека отдавало плакатной схемой. Творчество Городецкого в эту пору некоторыми своими сторонами перекликалось с поэзией «Кузницы»: тот же абстрактно-космический пафос и то же отсутствие глубокого и конкретного отображения советской действительности («Металлы», «Пролетарским поэтам» и др.).

В преодолении этих недочетов была главная задача, стоявшая перед Сергеем Городецким. Заметим справедливости ради, что она стояла не только перед ним, но и перед многими другими советскими

---

[1] И. Оксенов, С. Городецкий. «Серп. Двенадцатая книга стихов». — «Книга и революция», 1922, № 3, с. 74.

поэтами, стремившимися воспеть рождение нового мира. В таком направлении Городецкий и работал — упорно, страстно, с взыскательностью, присущей истинному художнику.

После сборников «Серп» (1921) и «Миролом» (1923) вышла небольшая, но цельная по теме и настроению книжка «Из тьмы к свету» (1926), посвященная деревне. В ней поэт отказывается от абстрактно-лозунговой поэтики и, пристально вглядываясь в народную жизнь, создает своеобразный цикл небольших стихотворных рассказов («Делегатка», «Ясли» и др.). Это произведения о замечательной советской нови, о великих переменах, которые революция осуществляет в деревне в сознании миллионов людей, выведя их «из тьмы к свету».

Весь цикл несет на себе печать глубоких раздумий поэта над историческими судьбами своего народа. Большая тема рождает потребность в новых изобразительных средствах и стилистических красках. Городецкий отказывается не только от велеречивой, пустотелой риторики, но и от присущей ему порой в прошлом склонности к украшательству, изощренности и изысканности поэтического образа. Его стих становится более строгим, вместе с тем — сердечным. Поиски народности, которые были свойственны Городецкому еще в период «Яри», здесь стали уже увенчиваться ощутимыми результатами. Влияние школы Некрасова, а отчасти и творчества Демьяна Бедного явственно ощущается в ряде произведений этой книги, составляющей вместе с двумя предшествующими сборниками — «Серп» и «Миролом» — заметную веху в творческом развитии поэта.

Сергей Городецкий никогда не был поэтом-затворником. Пылкий, порывистый, он всегда нуждался в общении с людьми, искал применения бушевавшей в нем организаторской энергии. Он всегда что-то создавал — новый журнал, альманах, новый литературный кружок. После Октябрьской революции эта гражданская активность еще более была возбуждена в нем. Когда-то давно Городецкий разошелся с символистами, считавшими условием внутренней свободы поэта, художника отказ от решения социальных проблем. Тогда, еще задолго до революции, не было для Городецкого ничего более неприемлемого и враждебного, чем такая позиция. Вся его жизнь служила полным ее опровержением. Он тянулся ко всему новому.

В 20-х годах, как грибы после дождя, возникали различные литературные группировки, кружки. К некоторым из них прибивался Городецкий, иные — сам создавал. Одна из таких группировок — «Коммунистическое объединение художников слова». Оно было созда-

но Городецким в Москве, вместе с Осафом Литовским. Правда, просуществовало это «объединение» всего один день — «утром организовалось... вечером было ликвидировано». [1]

Несколько позже усилиями Городецкого был создан московский «Цех поэтов». Он собирался на квартире А. Антоновской в Брюсовском переулке и объединял очень разных поэтов — от П. Антокольского, В. Инбер и И. Сельвинского до Г. Шенгели, М. Зенкевича и А. Ширяевца. «Цех поэтов» подготовил сборник «Стык», вышедший в 1925 году с предисловиями А. В. Луначарского и Городецкого.

Первый из них назвал этот сборник, при всех его недостатках, «заметной книгой в общем потоке нашей поэзии». [2] Автор же другой статьи пытался осмыслить реальное место московского «Цеха поэтов» в этом потоке. По мнению Городецкого, с 1917 года русская поэзия «бьется в судорожных поисках языкового эквивалента переживаниям революции». Конечно, не только в «языковом эквиваленте» было дело. Но важно в данном случае другое: общая позиция автора статьи, его стремление соотнести литературу с жизнью, с революцией. И тем самым он выразил усилия многих поэтов своего поколения, честно принявших правду нового мира. В своей статье Городецкий верно отмечает коренную уязвимость символизма, с характерным для него идеалистическим взглядом на мир. «Поправка на материализм», которую, по словам поэта, внес акмеизм, не могла иметь решающего значения. Оценивая произведения участников нынешнего сборника, Городецкий дает иным из них меткие характеристики, свидетельствующие о верности его эстетического прицела. Он пишет, например, о безуспешной попытке Брюсова «выгрузить» идеализм из символизма, об Андрее Белом с его «лукавым полупризнанием веры в потусторонний мир», о резком своеобразии В. Хлебникова — «поэта поэтов», о трудностях, которые испытывает Б. Пастернак в восприятии новой революционной действительности, и о том, что включенный в сборник отрывок из его романа в стихах «Спекторский» дает основание для тревоги о возможности «отрыва поэта от современности». Дальнейшее развитие советской поэзии рисуется Городецкому на стыке «формального опыта старой поэзии с грандиозным и почти еще нетронутым материалом революции». [3]

Сборник «Стык» — в известном смысле действительно примечательное явление литературной жизни середины 20-х годов. Интересен

---

[1] О. Литовский, Так было, М., 1958, с. 28—29.

[2] А. В. Луначарский, О нашей поэзии. — «Стык. Первый сборник стихов Московского цеха поэтов», М., 1925, с. 12.

[3] С. Городецкий, На стыке. — «Стык...», М., 1925, с. 13—19.

он и тем, что дает представление о том, как непросто шло «вживание» Городецкого в революцию и как настойчиво он пробивался к ее идеологии и ее эстетике.

В 20-е годы Городецкий ведет большую просветительную работу. Его часто можно было видеть в театральных залах и рабочих клубах Москвы, Киева, Курска, Ростова, Владикавказа. Он читал стихи — свои и других советских поэтов, выступал с лекциями о «революционном театре», «о новой пролетарской поэзии», обличал мещанство в искусстве и быту.

Маяковский писал в те годы: «Вторая работа — продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю».[1] По примеру Маяковского, «трубадурами» и «менестрелями» стали многие советские поэты. Для них, как и для Городецкого, это было формой наиболее непосредственного и активного общения с читателем, с народом.

Перед нами пожелтевшая от времени огромная афиша, извещающая, что 9 февраля 1925 года в городском театре им. Щепкина в Курске состоится «лекция революционного поэта Сергея Городецкого» на тему: «У истоков революционного театра». На афише обозначены и тезисы лекции, написанные в характерной для тех лет броской манере. На другой день в «Курской правде» появился отчет об этом вечере и о тех лаврах, которые стяжал на нем Городецкий как лектор и поэт.

В 1929 году Городецкий выпустил новую книгу, знаменательно озаглавленную — «Грань». Этот сборник явился подлинной гранью в поэтической биографии Городецкого. Одна из центральных тем книги — освобождение человека от власти традиций и привычек, усвоенных им в прошлом. Это была тема духовного перевооружения человека, пришедшего к революции и ставшего строителем нового общества, человека, окончательно созревшего для решения:

Всю кровь, всё сердце, всё дыханье
Влить в мировое полыханье.

(«Немота»)

Важнейшая особенность этой книги в том, что поэтическое восприятие советской действительности почти уже утратило былые черты отвлеченной патетики и начинало приобретать здесь реалистический характер:

---

[1] В. В. Маяковский, Я сам. — Полн. собр. соч. в двенадцати томах, т. 12, М., 1949, с. 30.

И песней, новой и просторной,
В стихах провеяла весна.

(«Александру Блоку»)

Пожалуй, наиболее наглядный итог этого процесса можно было бы проследить на стихотворении «Дмитрию Фурманову» — одном из самых зрелых произведений Городецкого.

«В какой-то щели Госиздата, средь вороха бумажных дел» автор однажды встретился с Фурмановым. Завязалась интересная продолжительная беседа. И эта встреча писателей двух поколений, различных жизненных путей получает вдруг значение яркого и выразительного символа, знаменующего исторические судьбы старой русской интеллигенции, ее пути к революции.

И сплелся я лучом незримым
С улыбкою его зари.

(«Дмитрию Фурманову»)

Творчество поэта обретает все более широкую перспективу и общественную целенаправленность. И уже в 1927 году он имел нравственное право на такие строки:

И мысль, исхлестанная болью
Гражданских бедствий и войны,
Рвалась со всей людскою голью
На ленинские крутизны.

(«Над комплектом газеты»)

Мучительная переоценка прошлых ценностей и осознание себя одним из созидателей новой жизни — вот лейтмотив, который проходит через всю книгу. Под таким углом зрения поэт осмысливает жизнь и творчество многих из тех литераторов, с которыми его судьба еще не так давно связывала. «Стихи ушедшим» — так назван весь цикл. Кроме Блока и Фурманова мы встречаем в этом цикле Брюсова и Есенина, Андрея Соболя и Ширяевца, Хлебникова и Гумилева.

Революция разметала в разные стороны Городецкого и Гумилева. Былые соратники и друзья, они стали врагами. Искренне и взволнованно звучат строки о духовной слепоте поэта, отвернувшегося от жизни, от истории.

И ничего под гневным заревом
Не уловил, не уследил.
Лишь о возмездье поговаривал
Да перевод переводил.

Горький реквием завершает это нелегко давшееся Городецкому стихотворение:

О, как же мог твой чистый пламенник
В песках погаснуть золотых?
Ты не узнал живого знамени
С парнасской мертвой высоты.

В совершенно ином, можно сказать противоположном, эмоциональном ключе написаны стихи о Блоке. Великим другом и наставником, проницательнейшим человеком, наделенным удивительным эстетическим и историческим чутьем, художником необычайной силы и нравственной красоты — таким Городецкий всегда ощущал Блока. Таким он его изобразил в своих стихах. И что особенно существенно отметить, образ великого поэта предстает здесь не только как исключительная личность, он в восприятии Городецкого — норма и образец человека и художника вообще.

Интересно еще стихотворение о Велимире Хлебникове, написанное очень эмоционально и красочно.

За взлетом розовых фламинго,
За синью рисовых полей
Всё дальше Персия манила
Руками старых миндалей...

Так ярко и многоцветно начинается стихотворение об этом удивительном, ни на кого не похожем человеке. Городецкий был одаренным художником-живописцем. Он нередко сам иллюстрировал свои книги. Его акварели и масло не раз экспонировались на выставках. Возможно, отсюда — пристрастие поэта Городецкого к ослепительно яркому пейзажу, к разноцветной метафоре или полыхающему красками эпитету.

Заря лимонно-рыжим шелком
Над бархатной вспахнулась тьмой... —

так мог написать лишь живописец, органически чувствующий цветовую гамму. Многокрасочная атмосфера стихотворения помогает резче ощутить острую характерность образа Хлебникова.

Урус-дервиш, поэт-бродяга
По странам мысли и земли!
Как без тебя в поэтах наго!
Как нагло звук твой расплели!

Ты умер смертью всех бездомных,
Ты, предземшара, в шар свой взят...
И клочья дум твоих огромных,
Как листья, по свету летят...

(«Велимиру Хлебникову»)

Энергичный, упругий ритм строки прекрасно гармонирует здесь с интенсивной цветовой окраской всего стихотворения.

Городецкий был лириком по самой природе своего поэтического дарования. Но его лирика отнюдь не носила сугубо личностный характер и не замыкалась в сфере чувства и мысли. Она еще событийна. Случившийся эпизод, какой-нибудь важный жизненный факт, встреча, событие — все это вдруг обретало вторичную и обобщенную жизнь в стихах Городецкого. Можно сказать об эпическом складе лирического таланта этого поэта. Городецкий-лирик всегда тяготел к эпосу. Проницательно заметил Блок: «...Городецкий имеет полное право называть свои стихи не только лирическими, но и *лироэпическими*, потому что красная нить событий пронизывает лирику».[1] Не случайно увлечение Городецкого жанром поэмы, особенно сильно проявившееся после революции. Величие происходивших в стране событий, их масштабность и драматизм — все это естественно усиливало тяготение поэта к эпосу.

В 1918 году в Тифлисе вышла отдельным изданием поэма Городецкого «Шофер Владо». В основе ее сюжета — романтическая история о смелом и мужественном человеке, ценой собственной жизни спасшем от смерти прелестную девушку. Отчетливо просвечивает в сюжете его социальная подоплека. Светлому, поэтическому миру противостоит в поэме мир наживы и корысти, воплощенный в образе «белого князя» Вово.

Высокий романтический накал пронизывает всю эту поэму, в которой мы улавливаем отдаленное эхо кавказских поэм Лермонтова. И образ «пугливой, трепетно-милой» аджарки, и кряжистый характер «седого, как пена на волне» ее старика-отца, и демонический образ князя — все они выписаны на романтический манер. Вяло и пунктирно изображен характер главного героя поэмы — шофера Владо. Мы не чувствуем его внутреннего мира, его психологии, его взгляда на жизнь. Но есть в этом произведении то наивное ощущение непосредственности бытия, которое всегда было свойственно Городецкому еще со времен «Яри». Здесь оно выражалось, разумеется, в иных формах, чем в древнерусских стилизациях. Вся образная структура поэмы —

---

[1] Александр Блок, О лирике. — Собр. соч., т. 5, с. 146.

ее изобразительные средства и энергия упругого, гибко вьющегося стиха — отлично подчеркивали слиянность человека и природы. Она — живой организм, она дышит, она как бы непосредственно участвует в тех драматических событиях, которые изображены в поэме Городецкого.

В 1928 году на страницах журнала «Красная нива» появилась его обширная поэма «Красный Питер», никогда с тех пор не перепечатывавшаяся. Между тем это произведение во многих отношениях примечательное.

Поэма открывается вступлением, рисующим картину революционного Петрограда. Все в этом городе взбудоражено, все взметено. Вихрь революции проник во все поры общественного и личного бытия людей.

В красном Питере начало
Мира нового кричит.

Но далеко не всем по душе этот новый мир. Он страшен и ненавистен банкиру, чиновнику, той злополучной «дамочке Софи», «в шляпке с мехом кенгуру», равно как и тому в «истертом фраке» лектору, в докладе которого «на красные причины развивался белый взгляд». Пестр и жалок этот обреченный историей мир. Ему противостоит разудалый и веселый матрос Фома, ненавидящий буржуев, но готовый сорвать любовь с первой «буржуечкой».

Как и у Блока в «Двенадцати», революция представлена в поэме Городецкого лишь как сила ненавидящая и разрушающая. Матрос Фома напоминает нам мужественных и беспощадных блоковских апостолов, неумолимых в свой ярости против старого мира и прекрасных в своей верности революционному долгу.

Старый мир серпом подкошен,
Молоток верней, чем крест.
Золотой телец раскрошен.
Кто не трудится — не ест...
...Светит Маркс челом огромным,
Речь немая горяча,
И глядит Сократом скромным
Русский профиль Ильича...

Вот символ веры матроса Фомы и всех тех, кто вместе с ним призван историей на руинах прогнившего прошлого построить новое, справедливое будущее. Сшибка двух миров раскрывается здесь как грандиозная битва идей, жестокая и неумолимая. Слишком многое

решается в этой битве, от ее исхода зависят судьбы человечества. Вот почему — никакого компромисса с врагом!

Слезы барские — вода.
Всех вас лучиком каленым
Выжжет алая звезда.

Мы находим в «Красном Питере» и прямые реминисценции из блоковской поэмы. Матрос Фома, в поисках убежища от разгулявшейся метели, забредает в какой-то дом и неожиданно встречается там с самим Блоком, а затем вспоминает стихи, некогда читанные артистом:

Резвой рассыпáлся бранью
Коммунист и гармонист?
Кажется, гулял он с Катькой,
Кажется, Петрухой звать.
Кончилось поповским батькой.
Вспомнилось! Эх, голова!
Это же частушки Блока!
С ним метель свела Фому!
Эх бы! Расспросить неплохо!
Многого я не пойму,
Как же это такой крепкий,
А поплелся за Христом?..
...Эх бы повидаться снова!
В честные взглянуть глаза!
В партию бы к нам такого!
Правду б ему рассказать!

Кульминацией сюжета поэмы является подавление кронштадтского мятежа. В героическом подвиге горстки преданных революции людей раскрываются ее высшие нравственные силы и безграничные возможности раскрепощенного человеческого духа. В жестоком бою выпрямляется сложный, путаный характер матроса Фомы («Будто самого себя он в страшном истреблял бою»), и нравственно просветленным он уходит из этой жизни в бессмертие.

«Красный Питер» — вещь далеко не во всем бесспорная. Неровная в художественном отношении, она еще и не всегда точно воссоздает картину жизни советского общества в период гражданской войны и в первые годы после нее. Написанная с явной оглядкой на «Двенадцать», поэма Городецкого не заключала в себе открытия нового жизненного материала и создавала ощущение вторичности,

недостаточной оригинальности поэтической мысли. При всем том в творческой биографии Городецкого это было важное произведение, свидетельствовавшее о том, сколь решительно его автор преодолевал в себе груз прошлого, сколь интенсивно и органично вызревал в нем советский поэт.

В 1935 году Городецкий написал стихотворение «Поэт» — глубокое по мысли и прекрасное по форме. В нем сопоставлены судьбы искусства в старой и новой России. «Птица-песня», которой «крылья мяли», «горло рвали и давили грудь пятой», ныне вырвалась на широкий простор и обрела возможность свободного и вдохновенного полета:

Птицы-песни взлет свободен.
Птицы-песни голос годен
И в бою и за трудом.
Слово чувством накалилось,
Слово мыслью утвердилось,
Слово стало рычагом.

Это стихотворение явилось как бы выражением эстетического кредо поэта на новом его историческом пути. Оно еще более подтверждало основательность и серьезность идейного перевооружения Городецкого, равно как и значимость этого процесса для его творчества.

В 30-х годах наступила известная пауза в развитии Городецкого. Все меньше писались стихи оригинальные, преобладать стали переводы и другие формы литературной работы. Те серьезные и острые социально-исторические процессы, которые происходили в советской стране на протяжении этого десятилетия, видимо, нелегко и небезболезненно воспринимались Городецким. И он не сумел сразу найти в себе достаточно глубокие и сильные слова, чтобы выразить свое отношение ко всему тому новому и великому, что в трудном борении пробивало себе дорогу в жизни.

Но вот обрушилась страшная война. Поднялась вся страна в едином порыве против иноземного нашествия. И тут с новой силой зазвучало поэтическое слово Сергея Городецкого. Оно дало себя знать и гневным стихом («22-VI-41», «Московская ночь», «Родной город»), и призывной песней («Походная», «Партизан», «Песня дружбы»), и исторической думой («Древняя Русь», «1812 год»). В этих произведениях перекликается память о старой славе народа с новой его великой славой и слышен сильный, мужественный голос поэта-патриота. Правда, не все стихи Городецкого отличались законченностью отделки, а некоторые из них были ниже обычного уровня его художе-

ственного мастерства. Но произведения военных лет писались по горячим следам событий. Они эмоциональны и публицистичны. В них отражены порывы и стремительный ритм тех незабываемых лет.

Тогда же была написана лирическая поэма «Три сына», впервые опубликованная лишь в 1956 году. Здесь рассказана печальная история о старом финне Илонене и его трех сыновьях — история обманутых надежд и утраченных иллюзий. После пережитых несчастий, в которые гитлеровская Германия ввергла семью Илонена и его страну, он осознает, как подло обманывали финнов их правители, и решает мстить виновникам страданий своего народа. В художественной ткани этой поэтической повести Городецкого ощущаются и отголоски старых «ярильских» мотивов (см., например, стихотворение «Юхано» в книге «Ярь») и отчетливое влияние народно-поэтической традиции.

Следует отметить еще одну отрасль художественного творчества Городецкого — менее известную, предназначенную для детей. Еще в 10-е годы он выпустил ряд книжек для детей младшего возраста: «Федька-чурбан», «Царевна-сластена», «Ау», «Мика-летунок» и др. Используя мотивы народной сказки, Городецкий создавал новые сюжеты, которые свежо и оригинально толкуют вопросы, имеющие важное значение для воспитания детей. Эту традицию с еще большим успехом продолжает он после революции — в книжках «Хозяйка-лентяйка» (1923), «Крылатый почтальон» (1923), «Веснушки Ванюшки» (1924), «Лети, лето» (1924). Без назойливой дидактики, легко, весело, непринужденно беседует писатель со своими юными читателями.

Творчество Сергея Городецкого многогранно. Он работал не только в поэзии, но выступал и как прозаик. Близкий Городецкому жанр «рассказа в стихах», интерес к которому наметился уже в ранних циклах и усилился в советское время (как в стихотворных биографиях — например «Особенный человек», — так и в игровых песнях — например «Горюшко»), естественно, привел поэта к опытам в прозе. Содержание ранних рассказов Городецкого, порой близких к очерку, было связано с изображением быта старой деревни. Особенно занимала его тема дворянского разорения. Наиболее интересно она воплотилась в повести «Сутуловское гнездовье» (1915).

Самые значительные свои прозаические произведения Городецкий написал после Октябрьской революции. Они разнообразны в тематическом и жанровом отношении. В основу повести «Памятник восстания» (1928) положен эпизод из жизни рабочего класса Финляндии, а повесть «Черная шаль» (1929) рассказывает о драматической судьбе работницы стекольной фабрики Мурано в Венеции. В середине

20-х годов Городецкий написал стихотворение «Беспризорный» — о трагедии мальчика, потерявшего отца и мать и затем с помощью добрых людей нашедшего свое счастье. Несколько лет спустя писатель вернулся к этой теме в психологической повести «Где правда?» — о скитаниях беспризорника, мечтающего обрести свое место в жизни. Центральным произведением прозы Городецкого явился роман «Алый смерч» (1927). Здесь изображается ряд эпизодов первой мировой войны на Кавказском фронте накануне и в момент Февральской революции. В романе воссоздана картина разложения царской армии на Кавказском фронте перед Февральской революцией. Атмосфера хаоса и деморализации во всей армии, полное политическое банкротство государственной власти, отсутствие каких бы то ни было идеалов у офицерства и оторванность его от народа и интересов страны — таковы были симптомы великого исхода старого мира, который был Городецким отринут от себя и проклят.

В середине 20-х годов Городецкий начал работать над новым романом, близким по теме предшествующему — «Сады Семирамиды». Действие этого романа начинается в 1916 году, и посвящен он трагическим событиям, разыгравшимся в Западной Армении, когда от рук турецких колонизаторов погибли десятки тысяч армян. Роман был опубликован уже после смерти автора.[1]

Работа над прозой имела значение и для собственного поэтического творчества Городецкого, расширяя сферу жизненных наблюдений поэта и тем самым обогащая его художественный талант.

Сергей Городецкий нередко выступал и в качестве критика, как уже отмечалось выше, и историка литературы. Упомянем своеобразно написанные им в разные годы портреты композитора Лядова, поэтов Есенина, Блока, исследование о Короленко.

Наконец, нельзя не отметить важной страницы в биографии поэта, связанной с его деятельностью в той области театрального творчества, к которой относится искусство оперной драматургии. Городецкого можно назвать одним из немногих в нашей советской литературе профессиональных мастеров оперного либретто.

В 1924 году А. В. Луначарский привлек его к работе в Большом театре. Поэт сделал новые переводы либретто классических опер «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Фиделио», «Лоэнгрин» и другие. Самым крупным достижением Городецкого в этом жанре является создание им нового текста к опере «Иван Сусанин» (1937—1944). Старый текст к опере, написанный в верноподданническом духе бароном Е. Ф. Розеном, имел мало общего с замыслом Глинки. Сенти-

---

[1] «Литературная Армения», 1971, №№ 3 и 4.

ментально-монархическая направленность этого либретто, крайне убогого по своему художественному уровню, вступала в вопиющее противоречие с гениальной музыкой.

Перед советской поэзией стояла задача: освободить оперу от розеновского текста, создать для нее новое либретто по сохранившемуся плану Глинки. Эту задачу и решил Сергей Городецкий. Его либретто дало возможность с наибольшей глубиной раскрыть народно-патриотическое звучание бессмертного творения Глинки.

Городецкий был одним из пионеров в создании оперных либретто на советские темы. Назовем, например, его тексты к операм «Прорыв» (муз. С. И. Потоцкого), «Александр Невский» (муз. Г. Попова), «Амран» («Прометей», муз. Я. Е. Столляра). Последнее либретто было удостоено в свое время первой премии на конкурсе Большого театра.

Сергей Городецкий умер в июне 1967 года, восьмидесяти трех с лишним лет. И до последних дней своих он сохранил в себе то страстное отношение к жизни и слову, какое обычно свойственно художнику в пору яркого горения его творческих сил. В 1959 году в «Правде» появляются его стихи «Кремль» и «Делегатам XXI съезда КПСС», в которых Городецкий заявляет себя поэтом, беззаветно преданным великим идеям коммунизма. Он пишет стихи, посвященные подвигу советских космонавтов. В 1963 году он печатает в «Правде» стихотворение о Ленине — «Он жив!», начинающееся эмоциональными, выразительными строками:

Природа-мать! История! Россия!
Народная седая жизнь сама!
Какие вы пути исколесили,
Чтоб вспыхнул гений сердца и ума!

Годы и болезнь не охладили горячего, порывистого темперамента поэта, не остудили его мыслей и чувств. О том свидетельствуют новые стихотворения Городецкого — «Горячее время» и «Видна дорога».

Значительное место в литературной деятельности Сергея Городецкого занимает его работа в качестве переводчика. Многие произведения болгарских поэтов — Христо Ботева и Христо Смирненского, польских — Адама Мицкевича и Марии Конопницкой, украинских — Тараса Шевченко и Ивана Франко, Павло Тычины и Максима Рыльского, белорусских — Янки Купалы и Якуба Коласа, армянских — Ованеса Туманяна и Акопа Акопяна — и других поэтов по-новому прозвучали на русском языке в переводах Городецкого. Блестящий знаток русского слова, поэт большой художественной культуры,

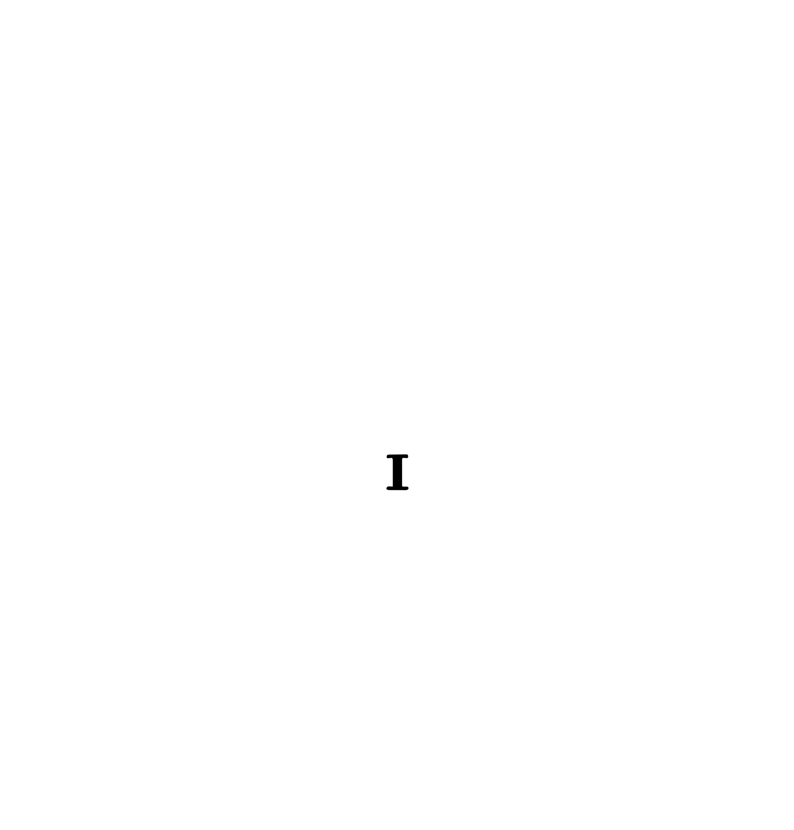
Городецкий вкладывал в переводческую работу весь свой опыт и талант.

Поэт богатой и щедрой души, Городецкий всегда стремился к тому, чтобы его опыт стал достоянием литературной молодежи. Отсюда тот жадный интерес, с каким он общался с начинающими писателями. Некогда он помогал Сергею Есенину в его поэтических начинаниях, позднее руководил литературными кружками в Иваново-Вознесенске, Орехово-Зуеве, в Болшевской колонии беспризорников. На протяжении многих лет он вел педагогическую работу в Литературном институте имени Горького. Немало молодых и не очень уже теперь молодых советских поэтов могут назвать имя Городецкого в числе своих первых учителей и наставников.

Творчество Сергея Городецкого велико по объему и чрезвычайно разнообразно. Не все написанное им за шесть десятилетий выдержало испытание временем. В обширном перечне его произведений можно найти и слабые, и не соответствующие возможностям дарования поэта. Но немало есть у него вещей ярких, сильных, одухотворенных реалистическими традициями русской поэзии, традициями Некрасова и Блока. Вдохновение Городецкого не раз припадало к родникам народной поэзии, воздействие которой также благотворно сказалось во многих его произведениях.

Лучшему из того, что написано Сергеем Городецким, принадлежит достойное место в летописи русской поэзии XX века.

С. Машинский



I

ЯРЬ

ЗАЧАЛО

1—4. Я

1

Я под солнцем беспечальным
Верю светам изначальным,
Изливаемым во тьму.
Сумрак — женское начало,
Сумрак — вечное зачало,
Верю свету и ему.

Свет от Света оторвется,
В недра темные прольется,
И пробудится яйцо.
Хаос внуку улыбнется,
И вселенной сопричтется
Новозданное лицо.

Человек или планета
Проведет земные лета,
И опять спадет лицо.
И вселенной улыбнется,
И над Хаосом сомкнется
Возвращенное кольцо.

Май 1905

2

Я далекий, я нездешний,
На земле я только миг.
Всюду вечный, здесь я вешний,
Сам — господь своих вериг.

Расцветает, голубеет,
Зеленеет — это я.
Посветлеет, заалеет —
Это зов: зовут меня.

4 апреля 1905

3

Я, как ветер, над вселенной
Быстро, вольно пронесусь
И волною многопенной
В море вечное вернусь.

Я у солнца взял сиянье,
Сны о счастье — у луны,
У земли — ее страданье,
Силу жизни — у весны.

И рождаюсь, зажигая
Все родные корабли,
Чтоб от края и до края
Жизнь мою огни сожгли.

Сентябрь 1904

4

Я тень грядущего светила.
Я темен: свет горит за мной.
Еще заря не восходила,
Но уж исчез туман ночной.

Кто хочет новых трепетаний,
Проникни в сумерки мои:
Во мгле неясных очертаний
Зажгутся первые огни.

Сентябрь 1903

5—10. *СОЛНЦЕ*

1

Стою, всевидящее око,
На страже гаснущих миров.
Мои огни — дыханье рока,
Мое вздыманье — без оков.

Во мне родился мир планетный,
И от меня умрет навек
И цвет растений безответный,
И слепо-мудрый человек.

2 апреля 1906

2

Мое лицо — тайник рождений.
Оно металось в колесе,
В горящем вихре отпадений,
В огнепылающей красе.

Оно осталось зорким оком
Над застывающей землей,
И дышит в пламени высоком
В лицо вселенной молодой.

И от него на мертвом теле
В коре чуть тлеющей земли
Плоды багряные зардели
И злаки тучные взошли;

Зашевелились звери, гады,
И человек завыл в лесу,
Бросая алчущие взгляды
На первозданную красу.

31 марта 1906

3

Солнце любимое, солнце осеннее!
Не кручинься над лесом пустующим:
Горе горькое радости тленнее,
Не горюй же над миром горюющим!

Не одно ты в просторах темнеющих
Заблудилось и мчишься пустынями:
За тобой на лугах зеленеющих
Люди мчатся за веснами синими!

12 октября 1906

4

Горные дали безбрежны.
Мир величав и один.
Мир не расколот на двóе,
Слито с небесным земное.
Сонны, безоблачны, снежны
Белые лона вершин —
Их поднимает природа
Ждать золотого восхода.

Небо огни погасило
Звездами явных очей.
Свет и цвета, колыхаясь,
Мир одевают, рождаясь.
Медленно движет светило
Стрелы кристальных лучей:
Солнце — земле и планетам,
Звездочка — тьме и кометам.

Декабрь 1904

5

Ты отошел в кривые тени,
А на челе небес взошла
Передрассветных откровений
Чуть зацветающая мгла.

И целомудренные чаши
Вздымают чуткие цветы,
Сиянья утреннего краше,
Ясней лазурной высоты.

И тлеют в облаке стыдливом
Просветы алого огня,
И день в теченье молчаливом
Поет: «Узнаешь и меня. . .»

1907

6

Утро. Лазурное утро. Как ясен
Словно впервые увиденный свет!
Ропот полночный, вечерний напрасен:
В мирной душе противления нет.

Нет! И как в первые дни сотворений
Эта природа — родимая мать.
Сердце склоняется миром явлений
Всё бытие исчерпать.

1907

11—14. *ЛУНА*

1

Сияет день золотолатый,
Пока сияет — разум жив.
И мир, сверканием богатый,
Так вероятен, так красив.

Но только солнце до зенита
Свершит сегодняшний свой путь, —
Душа, тревогами повита,
Не смеет нá небо взглянуть.

Ведь каждый градус небосклона
Вечерний приближает час.
Вот — потемнеет неба лоно,
Зажгутся звезды, вот — сейчас

Владыка сонного сознанья
Подымет око пустоты
И смехом белого сверканья
Раздавит мысли и мечты.

Исчезнет мир, погаснет разум.
Как жалкий гад, забывши день,
Я буду под слепящим глазом
Переползать из тени в тень.

1907

2

О лунный плен!
О цепи белых пятен!
Я здесь, внизу, один,
Как вор, пригнулся у порога.
Я, человек, я, властелин
Цветов, дневных лучей,
Владыка солнечных мечей,
Я, сам создавший имя бога,
Чей голос днем так внятен,
Я, сокрушитель стольких стен,
Здесь, скорченный, как вор,
Как раб перед бичом владыки,
Поднять не смея мертвый взор,
Лежу в пыли, как стебель повилики.
О лунный плен!
О цепи белых лунных пятен!

А он, вверху, мучитель белый,
Уставив вниз пустынный зрак,
Беззвучный, вечный, онемелый,
Расплавленный свинец на землю льет,
Отрадный выжигая мрак.

И только здесь, в тени, за каменным углом,
Мне, человеку с божеским лицом,
Едва переносим слепящий гнет.

Февраль 1907

3

Затопила луна терема.
Зелена у окна бахрома
Одичавшей от счастья листвы.
Ты идешь, ты выходишь сама
По алмазным лагунам травы.
Подошла, обняла и взяла,
Измывая сияньем седым;
Седоватым, зеленым твоим
Опоила туманом ночным,
Заглянула, узнала, легла,
Так была голуба и бела.

Затянули луну облака.
Затонули в сини́ терема,
И темна у окна бахрома
Опаленной познаньем листвы.
Чья вверху изогнулась рука
У покровов твоей синевы?
Кто смутил голубиную тишь,
Показал торжествующий лик?
Ты не знаешь? Уходишь? Молчишь?
Угадала, узнала, таишь!
Это он, это Лунный Старик.

1906

4

В лунном свете белый дворик,
Белый дворик, белый дом.
Лунный свет пахуч и горек,
Свет отравлен колдуном.

Перва четверть — месяц-змейка,
Снова четверть — месяц-лик.
Полнолунье — разумей-ка! —
Не луна, а сам Старик.

Он владеет синим сводом,
Он пестует девий плен,
Он мешает год за годом
Семена людских колен.

Третья четверть — отдых людям:
Смотрит месяц на ущерб.
В новолунье — не забудем —
Точит Старый новый серп.

Белый дворик — это значит
Полнолунье на земле.
В белом доме сердце плачет,
Желтый светик в лунной мгле.

Декабрь 1906

15—17. *ЗЕМЛЯ*

1

Душа надела цепи,
Пришла в земные степи —
Как трудно всё узнать!

Стремленья, достиганья
И бедного незнанья
На всем легла печать.

Но помнится: там, где-то
Заоблачного света
Незримые края.

Не тень и отраженье,
А звезд воспламененье
И правда бытия.

Ноябрь 1904

2

Миром оплетенные,
Туманами окутаны,
Пустыней разделенные,
Пространствами опутаны,
Во времени томительном
Несемся, обнищалые,
И в блеске освежительном
Горят нам зори алые.

Ах, если бы закатами
Заря не озаряла нас,
Всегдашними утратами
Судьба бы испугала нас.
Погасли б мы, печальные,
Стесненные ущельями,
И тьмы небес опальные
Всполóхнули б весельями.

Ноябрь 1906

3

Как сладко, как тихо
На волнах твоих,
Лазурь светлотканная,
Богом любовей земных
Осиянная.
Мы ли, земные,
Тяжелые, темные,
Жалко плененные
Пленом, тягчайшим из всех,
Знаем сиянье небесных утех,
Знаем ключи золотые,
Лучами пронзенные,
Знаем купели укромные,
Где, зачиная, гудит
В недрах бескрайных
Ярь родников
И щедро дарит
В радостях тайных
Дар облаков!

Ноябрь 1906

18—22. *РОЖДЕНИЕ*

1

Свет зеленый, свет небесный
Входит в узкое окно.
В этой башне, тихой, тесной,
Всё им, ласковым, полно.

Но горит свеча земная
Тусклым, маленьким огнем —
Вот погасла, тихо тая.
Я в тумане голубом.

Дух мой, небом не смущенный,
Видит божие лицо.
Мне так ясно. Просветленный,
Я разбил свое кольцо.

Всё так мирно. Всё, что будет,
Свет неведомый несет.
Капли в мире не убудет,
Время взятое вернет.

Октябрь 1904

2

Ты была самой любовью,
Ты огнем ее была.
По тебе горячей кровью
Страсть бессонная текла.

Ты любовно принимала
Силу жизни и звала
Образ первого начала —
Ты зачатия ждала.

Совершилось. Кто-то новый
Зреет медленно и ждет,
Скинув алые оковы,
Жадно ринуться вперед.

Октябрь 1904

3

В гулкой пещерности,
В тьме отдаления,
Самодовления,
Богом зачатая
Ярь непочатая.
Дщерь неизмерности
Щедрых страстей,
Сонно колышется,
Матерью слышится,
Влажно-просторною,
Взором проворною
Чревных очей.

Скорбь исхождения,
Путы утробные,
Болести гробные,
Крик раздвоения —
Радостный путь!
Семя родимое,
Долго носимое,
Ликом пребудь!

6 июля 1906

4

Преодолей небытие,
Пройди игольные врата.
Мое несбытое — твое,
На изреченье — немота.

Смени меня, где не могу,
Во исполнение меня.
И на моем вздыми лугу
Цветы от твоего огня.

Скатилась семенем звезда:
Да будет сын. И ты еси.
Туга всемирная узда —
Свое звено в цепи неси.

Тебя в отце благословил
Всевосполняющий урон.
Иди сюда. В теченье сил
Тобою сбудется мой сон.

Август 1906

5

С тобой узнал я близость неба,
В тебе приял воды и хлеба
Неизреченной красоты.
И в час ночного возвращенья
Одной тобою утоленье
Впивал алканию мечты.

Когда же, зноем утоленный,
Как пахарь, в поле утомленный,
Я оросил твои поля,
Ты стала чающей мадонной,
Утомно-тихой, нежно-лонной,
Таящей семя бытия.

И твой ребенок златокудрый
Своим младенчеством премудрый,
Родился от моих небес.
И в нем я, в жизни обнищалый,
Как прежде, ветреный и алый,
Так совершенственно воскрес.

Апрель 1906

23—27. *СМЕРТЬ*

1

Я онемел и не дерзаю,
Лесной сосной заворожен,
Из хвой мелькающих слагаю
В сетях и арках замок-сон.

Зелено зелен цвет темницы,
Лишь черен шпиль-громоотвод.

Глядит в отверстие бойницы
Всё тот же синий небосвод.

Всё тот же синий и безглазый,
И в синеве своей пустой
Струящий мелкие алмазы
На иглы башни кружевной.

Всё тот же синий и смешливый,
Но чем смеется — не узнать.
Торопит в сонные заливы
Души разлившуюся гладь.

Проходит год или мгновенье,
Не различить, не уловить.
Истлела в мертвом цепененье
Возврата порванная нить.

Всё зеленей, всё гуще хвои,
Лишь черен шпиль-громоотвод.
И ниже сонные покои,
И вот он, синий небосвод.

Всё тот же синий и смешливый,
И чем смеется — не узнать.
О, череп белый, прозорливый,
Умей же смеху отвечать!

14 мая 1906

2

Пришла и постучалась.
Не я ее впустил.
На двери тень осталась,
Печать нездешних сил.

Поднявши покрывало,
Лицо мне показала.
Ужасен был изгиб
Одной брови над глазом.
Зрачок горел алмазом,
И пук волос прилип
К сырому лбу.

*

В гробу
Кто лето пролежал,
Тот волосы так носит.

«Оставь меня! — сказал я. —
Оставь меня, не твой».
Но всё же руку дал я
Руке ее немой.
Кто знает, тот не спросит,
Зачем я руку дал.

Руки не отымая,
Тревогу убивая,
Спросил ее: «Куда?»
И странно отвечая,
Не мне — я это знаю, —
Она сказала: «Да».

И, медленная, села
И в сердце мне глядела,
И сердце холодело,
И сердце замерло.

1 сентября 1905

3

Похорони меня на воле,
Насыпь курган и возлети
Огнем прощальным в небо-поле
И над могилою свети.

Пройдут века, курган разроют,
Я улыбнуся ртом немым,
И очи тьму свою раскроют
Лучам сияющим твоим.

24 октября 1906

4

Я оплакал себя, схоронил,
Отходну́ю себе произнес.
Новый крест в куче старых могил
Бугорок надо мною вознес.

И не знаю, что делать теперь,
Что мне делать теперь без меня
Обметая могильную дверь,
Поживу до девятого дня.

5 мая 1906

5

Я в гробу лежу и слышу:
Ветер дышит надо мной.
Я локтем приподнял крышу,
Стонет гроб мой парчевой.

Щель темна, узка и скрыта.
Кровь сочится из плеча.
Упаду опять в корыто,
Задуши меня, парча!

Апрель 1906

28–31. *ОТЕЦ И СЫН*

1

Над провалами, за увалами,
Над скалами немалыми,
В облачных обрывах,
На закатных нивах,
    Где миру конец —
    Моя обитель.

От века я властвую,
    Отец и губитель;
Ныне я властвую,
    Сын и зиждитель;
Навеки я властвую,
    Дух и творец.

1907

2

Я захотел — и мир сияет:
Планеты, солнце и земля.
Но день седьмой пустой зияет, —
Так воля волила моя.

Послушен воле исполнитель:
Он до предела сотворял,
Чтобы потомок-отомститель
Оков отцовых не сорвал;

Чтоб, изнывая в заточенье
И задыхаясь в красоте,
Свои творил бы сотворенья
На пресыщенье пустоте.

Я неподвижность не нарушу
И с высоты не снизойду,
Храня незыблемую душу
В моем невиданном аду.

Мелькнут века. Озера станут,
Где воздымалися хребты.
Погаснет солнце — не престанут
Служить мне ангелы мечты.

И заменю миры иными,
И снова им небытие,
Зане над долами земными
Пребудет царствие мое.

⟨1907⟩

3

И в день седьмой почил навек.
  А мир себе довлеет.
А в темных кущах человек
  Потомство сеет.

И крохи чувств, сознаний, дел
Сплетаются в громады.
Всему готов один удел,
И нет пощады.

Упало семя — будет плод.
Закат сменен восходом.
Родился сын — рожден народ.
Миг спеет годом.

Куда течет, куда стремит
С шестого дня отплытий,
В какое море нас вомчит
Река событий?

Небытия иль бытия —
Ты всё неправ, почивший.
Да изнеможет мощь твоя,
Из тьмы творивший!

И если скудость воззовет,
Взалкав, миры иные,
Пусть тьма уродством изойдет
В просторы злые.

Без звуков, светов и цветов
Отцу да будет чадо:
Горелых кубов и шаров
Шальное стадо.

23 сентября 1906

4

Лоном ночи успокоен,
Ты с утра ушел в дозор —
И младенчески спокоен
Ясновидящий твой взор.

Все ли травы оросились,
Все ли кущи на заре

Птичьим пеньем заискрились
В звонкогласом серебре;

Все ли очи излучают
Ликованье бытия;
Все ли чуют, все ли чают,
Что в тебе светаю я.

16 октября 1906

32—34. *ВЕЛИКАЯ МАТЬ*

1

Ты пришла, Золотая царица,
И лицо запрокинула в небо,
Пламенея у тайн Диониса.
И колосья насущного хлеба
Розоватые подняли лица,
Чтобы зерна тобой налилися.

Ты уйдешь, Золотая царица.
Разольются всенощные тени.
Но верна будет алому мигу
Рожь, причастница тайновидений,
И старуха, ломая ковригу,
Скажет сказку о перьях Жар-птицы.

24 июля 1905

2

Отчего узнается в глазах
Позабытый, испуганный блеск
И на черных, потусклых волнах
Возникает сияющий плеск?

Не тебя ли я в роще видал
Осененную богом лесов,
Не тебе ли я ветки кидал,
Изгибаясь за тенью кустов?

Не тебя ли в реке я настиг,
Опьяненную теплой волной,
И не твой ли разорванный крик
Испугал кобылиц под горой?

И не ты ли в лесу родила
Китовраса, козленка-певца,
Чья звенящая песнь дотекла
До вечернего слуха отца?

Умерла и возникла опять.
И у девы в потусклых глазах
Узнается Великая мать
В этом блеске на черных волнах.

16 декабря 1905

8

Когда я вышний воздух рвал
Пустынной птицей буйнокрылой
И водоскаты низвергал,
Топя снега кипящей силой, —

Я знал все облики твои,
Все бытия в тебе явленья —
От взора чревного земли,
До взгляда нежного томленья.

3 октября 1906

35—40. *ЗАРЯ*

1

Каждый вечер ткани ткать
Ало-золотые,
А соткавши — расстилать,
Разостлавши — вышивать
Крылья голубые.

Сизым алость затмевать
И станок отодвигать
В облака ночные.

«Ах, какое алое!
Мама, посмотри!
Это — платье алое,
Где ж лицо зари?»

2

Темной ночью в лес вошла,
Листик, ветку подожгла
И ушла.
Тлело ночью, вспыхло утром
Под веселым перламутром.
В желтом пламени береза,
В красном пламени осина,
Пламя, пламя емлет лес.

Вышла ткани ткать на небо,
Ткала ало-ало-ало,
Небо тканью покрывала
И пурпурно-кровяные
Вышивала зорецветы.

Всех белее ствол березки
Свесил желтенькие слезки.
Под березу опустила
Алый нимб.
Алым нимбом осенила
Утомленного вечерней
И открыла
Лик вечерний.

3

Стелет ткани свои золотые,
Ткет и стелет царевна Заря.
Вышивает цветы голубые.
У царевны коса вороная.

Распускает косу вороную,
Самоцветные камни вплетает,
И полмира под косу ночную
Вплывает.

Полюбилися отроку ткани,
Золотая работа царевны,
На заре он на холмике станет
И глядит, как цветы голубые
Затмевают атласную алость.
Теплят слезы глаза молодые.
Теплит сердце небесную жалость,
Распуская косу вороную.

Самоцветные камни вплетая,
Опускает царевна сиянье.
Отрок, нимбом наивным сияя,
Созерцает ночное молчанье.

4

Высокую башню построил
Из самого белого камня,
Из самого нежного камня
Высокое ложе устроил.
И ночью покоился с ночью,
И утром туманился с утром,
И днем выпускал на молитву
Троих голубей сизокрылых.
И реяли сизые крылья
В глуби́-голуби́ недотечной.
И реяли сизые крылья
На тканях царевны предвечной.
И башня белела
У грани предела.

5

Приполз к белой башне
И лег у подножья —
Остались на пашне
Следы кровяные —
И стонет.

Пришла с длинной грудью,
Пустой и холодной,
И девочкой белой,
Немой и голодной, —
И стонет.

Пришел седовласый,
Звеня кандалами,
Потешил ребенка
Своими цепями —
И стонет.

Стон цепенеет.
Башня темнеет.
Алое сердце изранено.
Кровь багрянеет над пашнями,

Падают башнями
Тучи бесшумные.
Своды завалены,
Кровь заливает развалины,
Липкая, красная.
Где ты, царевна прекрасная,
Ясная?..

6

Трубу к устам твоим,
Забывшим крики.
Закрыты небом огневым
Иные лики.

Земля зажглась. Опять
Рука подъята.
Узнай меня, как мог узнать
В огне заката.

В твоем щите горит
Зеленый камень.
Зажег от века мой зенит
Такой же пламень.

Трубу к устам твоим,
Узнавшим крики.
Дари сияньем огневым
Сердца и лики!

Сентябрь 1905

41—44. *НЕТ*

1

Я в злой тиши похоронён
Пустынных стен.
Забыт, заклепан, полонен
В могильный плен.

И под окном внизу, внизу
Помчит река
За каждый миг мою слезу
Из высока́, —

Из высока́ моей тюрьмы
К пустым лугам,
Где, ты и я, бродили мы
По берегам.

Где, зацветая, в глухоте
Завянул цвет,
Звеня всполохнутой мечте:
«Нет, нет и нет!»

2

Иду к земле в ночное лоно,
В густую влагу темных кущ,
Где всё родимо и зелёно,
Где первоцвет мой был цветущ.

А ты, шептавший у порога,
Замкнись в рыжеволосый плащ.
Да сбудется твоя тревога:
Не для тебя мой лик горящ.

В тиши безлунной приникая
К жизнегубительным ключам,
Волшбу рудую созидая,
Над пеплом жертв поникни сам.

И о тебе я вспомню в неге
Моей владычицы земли,
Когда в стремительном набеге
Воскликну девушке: «Внемли!»

3

В зеленях у ключа я ее повстречал —
Из ограды твоей за водою ходил, —
Ветер белый рукав высоко развевал,
Крепкий локоть я прежде лица полюбил

Ты кричал с высоты, а меня не видал.
За ветвями в листве я глаза разглядел,
Щедрый дождь молодые поля орошал.
Ты кричал — твоим нивам засу́ха удел.

Я колосьями косы густые убрал.
Отдыхая, стыдилась подруга моя.
В зеленях у ключа я ее повстречал —
За водой ключевою ходил для тебя.

4

Мой стан стареет с каждым днем,
И кожа тонкая грубеет,
Не опалюсь твоим огнем,
Пусть так темнеет, вянет, тлеет.

Не оглянусь на волшебство
Твоих костров, во тьме летящих,
Да не зардеет торжество
В глазах, драконышах шипящих.

И, слепоте дарясь, пройду
Поля, разостланные пестро.
И в топь глухую забреду,
Чтоб злую волю ранить остро.

Плети и тки цветы цветны —
Не от меня они завянут:
Уйду в пустыню от весны,
Пускай пески меня затянут.

Октябрь 1906

45—48. *ДА*

1

Опять, нежданностью смущенный,
Увидел я твое лицо,
Всё то же детское лицо,
Всё тот же облик изумленный,
И милых глаз простую синеву,
И этот рот,
Наивный рот,
Что целовал меня так странно.
Нежданно
Опять мне крикнуло: «Зову!» —
Лицо природы первозданной,
Давно увиденное мною,
В лесу, над полем, за рекою,

Когда я фавном молодым
Носил дриад в пустые гнезда
И водяницам голубым
Бросал серебряные звезды.

2

Ты отдалась мне, как ребенок,
И было всё как у детей:
И поцелуй кристально звонок,
И тело рук не горячей.

Но счастье сразу не открылось,
И в муках таинство сошло.
И, колыхаясь, наклонилось
Любви истертое крыло.

3

Закат, закат
Зажег набат
На небе сизом.
И тучи в ряд
Летят, летят,
Чернея, низом.
Кладбище суровое,
Темно-багровое.
Из могил деревья —
Черные деревья —
Поддерживают тучи.
Опираются тучи.
Четыре церкви темные
Закончили вечерни.
Закутанные, скромные,
Стоят во мгле вечерней.
От них идут дорожками,
Аллейками могилки,
И гнездами-сторожками
Чернеют ветки-вилки.

4

Синева твоих глаз потемнела,
Ты по кладбищу ходишь несмело.
И на камне высоком и мшистом
О нечистеньком шепчешь, нечистом.
Но я рот твой целую упругий,
И бровей подымаются дуги.
Ветер сумерки сизые плещет.
По-весеннему сердце трепещет.

Апрель 1905

49. ⟨ИЗ ЦИКЛА «ХАОС»⟩

Беспредельна даль поляны.
Реет, веет стяг румяный,
Дионисом осиянный.

И взывает древле-дико
Яркость солнечного лика,
Ярость пламенного крика:

В хороводы, в хороводы,
О, соборуйтесь, народы,
Звезды, звери, горы, воды!

Вздымем голос хороводный
И осеем свод бесплодный
Цветом радости народной.

Древний хаос потревожим,
Космос скованный низложим, —
Мы ведь можем, можем, можем!

Только пламенней желанья,
Только ярче ликованья, —
Расколдуем мирозданье!

И предвечности далекой
Завопит огонь безокой
Над толпою тайноокой,

И заплещет хаос пенный,
Возвращенный и бессменный,
Вырываясь из вселенной.

Март 1906

ЯРЬ

50. РОЖЕСТВО ЯРИЛЫ

В горенке малой
У бабы беспалой
Детей несудом.
Зайдет ли прохожий,
Засунется ль леший,
На свежей рогоже,
Алее моркови,
Милует и тешит,
Ей всякое гоже,
С любым по любови,
Со всяким вдвоем.

Веселая хата
У бабы беспалой.
Роятся ребята,
Середний и малый,
Урод и удалый,
Помене, поболе,
На волюшке-воле.

Отцов позабыла.
Пришел и посеял,
Кручину затеял,
Кручину избыла,
И то́мятся губы,
Засу́ха постыла,
Пустыни не любы.

«Где батько мой, мамо?»
— «За тучами, тамо,
Где ветер ночует».

— «Где батя, родная?»
— «За теми лугами,
Где речка лесная
Истоки пестует».
— «Где, мамо, родимый?»
— «За теми ночами,
Любимый,
Где месяц жарует».

Весною зеленой
У ярочки белой
Ягненок роженый;
У горлинки сизой
Горленок ядреный;
У пегой кобылы
Яр-тур жеребенок;
У бабы беспалой
Невиданный малый:
От верха до низа
Рудой, пожелтелый —
Не, не, золоченый!
Ярила!

20 июня 1905

51. СТАВЯТ ЯРИЛУ

Оточили кремневый топор,
Собрались на зеленый ковер,
Собрались под зеленый шатер.
Там белеется ствол обнаженный,
Там белеется липовый ствол.
Липа, нежное дерево, липа —
Липовый ствол
Обнаженный.

Впереди, седовласый, космат,
Подвигается старый ведун.
Пережил он две тысячи лун,
Хоронил он топор.
От далеких озер
Он пришел.

Ему первый удар
В белый ствол.

Вот две жрицы десятой весны
Старику отданы.
В их глазах
Только страх,
И, как ствол, их белеют тела.
Так бела
Только — нежное дерево — липа

Взял одну и подвел,
Опрокинул на ствол,
Привязал.
Просвистел топором —
Залился голосок
И упал.
Так ударился первый удар.

Подымали другие за ним
Тот кровавый топор,
Тот кремневый топор.
В тело раз,
В липу два
Опускали.

И кровавился ствол,
Принимая лицо.
Вот черта — это нос,
Вот дыра — это глаз.
В тело раз,
В липу два.
Покраснела трава,
Заалелся откос,
И у ног
В красных пятнах лежит
Новый бог.

16 июля 1905

52. СЛАВЯТ ЯРИЛУ

Дубовый Ярила
На палке высокой
Под деревом стал,
Глазами сверкал.
Удрас и Барыба —
Две темные глыбы —
Уселись рядком.

Покрыты холстами,
Веселые жрицы
Подходят.
И красны их лица,
И спутан их волос,
Но звонок их голос:

«Удрас, Удрас,
Пади на нас,
Тяжелый.
Удрас, ко мне,
Поди ко мне,
Веселый.
Покрой, покрой
Открытых нас
Собою.
Открой, открой
Закрытых нас
Собою».
— «А ты, Барыба
Обеременя.
Пустые дни
Отгони.
Барыба, Барыба,
Отяжели,
Беремя, Барыба,
Пошли.
Барыба, Барыба,
Уж я понесу,
Барыба, Барыба,
Уж я принесу».

Удрас и Барыба —
Две темные глыбы —
Немеют рядком.

Своими холстами
Веселые жрицы
Покрыли их.
Краснее их лица
И спутанней волос,
Но звонче их голос:

«Ярила, Ярила,
Высокой Ярила,
Твои мы.
Яри нас, яри нас
Очима.
Конь в поле ярится,
Уж князь заярится,
Прискаче.
Прискаче, поиме
Любую.
Ярила, Ярила,
Ярую!
Ярила, Ярила,
Твоя я!
Яри мя, яри мя,
Очима
Сверкая!»

Высоко на палке
Дубовый Ярила.

16 июля 1905

53. БАРЫБУ ИЩУТ

Лето знойное прожито миром.
Осень желтая тешится пиром.
Доля женская полнится миром:
На святое сбираются дело.
Буйным ветром пока не раздело,
Белым снегом пока не одело

Золотые леса,
Кличут, к лесу зовут голоса.

Кто звончее поет,
Впереди всех идет,
Запевает, зовет:
«Летом бабам любовь.
Сыну чрево готовь
И целуй и молись!
Коли не тяжела,
Знать, любить не могла,
В стадо девок вернись.
Осень, бабы, идет.
Кто плода не несет,
Со стыда помирай.
Веток, листьев в подол,
Чтобы путь был тяжел,
Поскорей набирай».

И выходят тяжелые бабы:
Эта — первую носит луну,
Три луны проносила вон та.
Ноги девушек тихи и слабы,
Лица носят гордыню одну,
Лица красит одна красота,
Та же песня открыла уста:

«В золотые леса
На твои голоса,
Осень, осень, идем.
В гуще темных лесов,
В груде желтых листов
Мы Барыбу найдем.
Камень божий, валун
Ты нам, лес-рокотун,
Укажи у себя,
Чтобы бабий наш бог
Доносить нам помог,
Малый плод не сгубя».

Бабы в чащу идут
Разбрелись и поют:

«Лес, покажи,
Укажи!»

Устают.
И опять
Подымают себя и бредут
Бога искать.
Солнце взлетит высоко,
Упадет за леса.
А лесами летят голоса
Далеко-далеко:

«Лес, покажи,
Укажи!»

Лес ведет и дрожит,
Сыпет листья, ведет.
А Барыба-то ждет.
Где-нибудь да лежит,
Кого надо, зовет.

Солнце гасит свой лик,
Мчится по лесу крик:

«Я нашла,
Ах, нашла!»

Вот на камне лежит,
Бога целует,
Жертву дарует,
Поет, ворожит:

«Жертву прими,
Плод мой возьми,
Барыба, прости!
Больше нести
Я не могла:
Тебя я нашла».

Красится кровью густая трава,
Красится кро́вями божья глава

Бабы бегут,
Полные чрева Барыбе несут.
Свой хоровод над Барыбой ведут.

1907

54. ВСТРЕЧА ЯРИЛЫ С ПЕРУНОМ

В белой рубахе
Из чащи зеленой
Ярила идет,
Опоенный
Красою и силой,
Волосом русый,
Щеки алее
Морковного сока.
И перед Ярилой
Цветы зацветают,
Веселые птахи
Летают.
Ждут ворожеи,
Стелют убрусы,
Дышит глубоко,
Гудит, зачиная,
Земля яровая.

В алой рубахе
Сводами тучи
Стрелой золоченой
Мчится, несется
Перун
По краям освещенной,
Сияющей кручи.
Воздух рвется,
Бьется бор,
Гнутся ветки.
Ухнул гром,
Грохнул вниз.
Скачет в вихре огневом
По цветам зеленых риз.
Стрелы блещут.

Блещет меткий,
Острый взор.

— Кто ты? Здравствуй!
— Кто ты? Здравствуй!

— Сколько свадеб?
— Сколько битв?

— Тьма убитых.
— Нет любви.

— Там за лесом
Двадцать девок
Расцветало
Краше дня?

— Там за лесом
Двадцать лодок
Улетало
В дым огня.

— Там за лугом
Двадцать воев
Воевало
Для побед?

— Там за лугом
Двадцать мертвых
Упадало
Под рассвет.

— Там за полем
Целый город
Огорожен
Для жилья?

— Там за полем
Черепами
Путь заложен
От житья.

— Там подальше
Бродит племя
Со стадами
За рекой?

— Там подальше
Воет ветер
Над лугами
Горевой.

— Кто ты? Здравствуй!
— Кто ты? Здравствуй!

— Ты куда?
— Вон за те луга поемные.
Ты куда?
— Вон за облаки те темные.

Февраль 1907

55. ПРОВОДЫ

На Перуновом холму
Во дворе и в терему
Собираются на бой.

Прощай, прощай!
Перун, Перун,
Оборони.
Рудой Перун,
Охорони.

Одна, одна,
Я от окна
Не отойду.
Кляни, колдун,
Дави, валун,
Не отойду.

На лютый бой
Перун рудой

Тебя ведет,
Трубой зовет.
И я с тобой
Иду на бой,
Не отгони!

Не взял — осталася,
Поцеловалася,
И терем пуст.
Ушел золóченный,
Неопороченный,
Услада уст.

Порок, позор —
Жена в ладье.
Перунов взор —
Жена в ладье.

Скорее, жрец,
Зажги костер!
Кричит птенец,
Кремень остер.

Перун, пыряй
Снопами стрел!
Еще напор,
И ворог мрет.
Перунов мор
Врагу удел.

Крепким поясом свяжусь.
Он вернется — я дождусь —
На мою, мою постель.
Полог золотом затку,
Меду выварю, медку, —
После боя вою хмель.

Декабрь 1906

56. ПЕРУН

Два врага — Луна и Солнце.
Поле битвы — синий свод.
За горою медлит Солнце.
Лунный ворог Солнце ждет.

Лес еловый зачарован
Лунной силой, колдовством.
Мир могучий замурован
Ворожейным волшебством.

Во плену лежат поляны,
Во плену и птичий крик.
Душу утренней Смугляны
Душит хвоей Лесовик.

Вдруг за лесом, на востоке
Заблестел конец копья,
Заалелся крутобокий
Щит Перунова литья.

Вылит, выкован с отливом,
Ярко вызолочен щит.
В ожиданье молчаливом
Бог Перун за ним стоит.

И Луна, Перуна-бога
Увидавши за горой,
Закричала: «Вихрь Стрибога!
Солнцу яму в тучах рой!»

И на поле боевое
Побледнелая идет.
Пламя рдеет заревое,
Стрелы острые кует.

Вот он, первый крик сраженья,
Первый выстрел рдяных стрел!
Ждет земля освобожденья.
Лесовик оцепенел.

И душа младой Смугляны,
Робких сумерек душа,
Льется в светлые туманы,
Тает, светами дыша.

Солнце, Солнце, лик победный
Выше, выше в синий свод!
Лунный ворог, призрак бледный,
За туманы упадет.

Лунный ворог побежденный
Еле светится внизу.
Бог Перун на мир смущенный
Мечет светлую грозу.

Свод сияет. Засверкала
Там стрела, и там стрела.
В поле синее упала,
В чащу леса залегла.

И, хмелясь победным пиром,
За лучом бросая луч,
Бог Перун владеет миром,
Ясен, грозен и могуч.

Апрель 1907

57. СТРИБОГ

Угнал за волны челны,
За тот за вал девятый,
За тот за вал проклятый.
Валами валит волны,
Волнует кипень солный,
Качает кубок полный
И роет, рвет, как ратай,
Вздымает луг измятый,
Курчавит холм горбатый.

А берег воем стонет.
Разметан женский волос,
Голóсит женский голос:

«Недаром высох колос
И солнце жгло-кололось!
Куда Стрибог их гонит?

Я парус рыжий шила.
Я в лодке дно смолила.
Я рыбака любила.
Я сеть плела.
Я ветки жгла —
Смола текла.
Я плод несла.
Стрибог, Стрибог,
Суровый бог!
Верчу я рог,
Стучу в порог,
Чтоб ты, Стрибог,
Мутить не мог
Морских дорог».

Сорвал Стрибог кору с дубов,
Свернул трубой —
И рог готов.
Трубит на жен, бегут гурьбой
С морских песков в глубокий ров.
За ними свист со всех краев,
За ними вой со всех концов,
Поднятый, бог Стрибог, тобой!

«Хо-хо! Мужей бы надо вам!
Хо-хо! Я вам легко их дам! —
И скачет сам по тем волнам,
Где водный страх припал к челнам. —
Назад, туда плыви, прилив!
Несись на них, разлей залив
И в ров — хо-хо! — с верхов к пескам
Нахлынь, отдай весь ров валам.
Я жен — хо-хо! — отдам мужьям!»

И валом валит волны,
Расплескал кубок полный,
Качает кипень солный
И топит ров прибоем.

Бегут тела и челны,
И всплыли жены с воем.
Несет их море роем.
Хмелен победным зноем,
Стрибог упился боем
И воет: «Упокоим,
На дне любовь сокроем!
Морское дно, покоем
И женам будь и воям!»

Июнь 1907

58. ⟨ИЗ ЦИКЛА «ТАР»⟩

(По мотивам скандинавского эпоса)

Для тебя, мой лазоревый Тар,
Приняла я людскую красу,
Расточила всесилие чар,
Колдовала в священном лесу.

Ты отверг меня, лунную дочь,
Золотую богиню серпа,
И напрасно к тебе в эту ночь
Пролегла небесами тропа.

Я спустилась в жилище жреца,
Я забыла высокую мать,
Я слезами отмыла с лица
Божества роковую печать.

Я носила дрова, собирала траву
Отдавала себя колдуну.
Вот я жрицей бездомной слыву
И встречаю людскую весну.

Приготовлено ложе давно.
Приходи ко мне, ласковый Тар!
Голубою весной зажжено
Девье сердце, пылающий дар.

14 марта 1906

59—63. *ЧЕРТЯКА*

1

НА ПОБЕГУШКАХ

Был я маленьким чертякой,
Надо мной смеялся всякой,
Дергал хвост и ухо вил.
Огневик лизал уста мне,
Земляник душил на камне,
Водяник в реке томил.

Ведьмы хилые ласкали,
Обнимали, целовали,
Угощали беленой.
До уморы, без отдышки,
Щекотали в самой мышке,
Рады одури шальной.

На посылках пожелтелый,
Я, от службы угорелый,
Угомону не знавал.
Сколько ладану, иконок
Из пустых святых сторонок
Для других наворовал.

Никакой не знал услады:
Только бабочки да гады,
Мухой сердцу угоди.
А над белым, белым тельцем
Воздыхающим сидельцем
Приневоленный сиди.

24 мая 1906

2

ПОЛЮБОВНИКИ

У мосточка на крылечке
Два кольца, одно колечко,
А колечку пары нет.

У попа попова дочка,
Попадья — сырая кочка,
А поповна — маков цвет.

Я сманил ее черникой,
Костяникой, голубикой
За лесок на бугорок.
Задурманил по болотам,
Припечалил приворотом
И к любови приволок.

Полюбила, заалелась,
Вся хвосточком обвертелась,
Завалилась на луга.
«Ненаглядный мой, приятный,
Очень маленький, занятный,
Где ты выпачкал рога?»

До утра не расставались,
Ясным небом любовались
На восток и на закат.
Поутру мутится речка,
Настежь хриплое крылечко,
У попа в избе набат.

Я отцу трезвоню в ухо:
«Осрамила потаскуха,
Дочки глупой не жалей!
Прогони жену за двери,
Так блудят шальные звери, —
Ты ведь божий иерей».

Потемнело, замутилось,
Мое сердце насладилось:
К детям ласковы отцы.
Вот уж завтра под осиной
Буду в радости осиной
Целовать ее рубцы.

24 мая 1906

8

МАТЬ

«Душно, тесно под корягой,
Я хмельна болотной влагой,
Отпусти меня домой.
Не снести мне полнолунья,
Птица, серая вещунья,
Накричала пред бедой.

Зажил ротик у ребенка,
Затянулись раны тонко,
Дай его мне унести.
Будет он опять здоровым
Под людским уютным кровом
В ласках матери расти».

Сонно слушает чертяка.
Из полуночного мрака
Кажет месяц полукруг.
«Поживем еще немного,
Как за пазухой у бога,
У меня ты, бедный друг».

Никнет мать в утоме черной,
Лучше быть ему покорной,
Всё равно ведь, всё равно.
Слезы-реченьки усохли,
Стоны по лесу заглохли,
Сердце-уголь сожжено.

«Вот наступит полнолунье,
Понесу дитё колдунье,
Не жива и не мертва.
И от жалости колючей
Подо мной дурман пахучий,
Свянет горькая трава.

Будет там на желтом свете
Пляс и гам, и нож и плети,
Адов рай ни дать ни взять!

Свет родимая сторонка!
Хоть бы дали у ребенка
Утром раны зализать».

25 мая 1906

4

НОВОЛУНИЕ

Скорченный, скрюченный, в мокрой коряге
Ночку за ночкой сижу.
Глазом ревнивым в лесистом овраге
Светлую точку слежу.

Скоро потухнет огонь полуночный,
Лягут хозяева спать.
Буду я в муке-любови заочной
Жесткую травку щипать.

Нету мне радости в мире веселом.
Что мне мое ведовство?
Скрыто ли пологом ночи шелковым
Теми пустой торжество?

Я ли на мельнице воду не двигал,
Я ль не ворочал колес,
Я ли не пел, не плясал и не прыгал,
Службу тяжелую нес?

Знал я: к очам с голубой поволокой
Только огонь поднесу,
Вскинется дух мой высоко-высоко,
К небу чело вознесу.

Мельник, ах, мельник, судил ты иначе:
Отдал ты пахарю дочь.
Горьки мои похоронные плачи,
Тягостна старая ночь.

В липкую мглу протяну мои руки —
Темь и пуста, и мертва.
Канут ли в темное томные муки,
Или судьбина мертва?

Сырость крадется по шерсти измятой.
Хвост онемел, как чужой.
В мокрой коряге над хатой проклятой
Вянет чертяка лесной.

1 июня 1906

5

БОГОМОЛ

За моря, за окияны,
За зеленые буяны
Я плетусь к Адовику
Поклониться, приложиться,
У копытца помолиться,
Утолить печаль-тоску.

Реки синие текучи,
Серы облаки ползучи,
Путевой закручен хвост.
Посошок пылит дорогу,
Трет песок больную ногу,
Путь ложится через мост.

Светит светик дозакатный,
Богомолка в путь обратный
Ношу легкую несет.
«Ты откуда, миловида?
Дай мне крестик от обиды,
Бог тя тамошний спасет».

Тяжелей идти далече,
Мне котомка давит плечи,
Всё текут, ползут края.
Вот уж виден этот камень,
А из камня белый пламень, —
Адовик, страна твоя!

Вся разубрана камора,
Не видать иного взора,
Только взор Адовика.
Подступает поклониться,

Приложиться, помолиться
Тварей верная река.

Вот и я пойду смиренный,
Велелепием смятенный,
Уроню слезу-росу.
Улыбаясь, выну колкий
Крестик доброй богомолки
И тихонько вознесу.

Взвизгнет, дрогнет в лютой корче,
От моей веселой порчи
Завертится Адовик.
Я полынь-печаль тут брошу,
Шерсть курчавую взъерошу
И завою, вскинув лик.

28 мая 1906

64. ПОСОЛ

— Старушка, здравствуй! Где твой сын?
— В лесу блудит.
— А кто к тебе залез за тын?
— Никто. — А кто в гостях сидит?

— Отстань, отстань. Сгинь с глаз моих.
Сидит мой гость.
— А пес цепной чего притих
И чью так жадно гложет кость?

— Типун тебе. На глаз нарост.
Чего присох?
— Грешишь, старушка. Нынче пост.
Скажи, костер кто ночью жег?

— Почем мне знать, почем мне знать?
Когда ж уйдешь?
— Постой-ка, кудри мне погладь,
Слепа теперь, не узнаешь.

— Ах, милый мой! Да кто ж послал,
Ужели сам?
Войди ж в избу, давно б сказал,
Остатки сладки другу дам.

Пробудешь ночь, соснем втроем,
Четвертый — пес.
Назад пойдешь с моим мешком
По первопутку белых рос.

2 сентября 1906

65. ИЗ КАЗЕНКИ

Качай меня, баюкай, хмель,
Бери свое.
Иду во мхи, где высит ель
Густое острие.

Крива тропа, нависнул лес,
Дымится пар.
Навстречу мне зеленый бес,
Уныл, сонлив и стар.

— Ну, как у вас? Ты что? Живой?
— Да вот, живу.
А ты? — А я мастеровой,
Иду туда, ко рву.

— Неладно там. Желты пески,
Ползут с краев.
Сидят, молчат таки-сяки,
Скучней замокших сов.

— А сам-то как? — И сам сова,
Труха трухой.
Гниет во мху, все трын-трава,
Лишь был бы хвост сухой.

— Беда совсем. А нет ли, брат,
Еще вестей?
— Нагнись-ка. Завтра, говорят,
За гатью сходка всех чертей.

20 сентября 1906

66—69. *ЮДО*

1

ГОРЮНЬЯ

На далеких на полянах,
Под вечерними цветами,
С почернелыми устами,
Изнывая в свежих ранах,
Принагнулася Горюнья,
Горя лютого пестунья.

«Кто мне телушко изранил,
Кто мне душу замутил,
Кто утробу задурманил,
Чудо-Юдо зародил?

Там, во мне самой, Горюнье,
Сердце Юдо шевелит,
Алой кровушке-игрунье
Путь плотинами прудит.

Как у этого у Юда
Пребольшая голова,
Юдо в матери покуда,
У Горюньи горя два:

Как и первое мученье —
Разродиться от плода.
А второе замышленье —
Первой горшая беда.

Надо семени отцову,
Зародившему во мне,
Отомстить ему по-нову
На воде или в огне.

Помогите мне, козявы,
Неулыбы, червяки!
Протяните, злые травы,
Ваши руки из реки!

Как вошел он, подступился,
Не узнала до сих пор.
Со стыдом моим случился
Не жених, а серый вор».

На далеких на полянах,
Под вечерними цветами,
С почернелыми устами,
Замышляет, мучась в ранах,
Принагнулася Горюнья,
Горя лютого пестунья.

А на небе пожелтелом
Пышет зраком угорелым,
Оттопыривши губу,
Смотрит на землю, покуда
Сын утробный, Чудо-Юдо,
Мечет мать свою в знобу.

Декабрь 1906

2

СОСУНОК

Бежит зверье, бежал бы бор,
Да крепко врос, закоренел.
А Юдо мчит и мечет взор,
И сыплет крик острее стрел:

«Я есть хочу, я пить хочу!
Где мать моя? Я мать ищу.

Лесам, зверям свищу, кричу,
В лесах, полях скачу, рыщу.

Те клочья там ужели мать?
А грудь ее, цвет ал сосец?
К губам прижать, десной сосать...
Пропал сосун, грудной малец!

Ах, елка-ель, согнись в ветвях,
Склонись ко мне, не ты ль несешь
Молочный сок в суках-сучках,
Не ты ль меня вспоишь-спасешь?

Ты, липа-цвет, своей рукой
Прижми меня к груди своей!
Я пить хочу, весь рот сухой,
Теки млеко́м, сочись скорей!

Береза-мать, напой, укрой!
Ты так бела, как тело — ты,
Исколот рот, измят корой,
И жилы все сухи, пусты».

«Ну на, соси». И клонит ствол.
И сок течет. И Юдо жив.
Сосет и пьет. Вот день ушел.
И сеет ночь по черни нив.

И ночь ушла. Вот день опять,
Листва шуршит и кроет мох.
И ночь и день. Пора отстать.
Уж голый ствол истек, заглох.

Сорвался лес, стремглав бежит,
И взрытый луг глушит бурьян.
А Юдо мчит, в пустырь кричит:
«Я сыт теперь, я сыт и пьян!»

Февраль 1907

8

ВЛАДЫКА

Упился березовым соком,
Уселся на троне высоком
Из желтых костей.

«Ведите сюда, подводите,
Калите железные нити
Огня золотей».

И всяких к ступеням престола
Подводят раздетых догóла,
Со смертью в глазах.

Иного раздуло горою,
Толстел, за конторкою стоя,
В бумажных рублях.

Другой, словно волк отощалый,
Шататься, проситься усталый
По задним дворам.

И тут же продажное тело,
Избитое плеткой умело —
Отрава векам.

Тела за телами мелькают,
Владыка очей не спускает
И машет рукой.

И нижет на прут раскаленный
Палач, наготой распаленный,
Спину за спиной.

Сверкают владычные взоры
На крики измученной своры
Доживших людей.

И плещут железные нити:
«Ведите еще, возводите
На трон из костей!»

1906

4

КУПАЛО́КАЛА

Как высоко, как далёко
Купало́кала живет,
Награжденья раздает.
И куда ни глянет око,
Тени темные идут,
Свитки длинные несут.

Кто убил дитя во чреве,
Получает малый знак.
Семь детей — вот это так.
Кто повесился на древе,
Получает за двоих.
Кто повесил семерых —
Получает полухвостье.
Выжег город — три хвоста,
Ход до Адова моста.
Пропускается в Замостье,
Кто в неделю навалил
Тридцать девичьих могил.

Из веков средневековья,
Из старинных городов
Тени тянутся без слов;
Из-за крепостей Московья,
Разукрашенных домов,
С прибалтийских берегов, —
Награжденья вожделея,
Толпы темные идут,
Счеты смерти подают.
Купало́кала, хмелея,
Лобызает верных слуг:
Получай, любимый друг!

Как высоко, как далёко
Купало́кала живет,
Награжденья раздает.
И куда ни глянет око,
Затемнило небосвод,
Тьма в молчании идет.

Январь 1907

70—72. *КОЛДУНОК*

1

ЖУРАВЛЬ

На поле за горкой, где горка нижает,
Где красные луковки солнце сажает,
Где желтая рожь спорыньей поросла,
Пригнулась, дымится избенка седая,
Зеленые бревна, а крыша рудая,
В червонную землю давненько вросла.

Хихикает, морщится темный комочек,
В окошке убогом колдун-колдуночек,
Бородка по ветру лети, полетай!
«Тю-тю вам, красавицы, девки пустые,
Скончались деньки, посиделки цветные,
Ко мне на лужайку придешь невзначай.

Приступишь тихоней: «Водицы напиться
Пожалуйте, дяденька, сердце стыдится...»
— «Иди, напивайся, проси журавля».
— «Журавль долгоспиный, журавлик высокий,
Нагнися ко мне, окунися в истоки,
Водицы студеной пусти-ка, земля!»

Бадья окунется, журавль колыхнется,
Утробушка-сердце всполохнет, забьется:
Кого-то покажет живая струя!
„Курчавенький, русый, веселый, являйся,
Журавлик, качайся, скорей подымайся,
Вот нá тебе алая лента моя!“»

2

МЕСЯЦ

Заря-огневица горит, полыхает,
За горкою солнце лицо умывает,
Мой след зеленеет на белой росе.
К завалинке старой пригнуся теснее,

Ступить на порог, постучаться не смею,
Царапает шею репейник в косе.

Глаза замутились соленой слезою,
Ах, солнце-орел, не взлетай надо мною:
Постылому сердцу в потемках милей.
Всю ночь белый месяц светил-подымался,
Всю душу измаял, светил-улыбался,
Туманил пустые раздолья полей.

Ведь я не хотела, плясать не умела,
Босыми ногами ступала несмело,
Разок оступилась, упала в траву.
Вина кровяного, ковша кругового
Испить не решилась, вот девичье слово,
И руки сложила, рукав к рукаву.

Ах, старый, заклятый, колдун волосатый,
Чему ты смеялся, хихикал из хаты,
Зачем белый месяц с небес зазывал!
И как же забыла я воду-гадалку?
Как небо свалилось с землею вповалку?
Как месяц высокий меня целовал?

8

СУЖЕНЫЙ

Размыта дождями осенняя нива,
Да солнце пустило коня желтогрива
Озимою пашней стремглав проскакать.
— Тащися, кобылка, вспотеем за плугом!
Как верить невестам, неверным подругам,
Да девичьи речи на сердце держать!

За тыном встречались, в лесок забирались,
Сбирали чернику, клялись, обещались:
Не сменится месяц, как буду твоя.
Пришло полнолунье, ущербу начало,
К чертям на кулички одна убежала...
Размыкай мне горе, кобылка моя!

Октябрь 1906

73—76. *ЛУННЫЙ СТАРИК*

1
ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Поднялся синей кручей
Из синей темноты.
Повесил желтый месяц,
Лучистый желтый серп,
И стаял синей тучей
С искристою каймой —
Волнистой бородой.

— Сверкай, слепящий месяц,
Под пологом шатра
От ночи до утра.
Слепи, лучистый месяц,
Кочующих вон там,
По низменным лугам.

Кто увидит,
Тот не стерпит:
В желтом серпе
Сила есть.

Кто увидит,
Тот придет:
Злая лесть
Приведет.

2
ПОЛНОЛУНИЕ

Белый дворик. Арабески.
Видно вдаль на много миль.
На ковре в слепящем блеске
Онемелая Чиргиль.

Тело розовое млеет.
Тело тонкое — миндаль.

Ах, как сердце холодеет,
Как видна далёко даль!

Отчего так тихо светит,
Отчего зардела грудь?
Кто губам моим ответит,
Кто мне скажет: милой будь?

Никогда я, никогда я
Не любила так луны,
Не знавала, молодая,
Той чудесной стороны.

А теперь под белым светом
Всё алею и горю,
Не противлюся наветам,
Сердце милому дарю.

Кто он, где он, я не знаю,
Но люблю его, люблю.
Издалёка ожидаю,
Не дождусь, не утерплю —

Убегу лучу навстречу,
Ноги быстры, убегу!
Облюбованного встречу,
Подарюся на бегу!

8

УЩЕРБ

Я пришла. Лицо закрыла.
Опустила влажный взор.
У тебя такая сила,
У тебя такой шатер!

Вот он, здесь, мой белый месяц!
Звезды ходят по ковру...
Если твой он, этот месяц,
Дай мне, дай мне, иль умру.

Хочешь, космы расчешу я,
Борода твоя седа,
От ночного поцелуя
Не укроюсь никогда.

Буду верною рабыней,
Только месяц подари,
Только вечно, как и ныне,
С неба месяцем смотри.

Так мила твоя неволя,
Милый месяц, господин!
Велико ночное поле —
На великом ты один.

Я пришла. Лицо закрыла.
Опустила влажный взор.
У тебя такая сила,
Руки ты ко мне простер.

Пусть он кругом полноликим
Смотрит нá землю ко мне,
Взором пристальным и диким
В белом мучает огне.

4

ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ

Брови сдвинулись, согнулись.
В мертвом ужасе глаза.
Руки в небе изогнулись.
Под шатром молчит гроза.

Борода седая веет,
Веет горе, темнота.
Кто вернуть ее сумеет,
Оживит ее уста?

Белый трупик — горшей доли
Не знавалось никогда.
Белый трупик в мертвом поле —
Закатись, моя звезда!

Закатись, скатись навеки,
Сгинь, судьбина, гасни, свет!
Дрогнут горы, станут реки,
Ссохнет древо, свянет цвет.

Был так близок, виден, внятен
Голос крови и любви.
Вот лежит — и трупных пятен
Яд ползет в ее крови.

Эти, эти, эти губы,
Где запекся сизый шрам,
Целовались алы, любы,
Две сестры моим устам!

Горечь пью твою, судьбина,
Кану в жерло черных лав.
Полюбила господина
И погибла, не узнав!

Сентябрь 1906

77—79. *СВЕТОЗОР*

1

СТРЕЛА

Расцветил цветное платье,
Вывел Ворона на двор
Белый латник Светозор.
На пороге два заклятья,
На дороге два заклятья,
На распутье божий знак.
Мчится по лесу в опор.
Повернул лицом к востоку,
Зажигал траву осоку,
Задувал и так, и так.

С небосклона
Голубого
Золотого

Самострела
Золоченая стрела
Сорвалась
И полетела
Выше холмика зелёна,
Ярче желтого орла.

— Ой, стрела ты нестреляна,
Золоченая стрела!
Ты куда летишь, каляна,
Из Перунова угла?

— На стоячее болото,
В стоеросовые пни,
Где куриная охота
На купальские огни.

— Ой, стрела ты золочена,
Не лети, остановись!
В терем змея Самосона
Огневицею помчись.

За решетчатые ставни,
В затаенные верха,
К полоненной Светославне
За полотна и меха.

Пронози ей белу спину,
Становой ее хребет.
Прилучи любовь-кручину,
Золотой навей навет.

Чтобы пламенем Перуна
Стосковалась, изошла,
Твоего, стрела, Перуна,
Золоченая стрела.

С небосклона
Голубого
Золотого
Самострела

Золоченая стрела
Сорвалась
И полетела
В терем змея Самосона,
Сердце девичье прожгла.

2

ИСТОМА

Ах, тебя я, латник, вижу,
Белый латник Светозор,
Наклони ко мне поближе
Ослепительный твой взор.

По утрам ведь ты проходишь
Там, за пологом лесным,
Поле алое наводишь
За узором снеговым.

Днем ведь ты наверх взлетаешь —
Нестерпимый латный блеск —
Плен мой светом озаряешь,
Слышу белых крыльев плеск.

Я не раз сама видала,
Как вечернее крыло
Твоего коня блистало,
Синеву лесную жгло.

Я умру, когда ты тронешь
Ликом девичье лицо,
И всё жду, когда уронишь
Золотое мне кольцо

Обрученье совершится,
Свадьбу вынесу ль, раба?
Пусть в могилушке доснится
Светозарная судьба.

Ах, ты ходишь, вижу, ходишь,
Белый латник Светозор,

За собою денно водишь
Освещенный девий взор.

Если б я в глаза дневные
Заглянуть себе могла,
Светы лика огневые
Увидала б, обмерла.

Если б днем, зажмурив очи,
Ночью б кинулась во тьму —
Стал бы сумрак темной ночи
Светом свету твоему.

Белый латник в небе тесном!
Только б знать, что ты и мой.
Стал бы раем поднебесным
Терем, ставленный тюрьмой.

8

БОЙ

Лето рдяное стояло,
Всё томилась и скучала,
Друга вешнего ждала.
Осень пó саду гуляет,
Красит, дует, убирает,
В сердце рдеется стрела.

Раскалилась, изомлела,
Кровь загустла, поалела,
В грудь и голову стучит.
Зимний холод задувает,
Змеев ветер налетает,
Верный ворон друга мчит.

Самосон кольцом свернулся,
Белым снегом запахнулся,
Дышит холодом зимы.
Светозор пожаром пышет,
Жаром-пылом дует, дышит,
Греет выходы тюрьмы.

Но в сосулях леденеет,
Всё сильнее костенеет
Змей-зимовник Самосон.
И взлетает белый латник,
Светозор, весенний ратник,
На высокий небосклон.

Всю здесь зиму простою я,
Копны стрел в него пущу я,
Острых стрел моих, лучей.
Змей не стерпит, распалится,
С вешним солнцем будет биться, —
Вешни стрелы горячей.

Чешую огни оближут,
Чрево темное пронижут,
Пепел вымоет река,
И, как лебедь, выйдет плавно
Свет весенний, Светославна,
Из затворов теремка.

Январь 1907

80. ЯГА

Как в два ряда́ та хата —
Узоры до земли.
Три сокола, три брата,
Три витязя росли.

Как первый — черноокий,
А щеки-то — заря.
А кудри-лежебоки
Светлее янтаря.

Второй — голубоглазый,
А волосы — ни зги,
Прошивы да алмазы
На платье дороги́.

А третий — желто-рыжий,
Солома и кумач,

Веселый да бесстыжий,
Неряха и лохмач.

И всем троим охота,
Красавицу Ягу
Зазвавши из болота,
Любиться на лугу.

У той Яги, у девы,
Лесные волоса,
Прилуки да запевы,
Змеиная краса.

Никто ее не может,
Кто видел, разлюбить:
Тоска-любовь изгложет,
Кручины не избыть.

Вот первый брат несется
На сивоньком коне,
Яга в болоте вьется:
«Нагнися, друг, ко мне!»

У друга кровь играет,
С коня на мох скорей!
Яга ему ласкает
Колосики кудрей.

И вдруг с травы столкнула
Неведомо куда,
Змеею ускользнула, —
Второму череда.

Вот мчится синеокий,
А волосы как смоль.
«Нагнись ко мне, высокий,
Мне сердце приневоль!»

И нового ласкает,
Пылает кровь-руда,
И вдруг его толкает
Неведомо куда.

Стучит, трясет болото,
Гремит и тонет гать,
И третьему охота
С Ягою поиграть.

Он сам к Яге на кочку
Вали́тся из дупла,
Зовет на небо ночку:
Темна бы да тепла!

Но тьма Ягою-девой
На дно отведена.
«Ах, милы браты, где вы?
Откликнетесь со дна!»

«Твоих братов, любимый,
Совсем не знаю я.
С тобой на мху одни мы,
Смотри: Яга твоя!»

И ласково толкает
Неведомо куда.
Толкает и ласкает:
Пылай же, кровь-руда!

А рыжий как рванется,
Со мхов на кочку скок,
И смотрит: змейка вьется,
Болотный огонек.

1907

81. КРАСНЫЙ ТЕРЕМ

Лес угрюмый. Вечереет.
Ходит ветер лютым зверем.
На пригорке под осиной
Притаился красный терем.

Едет витязь. Ищет доли.
Белый конь ведет, как хочет.
Смотрят ветки, нагибаясь.
Ветер плачет и хохочет.

Красный терем, красный терем.
Конь недвижим. Витязь входит.
«Кто здесь?» Тихо. «Кто тут?»
Вечер тени в лес заводит.

Небо ало. Ветер мчится,
Нагибает, смотрит, ищет.
Ветки бьются. С долгим ржаньем
Белый конь по лесу рыщет.

В красном тереме колдунья
Жарко витязя целует,
Косы пламенем развились.
За окном закат тоскует.

Небо — голубь, филин, ворон...
Лес под шапкой-невидимкой...
Кто задул огни на небе?
Кто промчался белой дымкой?

Красный терем, красный терем.
Кто зажег его кудрями?
Кто с огнем взвился над лесом?
Кто погаснул под огнями?

Январь 1905

82. ОГНЕВКА

Ты не та ль Яга-Огневка —
Ох, Огневка, лихо мне! —
Руки — крылья, зверь — головка,
Вся — в причудливом огне.

Под столетнею сосною
Ты ли хату подожгла,
Где жена моя весною
Плод во чреве понесла?

Ты ли девушку убила,
Цветик в самой-то поре,
Что мне воду приносила
Ключевую на заре?

Ты ли старую старуху,
Домостройницу мою,
Придушила в заметуху
У могилы на краю?

Ты ли внучку-непоседу,
Вдовой ласточку избы,
Завела куда без следу,
В лес по мертвые грибы?

Коли ты, так посмотри же
На пустынника меня,
Подходи, Огневка, ближе —
Не бояться мне огня!

Оберни крылатым змеем,
И сама взлети змеей:
Игры на небе затеем,
Пляску — вихорь змеевой!

Пропадай, людская доля,
Засыхай, мои поля!
У Огневки злой неволя —
Воля новая моя.

1907

83. ФИЛИН

Гложет ветку старый филин,
Долгим веком обессилен.

Морщит клювом, движет веком.
Был он, был он человеком.

В терему-тюрьме родился,
В воду к матери просился.

Убежал в лесную чащу:
Заманил зеленый пращур.

Рыскал, двигал чернолесьем,
Заливался лаем песьим.

Путал леших голосами,
Древениц водил кругами.

С буйным лесом расставался,
В небо темное вздымался.

Серп серебряный повесил,
Звезды числил, мерил, весил.

Бегал посолонь к зениту,
Раздувал огонь разлитый.

Сеял дождик, нежил зерна,
Расстилал ковер узорный.

И накрылся серой кожей,
Чтоб возлечь на птичье ложе.

12 ноября 1905

84. ПАУК

Никнет шатко
Утлый сад.
Воздух давит, как удав,
Пахнет сладко
Сладким соком сонных трав.
Белый гад,
Луновод,
Хороводит небосвод.

Светит пра́зелень вокруг.
Белый круг,
Злой паук
Смотрит, губу закусив,
Светосети распустив.
Паутину ткет и ткет,
Ткет и ткет.

До меня спустилась сеть.
Я в сетях
Паука.
На лице и на руках
Паутинки паука.

Мне теперь не улететь.
Я жалка
Перед оком паука.

Белый гад,
Лунoвод,
Выпьет кровь.
Это — лунная любовь.
И опять,
Бел и тих,
Паутину будет ткать,
Светосети излучать
Для других.

Апрель 1906

85. ЗМЕЮКА

Чешуя моя зеленая,
Весной-красно́й рощеная.
Чешую ту я чешу,
Лесом-лешанькой трушу.
На березке, на дубочке
Не листочки,
А чешуйки.

Голова моя седая,
Под сединкой голубая.
Я кажинную весну
Глажу, прячу седину.
Ни на небе облачка,
Ни седого волоска
У змеюки.

Как на речке на Тетере
Разгуляньице теперя.
Через реку пыльный мост,
Ан не мост — змеюкин хвост.

Я сидела, не хотела,
К петухам домой поспела,
Под тулупом-кожухом,
Руку за руку с цветком.

2 мая 1906

86. ЗНОЙ

Не воздух, а золото,
Жидкое золото
Пролито в мир.
Скован без молота —
Жидкого золота
Не движется мир.

Высокое озеро,
Синее озеро
Молча лежит.
Зелено-косматое,
Спячкой измятое,
В воду глядит.

Белые волосы,
Длинные волосы
Небо прядет.
Небо, без голоса,
Звонкого голоса,
Молча прядет.

Апрель 1905

87. БЕРЕЗА

Я полюбил тебя в янтарный день,
Когда, лазурью светозарной
Рожденная, сочилась лень
Из каждой ветки благодарной.

Белело тело, белое, как хмель
Кипучих волн озерных.
Тянул, смеясь, веселый Лель
Лучи волосьев черных.

И сам Ярила пышно увенчал
Их сеть листвою заостренной,
И, улыбаясь, разметал
В лазури неба цвет зеленый.

14 июня 1906

88. ДРЕВЕНИЦЫ

Древеницы в лесу заплетали
Замурудные мхи-волоса.
Высоко пряди-космы взлетали,
Заметали, мели небеса.

«Поцелуй, зацелуй до утомы! —
Молвил той, что постарше была. —
Залучу в золотые хоромы,
В жемчуга облеку до чела».

«Жемчуга моей милой не стоят. —
И подругу целует в уста. —
Мне парчой она небо покроет,
Изукрасит в цветы и цвета».

«Поцелуй, зацелуй до утомы! —
Молвил той, что моложе была. —
Залучу в золотые хоромы,
В жемчуга облеку до чела».

«Жемчуга моей милой не стоят. —
И подругу целует в уста. —
Мне парчой она землю покроет,
Изукрасит в цветы и цвета».

«Так целуйтесь, милуйтесь на воле! —
Молвил старшей и младшей, двоим. —
Закачусь в многоцветное поле,
Обнимусь с родником ледяным!»

19 июня 1906

89. ЮХАНО

(На финском озере)

Рано-рано из тумана прорезаются леса.
Едет Юхано на лодке, с лодкой движется леса.
Гладь озерная недвижна, берега — как пояса.

Коренастый, низколобый, преисполнен тучных сил,
Едет Юхано на лодке, едет тихо, загрустил:
«Нету милой, нет любимой, никого я не любил».

Зазвенели колокольчики с далеких берегов:
Это Тильда выгоняет на поля своих коров.
Как-то мальчик ее белый этой осенью здоров?

Долетел до лодки хриплый с берегов собачий лай:
Лает Вахти, сторож Айны. Ну-ка, сердце, вспоминай,
Кто там мальчика качает в колыбели, баю-бай?

Всколыхнулась громко рыба в прибережных
тростниках —
Это едет Маэстина, в лодке стоя на ногах.
Едет бросить в воду сети. Тяжело ей на сносях!

Гладь озерная недвижна, берега — как пояса.
Едет Юхано на лодке, с лодкой движется леса.
Нету милой, нет любимой! Где ты, девушка-краса?

9 сентября 1906

90—91. *АЛЫЙ КИТЕЖ*

1

ОЗЕРО

Как синь голубиных очей,
Как око безлунных ночей,
Как сердце кипучих ключей,
Как омуты лунных лучей,
Как ствол негасимых свечей,
Как пламя небесных мечей,
Как смысл голубиных речей, —
Такое глубокое озеро.

Как дали беззвездных полян,
Как дольний вечерний туман,
Как цвет вечереющих ран,
Как на море синий буян,

Как звездного неба курган,
Как туч неразвеянных стан,
Как сам голубой океан, —
Такое широкое озеро.

Май 1907

2

ПОД ОЗЕРОМ

Бирюза, бирюза, зелена, голуба́,
Золотятся березы, тот берег лилов,
Недреманное око, немая мольба,
Теневой глубины голубящий покров.

Ах, нельзя показать, ни сказать-рассказать
Ту страну-сторону, тишину, глубину,
Где опальную светло-хрустальную гладь,
Отразив, затаила в глубинах весну.

Ни сказать-показать. Только вот — промолчать:
. . . .
Так недвижно, неслышно печальная гладь
Затаила в глуби тишину-благодать.

Май 1907

92. МОЛЧАЛЬНИЦА

Ах, уста мои сомкнуты,
Молчаливый монастырь.
Пусть страницы разогнуты,
Не написана псалтырь:

Слово каждое убавит,
Слову ль молвить могота?
Нестерпимое прославит
Счастье только немота.

20 июля 1906

93. СТРАННИК

Молвил дождику закапать,
Завернулась пыль.
Подвязал дорожный лапоть,
Прицепил костыль.

И по этой по дороге
Закатился вдаль,
Окрестив худые ноги,
Схоронив печаль.

Май 1906

94—95. *ДЕВИЧЬИ ПЕСЕНКИ*

1

Высоко мое окошко,
Око теремка;
Завивается дорожка,
Утекла река.
До окна моя березка
Белоснежный
Высит ствол.
Белый, нежный,
Он ушел
В поднебесье
Голубое,
Белый весь.
Выйду ленточку повесить
В зелень веток
Алоцвет.
Иль окно мое завесить
От наветов,
Или нет?

2

Знаю место над рекой:
Вековой
Старый дуб
Сердцу люб.
Подойду,
Постою
И уйду,
Запою.
А под дубом белый крест
Без венка,
И окрест
Водят розовых невест
До венка.
А над дубом белый серп
Старика,
Широка его пасть,
Высока его власть,
На ущерб.
Милый, милый, поспеши:
Заждалась...
Вон звезда оторвалась,
Понеслась
В тиши
За тобой.

25 октября 1905

96. ВЕСНА

(Монастырская)

Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.
Стены выбелены бело:
Мать игуменья велела!
У ворот монастыря
Плачет дочка звонаря:

«Ах ты, поле, моя воля,
Ах, дорога дорога́!
Ах, мосток у чиста поля,
Свечка чиста четверга!

Ах, моя горела ярко,
Погасала у него.
Наклонился, дышит жарко,
Жарче сердца моего.

Я отстала, я осталась
У высокого моста,
Пламя свечек колебалось,
Целовалися в уста.

Где ты, милый, лобызаный,
Где ты, ласковый такой?
Ах, пары весны, туманы,
Ах, мой девичий спокой!»

Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.
Стены выбелены бело.
Мать игуменья велела
У ворот монастыря
Не болтаться зря!

15 апреля 1906

97. ВЕСНА

(Городская)

Вся измучилась, устала,
Мужа мертвого прибрала,
Стала у окна.
Высоко окно подвала,
Грязью стекла закидала
Ранняя весна.

Подышать весной немножко,
Поглядеть на свет в окошко:
Ноги и дома.
И, по лужам разливаясь,
Задыхается, срываясь,
Алая кайма.

Ноют руки молодые,
Виснут слезы горевые,
Темнота от мук.
Торжествует, нагло четок,
Конок стук и стук пролеток,
Деревянный стук.

Апрель 1905

98. ВЕСНА

(Деревенская)

Выступала по рыжим проталинам,
Растопляла снеги голубы,
Подошла к обнищалым завалинам,
Постучала в окошко избы:

«Выйди, девка, веселая, красная!
Затяни золотую косу,
Завопи: „Ой, весна, ой, прекрасная,
Наведи на лицо мне красу!“».

И выходит немытая, тощая:
«Ох, Белянка, Белянка, прощай!
Осерчала ты, мать Пирогощая,
Богородица-мать, не серчай!

Лупоглазую телку последнюю —
Помогай нам Никола! — продам.
За лесок, на деревню соседнюю
Поведу по весенним следам!»

28 февраля 1906

99. ВЕСНЯНКА

Жутко мне от вешней радости,
От воздушной этой сладости,
И от звона, и от грома
Ледолома
На реке
Сердце бьется налегке.

Солнце вешнее улыбчиво,
Сердце девичье узывчиво.
Эта сладкая истома
Незнакома
И страшна, —
Пала нá сердце весна!

Верба, ягода пушистая,
Верба, ласковая, чистая!
Я бы милого вспугнула,
Хлестанула,
Обожгла,
В лес кружиться увела!

Я бы, встретивши кудрявого,
Из-за облака дырявого
Вихрем волосы раздула
И шепнула:
«Милый, на!
Чем тебе я не весна?»

1907

100. ⟨ИЗ ЦИКЛА «ОСЕННИЦА»⟩

Ах, калина побурела,
Ржавой кровью запеклась.
Ворожить я не умела —
Вьюн-любовь не унялась.

Мил сердечный светик-цветик
Лето целое ласкал.

Вот на тех полях, на этих
Ручка за руку гулял.

Вот под этой под березкой
Повидалася я с ним.
Слезка желтая за слезкой
Каплет дождиком густым.

Там под кленом под зеленым
Подарилася ему.
Алым стал он, опаленным
И в тумане, что в дыму.

Ты ли, осень, разлучила,
Ты ль, разлука, отвела
От зазнобы друга мила,
Сердце девичье сожгла?

Август 1906

101—109. *ТЕРЕМОК*

1

Приходи в теремок на заре
Зажигать зоревые уста.
Я подвинусь на теплом одре,
Колыбелька не будет пуста.

Вихри-кудри сама расчешу —
Золотистее ржи, мягче льна.
Чую сердцем: под сердцем ношу,
И полна, и хмельна, всё хмельна.

10 апреля 1906

2

За окном поутру загорят купола,
И в лазурную тишь окунутся кресты,
На окне слюдяная засветится мгла,
На полу зацветут голубые цветы.

Из-за полога выглянешь. Русой косой
Огневого на ткани коснешься пятна.
И подымешь ресницы. И взор голубой
Зацветет голубей голубого окна.

Октябрь 1906

3

По розовому полю
Зеленые цветы.
Не хочешь — приневолю
Неволей красоты.

Всю зиму вышивала
Цветные рукава —
Такая расцветала
Весною мурава —

Чтоб розовые руки
Красивей протянуть,
К тебе, моей прилуке,
По-вешнему прильнуть.

1907

4

Еще поля лежат в туманах,
И на холмах ночная тень
Блуждает в призрачных обманах,
Пугая подошедший день.

Но всё ясней и несомненней
Бледнеет тающий восток.
Дыханьем прелести весенней
Рассвет исполнен, светлоок.

Ступила с шаткого крылечка.
Прощай, любимый, до утра!
Смотри: уж засветлела речка,
Мне в терем девичий пора.

Ступила жаркою ногою.
Как холодна заря-роса!
Змеей завита нетугою,
Снопом рассыпалась коса.

А в небесах коса другая
Снопом рассыпалась другим:
Заря, седую ночь пугая,
Цветет рассветом огневым.

1907

5

Я приду к тебе сегодня
В тихий терем.
Сказкам старым, самым старым
Мы поверим.
Ты — невеста в злой неволе,
Я — твой милый.
Усыплю я песней змея,
Сном могилы.
Молви: правда, губы алы,
Губы — зори?
Молви: правда, очи сини,
Очи — море?
Посмотри: ведь ты — царевна,
Я — спаситель.
Злого змея — молви: «Правда!» —
Победитель!

1907

6

Истомленный, обнищалый,
Я опять к тебе пришел,

Где я прежний, ярко-алый,
Небо знающий орел?

Я пришел — зачем не знаю —
Бедный, сирый и нагой.

О, мои полеты к раю,
В терем солнца золотой!

Все истомы, все паденья
Возлелеял и принес.

Где вы, зори откровенья,
Блески утренние рос?

Потемнелый, потускнелый,
Видишь мой погасший лик.

О, мой солнечный, мой смелый
На рассвете первый крик!

Август 1904

7

Ты устала? Я ласкаю.
Воет вьюга? Я с тобой.
Гаснут искры, улетая,
Блекнет пепел золотой.

Хочешь сказку? Жил на свете
Белый ангел. Где? — Забыл!
Помнят звезды. Знают дети.
Он всегда печален был.

Уж слезинка? Ну, не надо!
Много сказок для тебя:
Вышла козочка из сада...
Что? Обидел? Я — любя.

Воет вьюга. Потемнело.
Лето, лето! Светлый юг...
Ходит дрема и несмело
Замыкает сонный круг.

Декабрь 1904

8

Белой вьюгой запушило,
Тесный терем замело.
Сердце зимнее застыло,
Алой кровью затекло.

Солнце, витязь златолатый,
Ходит небом голубым.
Загляни ко мне, богатый
Блеском бело-огневым!

За тобою днем слежу я —
Всё окошко в серебре,
Темной ночью ворожу я, —
Загоришься ль на заре?

Ты одна моя отрада,
Солнце, витязь золотой!
Ах, когда ж весна-услада
Плен растопит снеговой!

1906

9

Зима твой терем миновала,
И солнце смехом золотым
В окошке белом заиграло,
Дробясь по иглам ледяным.

И топит, капая слезами,
Налеты позабытых вьюг.
И ты с блестящими глазами
Ко мне выходишь, вешний друг.

«Весна настанет?» — Да, настанет.
«Ты чуешь?» — Чую. — «Знаешь?» — Да.
Весна заманит, и обманет,
И унесет-завьет... Куда?

1904

110—111. *РАЗЛУКА*

1

Ветер, в стекла не звени:
Нежен мир умерших нег.
Быстрый ветер, не гони
Желтых листьев вялый бег.

Клонит душу поздний цвет.
Мил очам увялый лист.
Будет снова? Будет, нет —
Прежний свет еще лучист.

— Дальше, дальше! Вянет день.
— Ну хоть миг! Вот так. Блесни.
Брось в пустое поле тень
И тони в своей тени.

19 сентября 1906

2

Стены серы, даль в тумане.
Речка реет под окном.
Приходи к реке заране,
Я махну тебе платком.

В свете алой вечерницы,
Из печальной высоты
Я увижу из темницы,
Как заломишь руки ты.

Мать любимая, родная,
Я с тобой издалека!
Хочешь: сына огневая
До тебя домчит река?

8 октября 1906

112—119. *ЗАКОЛДОВАННАЯ ЛЮБОВЬ*

1

Только раз мне обернешься,
Только раз мне скажешь: «Милый»,
И подумаешь: «Люблю», —
Сердце вспыхнет и взовьется
В сине небо алокрылой
Жаром-птицею Люблю.

Только уст моих коснешься,
Только голос легкокрылый
Тихо вымолвит: «Люблю», —
Сердце станет и несется
В недра темные могилы
Углем-птицею Люблю.

2

Помнишь, вьюга налетала,
Помнишь, стужа леденила,
Рукавом ты запахнулась,
Темным сердцем замирала,
Мысли милые таила,
Смутным смехом улыбнулась.

Лунный иней, белый иней,
Сединою лес повитый,
Сонных веток колыханье...
Я под лаской ткани синей,
Рукавом твоим закрытый,
Целовал твое дыханье.

3

Заледенелая и снежно-белая —
И всё же серые глаза,
И всё же тонкая рука.
Такая тихая и вся несмелая —

Оцепенелая гроза,
Закаменелая река.

Что под глубинами и под сединами:
Заполоненная весна?
Зеленотопкая тайга?
И под сияющими льдинами
Душа ли белая ясна?
И сердце ль вковано в снега?

4

Замети меня метелями,
Белой вьюгой закрути,
Вьюжной песней утоми,
Чтоб за елями, под елями
В белоснежный сон уйти —
Только сон не отыми.

Всё взяла, на ветер кинула:
На, пляши, гуди, мети,
Замети, убей, уйми!
Косы белые раскинула,
Пляшешь, душишь — отпусти!
Руки-вихри разойми!

5

Такая милая, такая милая,
Как первый лучик вешних дней,
Как детский глаз, видавший рай.
В снегу забытая, во льду застылая,
Чуть слышен звук: «Огней, огней,
Хочу играть!» — «Так на, играй!

Вот видишь: красненький, зеленый, аленький,
И все горят, дрожат, живут».
— «А где же солнце? Дай его!»
— «И солнце дам, и месяц маленький:
Они мои. Неволи ждут.
Вон смотрят с неба своего».

6

Чтобы больше, больше, больше
Падал, падал белый снег,
Лился, вился снежный сон;
Чтоб слышнее, глубже, дольше
Задыхался тихий бег,
Колыхался белый звон.

Чтоб под этой сетью снежной,
Опускаемой с небес,
Долетевшей до земли,
Белизною безмятежной
Заволакивался лес,
Горы белые росли.

7

Прощай, прости, как я прощаю.
Весна зовет меня в поля,
Где тают рыхлые снега,
Одной сырой земле вещаю:
«Я твой, я твой, и ты моя,
Прольюсь дождем в твои луга».

Прощай. Зачем ты не с землею,
Зачем не слышишь звона льдин,
Не дышишь смолью чернозема?
И я в веселье ледолома
Такой весной зачем один,
А не с тобой, а не с тобою!

8

Так и останется, так и останется
В глухую топь сырой земли
Тобой зарытое Люблю.
И всё останется. Опять обманется
Весенним запахом земли
Другое, вешнее Люблю.

Несется водами и веет воздухом,
Смуглеет кров сырой земли
И дышит силою Люблю.
И воздыхает тяжким воздыхом
Под гнетом тающей земли
Тобой зарытое Люблю.

Февраль 1907

ТЕМЬ

120—127. *УЛИЦА*

1

Любуются богатые
Пустыми красота́ми,
Блуждая взором любящим
По заревам затрат.

А нищие подслеповатые
С разъеденными ртами
Шевелятся под рубищем
У мраморных палат.

Декабрь 1906

2

Белокаменны палаты,
Стопудовая краса.
Мчатся сани-самокаты,
Не жалей коню овса!

Почерневшая избенка,
В лёжку праздники идут.
Пухнут десны у ребенка.
Что же хлеба не везут?

1906

8

НА СМОЛЕНСКОЕ

В дупле трясучей конки
Старушки, старички,
Старинные иконки,
Вчерашние сморчки.

Задумались, мечтают
О сказках прожитых.
Любовно вспоминают
Покойников родных.

Краснеют густо щечки,
Беззубый рот дрожит.
На голые височки
Седая прядь бежит.

«Давно ли, ах, давно ли —
Забыть я не могу —
Дарил роза́ны Оле
На бархатном лугу».

«Совсем, совсем недавно —
Ах, время-лицемер! —
Вручала Жану славный
Из липы табакер.

И вот уж на гробницу
Бессмертники везу,
Взирая на столицу
Сквозь стекла и слезу».

Ползет уныло конка,
Скрипит дверной крючок.
Храпит у двери звонко
Ослабший старичок.

18 мая 1906

4

Вспоминаю: весна начинается,
На постели болезная мать.
Сердце бьется, душа порывается
За ворота пойти постоять.

Каждый день он проходит, торопится,
Надвигает на лоб козырек.
Ах, когда ж на меня оборотится,
Пригласит провести вечерок?

Дождалася денечка туманного:
На кладби́ще гуляем вдвоем.
Как смешно завились у желанного
Рыжеватые кудри кругом!

Вспоминаю: дожди проливаются,
Не дожди, мои слезы текут.
Под воротами стены качаются,
Мои ноги дверей не найдут.

Всё равно теперь, кто ни попросится,
Всё равно, кто теперь ни возьмет.
Далеко мое сердце уносится,
Когда горе любовь продает.

Каждый вечер под ласками новыми
Опуская глаза, я молчу
И мечтами горючими, вдовыми
На кладби́ще пустое лечу.

9 ноября 1906

5

Обезумела в уличном грохоте,
Винным паром себя отуманила,
У забора, качаяся в хохоте,
Зазывала, сулила, дурманила:

«Полюби меня, миленький, маленький!
Я крупичата баба, раздольная.
Полюбился ты, цветик мне аленький,
Будет жисть тебе нынче привольная.

Беднота одолела подвальная!
Нешто б путалась в праздник, беспутая?
Эх ты, радость моя беспечальная!
Прибегай, душегреей окутаю».

Сентябрь 1906

6

Ты пришла с лицом веселым,
Розы — щеки, бровь — стрела.
И под небом-нёбом голым
В пасти улицы пошла.

Продалась, кому хотела.
И вернулась. На щеках
Пудра пятнами белела,
Волос липнул на висках.

И опять под желтым взором
В тень угла отведена,
Торопливым договором
Целовать осуждена.

Сонно логовище стынет.
Не моя ли череда?
Пастью улица не двинет,
Спала цепкая узда.

В отдаленье тротуаров,
Наволакивая свет,
Без шагов и без ударов
Придвигается рассвет.

Ты склонилась из тумана.
Холодеет на руке
Капля, стершая румяна
На обугленной щеке.

Алы розы одеяла.
Кожа тонкая бела.
Ты меня вчера искала,
Поутру меня нашла.

16 мая 1906

7

Темной ночью по улице шумной
Пробегала с надеждой безумной

Увидать в очертаниях встречных
Отражение обликов вечных.

И желанье в зрачках обнажала.
И искала, искала, искала.

Возвращалась по лестнице черной
И звонила с отвагой притворной.

Но за дверью звонок оборвался
И упал, и звенел, извинялся.

Отворила старуха, шатаясь,
Мертвецом в зеркалах отражаясь.

И ударила руганью четкой,
Замахнулась костлявою плеткой.

И по комнатам шаркала глухо
И огнем колыхала старуха.

И смотрела на нежное тело,
И бурчала: «Поймать не умела!»

А на улицах стало темнее,
У прохожих на сердце смутнее.

Зарождались желанья и вяли.
Огоньки в фонарях потухали.

18 ноября 1905

8

Я помню близкое навеки
Твое вечернее лицо,
И полуспущенные веки,
И брови нежное кольцо.

И в каждом взоре незнакомом
Ищу утраченный огонь
И лег мой путь кривым изломом
По вехам чающих погонь.

И, настигая, счастлив снова:
О, не блеснет ли старый взгляд!
Но безнадежно и сурово
Бичи прошедшего казнят.

В зиянье пьяного убранства,
Кивая веками, встает
Лицо, опухшее от пьянства,
И всё еще несытый рот.

5 мая 1906

128—129. *ОКНА*

1

Слепая мать глядит в окно,
Весне морщинками смеется.
Но сердце, горю отдано,
Больней на солнце бьется.

Не надо света и красы!
Не надо вешней благодати!
Считает мертвые часы
Мой сын в далеком каземате.

1906

2

Где-то улицей далекой
Ты проходишь. Суета.
И с толпою многоокой
Вся душа твоя слита.

А в высотах, над домами,
У открытого окна
Я с мечтами и слезами,
И любовью — всё одна.

1909

130—136. *Работа*

1

На каторгу

Земля еще под пологом
Предутренних теней.
А окна фабрик светятся
В морозной темноте.

Зачахли сиротливые
И звезды и созвездия
Над трубами, дымящими
В глазницы высоте.
И льются, льются нищие.
Закутаны лохмотьями,
Ругаясь на ходу.

И пасть глотает черная
Чешуйчатый поток,
Ползучую змею.

Уж пять часов привычных,
Скрипя, часы фабричные
Ударили, крича.
Пять яростных ударов
Кричащего бича.

Пять ран в пустое сердце
Прилипшего к одру
Глушительного сна.

Пять тысяч острых ран
В густую чешую
Сползающей змеи
С нагретого одра.

Уж скоро солнце зимнее
Над каменной стеной
Покажет, озираясь,
Морозное лицо,
Омытое в крови.

И в грохоте и рокоте
Завертятся, закружатся
Колеса и ремни,
Глумясь и издеваясь
Над жизнью каторжан.

Январь 1907

2

ЛОМОВОЙ

В пыльном дыме скрип:
Тянется обоз.
Ломовой охрип:
Горла не довез.

Шкаф, диван, комод
Под орех и дуб.
Каплет тяжкий пот
С почернелых губ.

Как бы не сломать
Ножки у стола!..
Что ж ты, водка-мать,
Сердца не прожгла?

Май 1906

8

ПРАЧКА

Высоко-высоко над землей
Чердаки на домах, чердаки.
Серый мрак, свист и вой, свист и вой,
Ветровой старой песни клоки.
Не запеть в чердаках по-людски:
Только песню начнешь —
С первых слов
            Оборвет,
            Унесет
В небеленую глотку окна.
Перекрикнуть-то грудь не вольна —
            И замрет,
            Упадет
В спорыньевую рожь
Человечьих голов,
На панель из окна.

Балок, труб, и столбов, и подпор
Разукрасила плесень стену.
Воронья, голубей разговор.
Подойти — не подходишь к окну.
Полюбила голубку одну:
Голубок сизокрыл
На морозе застыл
            И упал,
            Застучал
По фасаду замерзлым крылом —
Подоконники выставил дом;
            Ветер гнал,
            Нападал
И над птицей завыл
Между улиц-могил,
Над крестом-фонарем.

Протянулись к столбу от столба,
Закрестились веревки в кресты.
Стебанет — задрожишь. Эх, судьба!
Деревенские вспомнишь кусты,
Заозерские видишь мосты:

Только месяц взойдет,
Шибче речки бежишь
        На мосток
        Невысок.
Под овчинкой, обнявшись, сидеть,
Милу другу глазами блестеть...
        Ах, цветок,
        Милоок!
За кусток целовать уведет,
Под высокой травою дрожишь,
Век бы в синее небо глядеть!

Ну-ка, вешай, да делу аминь.
Понамыто белья без конца,
Полотенец, рубах и простынь
Из двадцатой квартиры жильца,
Не видала бы я наглеца!
Обнадежил красавчик седой,
Лысый бес, генерал,
        Обещал,
        Насказал:
В «Эрмитаже»-то буду я жить,
Ни о чем-то не знать, не тужить.
        Погулял
        И прогнал:
Чтоб те смаяло душу бедой!
Чтоб ты пропадом, старый, пропал!
Чтоб до смерти тебе не дожить!

Январь 1907

4

СЫН

Мама окна завесила.
У нее будет весело,
    Но не пустят меня.

Будет свет, а потом —
Будет смех, а потом
    Замолчат без огня.

Угадаю иль нет?
Кто сегодня? Брюнет?
      А вчера рыжий был.

А на днях был старик,
Здесь повесил парик —
      И забыл!

Мама, верно, больна,
Всё скучает одна
      И молчит.

Подзовет, обоймет,
Волоса мне завьет
      И глядит.

Ноябрь 1905

5

ЧЕРВОНЕЦ

«За тебя, моя дочь, убиваюсь,
Я без слез на тебя не гляжу!»

«Мама, мама, я всё же венчаюсь,
По судьбе за него выхожу»

И глумилась, и горько смеялась:
«Он ведь старше тебя, он урод!»

Холодела рука, изгибалась,
И сжимался испуганный рот.

Покупала дешевого фаю
Подвенечное платьице шить.

«Я ведь знаю, давно уже знаю:
Не любить еще нам, не любить».

Поднимала икону, стояла,
Над невестой творила кресты.

Обрученная низко лежала,
Восковые дрожали цветы.

Повенчала и с мужем богатым
Отпустила на первую ночь.

И потом, пригибаясь к заплатам,
Вспоминала богатую дочь.

Приходила и скромно садилась:
«Помоги мне на черные дни».

И у дочки улыбка змеилась:
«Пока можешь, червонец, звени!»

Ноябрь 1905

6

БРАСЛЕТ

Подглядывал, высматривал и щурился глазком:
«Позвольте познакомиться, я, кажется, знаком.

Как под руку с молоденькой приятно погулять!
Теперь столоначальника желал бы повстречать.

Квартира холостяцкая, живу невдалеке,
Не будет ли браслеточка вам эта по руке?»

Лоснится, светит лысина из кучи одеял.
В углу стена закапана. лампадку доливал.

«Побудь еще, цыпленочек, быть может, зацвету.
Ты видишь, я как яблоко, в соку и во цвету».

«Ах, ноют, ноют ноженьки, вон видишь синий след.
На память что подарите, ужель один браслет?»

Октябрь 1906

7

ХОЗЯЙКА

Хозяйка убивается,
Устала от хлопот.
Покоя добивается,
Поклоны земно бьет.

«Пошли, господь, хорошую,
Красивую собой,
Тяжелою я ношею
Придавлена тобой.

Двух девушек гуляющих
Держала для гостей,
Хозяйству помогающих,
Питающих детей.

Давала стол и горницу
За семьдесят рублей.
Спаси, господь, затворницу,
Нет жизни нашей злей.

Ты знаешь сам, таскаются
Пьянешеньки-пьяны.
Стучат, поют, ругаются,
Как в пасти сатаны.

Квартира никудышная
И с кухней проходной.
Тяжка мне воля вышняя —
Век маяться одной!

Которая веселая,
Та до сих пор живет.
Другая — рыба хволая,
Приманит и заснет.

Не выдержала, бедная,
Ах, тьфу ты, боже, тьфу!
Напала болесть вредная —
Повесилась в шкафу.

Теперь забота новая —
Какую подберу?
За стол и всё готовое
Полсотенки беру.

Пошли, господь, хорошую,
Красивую собой.
Тяжелою я ношею
Придавлена тобой.

Твоею волей двинуты
И горы и моря.
Тут детски рты разинуты,
Не дай погибнуть зря!»

И молит, добивается,
Поклоны земно бьет.
Хозяйкой называется,
Сама весь дом ведет.

Январь 1907

137. ⟨ИЗ ЦИКЛА «ДАЧА»⟩ ШАРМАНКА

И опять визги, лязги шарманки, шарманки,
Свистящей, хрипящей, как ветер, во мне, —
Размалеванной жизни пустые приманки,
Коса из мочалки на лысой луне.

«Маргарита», венгерка и вальс «Ожиданье»,
И вальс «Ожиданье», тоска и тоска.
Той мещанки над жизнью пустой тискованье,
Чья радость и дело — вязанье носка.

Вот по этому парку, цветов не срывая,
Гулял, поджидал — по траве не ходить!
Золотиста коса, за цветы задевая,
Гимназиста с ума приходила сводить.

Там из досок под соснами пол настилали,
Танцевали венгерку, вертелась рука́.
Целовались, клялись и подруг ревновали, —
Шарманка, шарманка, тоска и тоска!

Не хочу. Надоело. Без маски глядится
В лицо мне седая мещанская жисть.
Эй, кому травяная коса пригодится,
Дешевая краска, удалая кисть?

Январь 1907

138—144. *СЕРДЦЕ*

1
ПОЭТ

Изныла грудь. Измаял душу.
Всё отдал, продал, подарил.
Построил дом и сам же рушу.
Всесильный — вот — поник без сил.

Глаза потухли. Глухо. Тихо.
И мир — пустая скорлупа.
А там, внизу, стооко лихо,
Вопит и плещет зверь-толпа.

«Ты наш, ты наш! Ты вскормлен нами.
Ты поднят нами из низин.
Ты вспоен нашими страстями,
Ты там не смеешь быть один!»

Как рокот дальнего прибоя,
Я слышу крики, плески рук.
И одиночество глухое
Вползает в сердце, сер паук.

Да. Я был ваш. И к вам лишь рвался,
Когда, ярясь от вешних сил,

В избытке жизни задыхался,
Метался, сеял и дарил.

Когда же в темную утробу
Вся сила, сгинув, утекла,
И жизнь моя к сырому гробу
На шаг поближе подошла, —

Я увидал глаза и пасти,
Мою пожравшие судьбу,
И те же алчущие страсти,
И ту же страстную алчбу.

И возмущенный отшатнулся,
И устрашенный отошел.
Владыкой в омут окунулся,
Назад вернулся нищ и гол.

О, вам отныне только песни!
Я жизнь для жизни сберегу.
Я обману вас тем чудесней,
Чем упоительней солгу.

Поэт, лукавствуй и коварствуй!
И лжи и правды властелин,
Когда ты царь — иди и царствуй,
Когда ты нищий — будь один.

Март 1907

2

УРОДЫ

Я шел по улицам, и город громкий
Вокруг выбрасывал прохожих без числа,
Несущих шляпы, палки и котомки,
Невольников безделья или ремесла.

Я был уродлив, мелок и недужен,
Я чьим-то вымыслом был вымышлен дурным,
Но этой жизни городской не меньше нужен,
Чем труб фабричных серый дым.

Был полдень на исходе. Солнце сонно
Слепило окна, зданий пестрые глаза.
Я думал: жизнь чарует неуклонно
И здесь, где конки, лавки и воза.

Как бы в ответ на эти мысли
Из-за угла старуха выставила горб.
Черты — нет, не лица, а кладбища — отвисли,
Но даже их скрывал двойной остроугольный
горб.

«На праздник жизни жизнь сама же
Свое уродство кажет мне, глумясь!» —
Подумал я и дальше шел, отважен,
В глаза впивая уличную вязь.

И тотчас же привлек мое вниманье
Старик солдат, заснувший у окна,
Где бегали, теснясь, обложки и названья
На полках, подставлявших рамена.

Он спал. Но глаз один не мог закрыться,
И над белком вверху темнел зрачок.
И в нем не перестала улица кружиться,
И мимо город так же сыпался и тек.

«Война! Несовершенство яркой жизни! —
Ответил мысленно я встрече старика. —
Но сколько блага принесет своей отчизне
Детей, рожденных нами, быстрая река!»

И детское я увидал существованье.
Но лучше б не видать такого бытия!
Рахитиком предстало мне страданье,
В огромном черепе бессмысленность тая.

Как? Ты опять противоречишь встречей
Моим надеждам, мыслям и мечтам?
Так нá, смотри: я сам иду предтечей
Желанных дней, смотри — я сам!

Я сам, уродливый, убогий и недужный,
Всю силу красоты в себе несу!
На эти вымыслы твоей тоски ненужной
Грядущего я возношу красу!

Июнь 1906

3

ГОРОДСКИЕ ДЕТИ

Городские дети, чахлые цветы,
Я люблю вас сладким домыслом мечты.

Если б этот лобик распрямил виски!
Если б в этих глазках не было тоски!

Если б эти тельца не были худы,
Сколько б в них кипело радостной вражды!

Если б эти ноги не были кривы!
Если б этим детям под ноги травы!

Городские дети, чахлые цветы!
Всё же в вас таится семя красоты.

В грохоте железа, в грохоте камней
Вы — одна надежда, вы всего ясней!

1907

4

ЛЮДСКИЕ ЛИЦА

О лица, зрелища трущобных катастроф,
Глухие карты тягостных путей!
Невольный голос ваш печален и суров,
Нет повести страшнее ваших повестей.

Как рассказать, что рассказал мне тот старик,
Поднявший до виска единственную бровь?
Когда-то в страхе крикнул он — и замер крик,
И ра́вны пред его зрачком убийство и любовь.

Взгляни на ту, закутанную в желтый мех,
Подкрасившую на лице глубокий шрам.
Она смеется. Слышишь яркий, женский смех?
Теперь скажи: ты отчего не засмеялся сам?

Вот перешла дорогу женщина в платке.
И просит денег. Дай. Но не смотри в глаза.
Не то на всяком, всяком медном пятаке
В углах чеканки будет рдеть блестящая слеза.

И даже в светлый дом придя к своим друзьям,
Нельзя смотреть на лица чистые детей:
Увидишь жизнь отцов по губкам, глазкам и бровям —
На белом мраморе следы пороков и страстей.

Но и старик, и женщина, и детский лик
Переносимы, как рассказ о житии чужих.
Но что за ужас собственный двойник
В правдивом зеркале! Свой взгляд в глазах своих!

⟨*1907*⟩

5

ЛЕСТНИЦА

Ты помнишь эту лестницу под крышею ворот,
Ступени черной лестницы и грязное окно,
Ночное ожидание: придет ли, не придет?
Глухие наши радости, ушедшие давно?

Любимая, затерянная в мчащихся годах!
Ты хочешь, всё прошедшее вернется к нам теперь?
Вот полночь хрипло пробило на кухонных часах,
Вот гулким бóлтом брякнула внизу входная дверь.

За день-деньской измученный, ослабший и больной,
По этой темной лестнице тяну за шагом шаг.
Зимой, дождливой осенью иль белою весной,
Всё тот же изувеченный, душою зол и наг.

Не ты ль бродягу жалкого впускала и звала,
Звала любимым чахлого, дарила поцелуй,

Не ты ли губы серые ласкать-лобзать могла,
Шептала горемычному: «Любимый, не тоскуй»

Я помню милой комнаты убогонький уют.
Да, теплой, тихой комнаты. И ласку грубых рук.
И всё, чем жизни бедные влачатся и живут,
И всё, чем только терпится судьба, сосун-паук.

Мои седые волосы! Блуждающий мой взгляд!
И там в глуши Смоленского нагнувшийся твой
крест!
О, как же люди ждут еще, идут и говорят,
О, как же еще движется такая жизнь окрест?

Март 1906

6

ГОСТЬ

Ах ты, Ванечка-солдатик,
Размалиновый ты мой!
Вспоминается мне братик
Перед бунтом и тюрьмой.

Вот такой же был курносый
Сероглазый миловид,
Только глаз один раскосый
Да кругом лица обрит.

Вместе знамя подшивали,
Буквы клеили на нем.
Знали: сбудем все печали,
Только площадь перейдем.

Белошвейня мне постыла,
Переплетная — ему.
Сердце волею заныло,
Ну-ка, душу подыму!

Только почту миновали
И к собору подошли,
Серой тучей наскакали
Словно встали из земли.

Жгли, давили, не жалели,
Вот такие же, как ты...
Прочь, солдат, с моей постели!
Память горше бедноты!

Вот такие же хлестали
Беззащитную гурьбу.
Что глаза мои видали,
Не забуду и в гробу.

Уходи, солдат проклятый!
Вон он, братик, за тобой
Смотрит, чахлый, бледноватый,
Из постели гробовой.

Январь 1907

7

НА МАССОВКУ

Леса вековые сосновые,
Луга зеленее зеленого
И неба, лазурью вспоенного,
Края, засмеяться готовые,
Нежно-лиловые.

Стволы, побуревшие в летах,
Гордые ржавыми латами,
И между стволами лохматыми,
В дальних просветах,
Вразброд
Рабочий народ.

Шапки надвинуты, вскинуты
Лица вспотевшие.
Все одной радостью двинуты.
Все восхотевшие
Счастья свободного.
Мира негодного
Путы истлевшие
Будто бы скинуты.

Пестрыми массами
Движутся, движутся,
Густо на просеки нижутся.
В городе дымном
Станками, машинами, кассами
Дух искалечен.
В труде заунывном
Голод всегда обеспечен.

Рокот, и грохот, и вой
Фабрики, по́том и кровью живой —
Там, за спиною.
Сердце зарделось
Весною.
В леса захотелось,
На волю —
Услышать про новую долю.

Гулко текут по оврагу
Морем шумливым,
Скованы дружным порывом,
Снова и снова
Пьют заповедную брагу
Воздуха, воли, лучей.
Слова, кипящего слова,
Смелых речей!
Смолкло. Над желтым обрывом
Оратор...

Июнь 1906

ДИКАЯ ВОЛЯ

145

Мать родимая, тебе я эту книгу отдаю,
Потому что разумею душу вольную твою;
Потому что знал и знаю, как томилась в жизни ты,
Как стихия, мне родная, всё рвалась из тесноты;
Здесь поведать захотел я дикой воли голоса,
Что в плену уразумел я, что напела мне краса;
Здесь любовь я исповедал к вечной женской глубине,
Обернулся зорким оком к близкой сердцу старине;
Здесь я снова стал ребенком, нежным, тихим и твоим,
И опять в напеве звонком явлен бог с лицом благим.
Дар прими и помни: в сыне ожила душа твоя.
Этой книгою отныне пусть живу на свете я.

⟨1907⟩

146—154. *ГОЛОСА СМЕРТИ*

1—7

ЭЛЕГИИ

1

Мне тяжело, как в первый день,
Как в первый день ночного горя,
Когда впервые бросил тень
Закат на даль земли и моря,

Я сон вулканов услыхал,
Вокруг себя разливших лаву
Среди со дна подъятых скал
На первозданную дубраву.

Я под разливами огня
Услышал свист горящей глины,
И свет теперешнего дня
Мне темен, как лучи лучины.

В глухое сердце не гляди,
Оставь расколотую душу!
Всё круче горы впереди,
Я бурей мчусь и скалы рушу.

И прорывая тяжкий путь,
Когда-то вырвусь на приволье!
Или, разбив о камни грудь,
Умру, зальюсь людскою болью.

1907
Кресты

2

И вот опять совсем один,
Как в чисто поле занесенный
Напором мощным древних льдин,
Седыми мхами опушенный,

Валун, осколок темных скал,
Гранитов севера глухого,
Чью силу в землю закопал
Разбег налета ледяного.

Лежит, проникнув в чернозем,
И глубже каждый год врастает.
А солнце движется кругом,
И ветер с посвистом летает.

Да синий ворон припадет,
Как на скалу высот родимых,

Где пропасть в пасть свою зовет
Бессильной яростью томимых.

Хоть бы распасться и истлеть!
Да нет, крепка судьба гранита:
Покуда солнцу землю греть,
Его твердыня не разбита.

1907

3

Под вечер жизни, в час унылый,
На небо взглянешь впопыхах,
И видишь остров сизокрылый
На алых, медленных волнах.

Склонив лицо, закат сияет,
И мертвой зыбью даль рябит.
И неба взор не покидает,
И мир для неба позабыт.

Так тихо плещут волны моря,
Такой корабль сюда плывет,
Что вся тоска земного горя
Не затемнит сиянья вод.

Глядишь на светлое виденье
И видишь в синих парусах
Ушедшей юности волненье,
Былого счастья милый прах.

1907

4

Опять в печальной тишине
Недвижным сердцем затихаю,
И ничего опять не знаю, —
Всему внимаю, как во сне.

На мыслях цепкая узда,
Всё скрыто тьмой неуловимой:

И очи дальние любимой,
И в небе дальняя звезда.

Всё круче горная стезя,
Под лавою всё тише пламя,
И никакими-то словами
Расколдовать судьбы нельзя!

⟨1907⟩

5

Так и уйду с душою нерассказанной,
С недвижною улыбкой на губах.
И лягу на лугу в простых цветах,
Ромашках, маках, васильках,
Всё улыбаясь, вознесусь душой развязанной,
А на цветах останется мой прах.

И вы, подруги и друзья мои любимые,
Придя, слезами не туманьте глаз.
И смерти радуйтесь хоть этот раз,
Когда ушел в сияющий оаз,
Природы слушаясь неумолимыя,
Веселый жизненосец Аз.

⟨1907⟩

6

И ты придешь в мой дом покинутый,
Как приходила в светлый час,
Когда огонь вечерний гас,
Закидывая розами нас.
На храм посмотришь, мной отринутый,
Любимый столькими из вас, —

И лишь тобой одною не возлюбленный,
Без поцелуя спящий на глазах,

Без брачного венка на волосах,
И без колец на сложенных руках.
Придешь и поцелуешь храм загубленный
Утаивая в сердце горький страх.

⟨*1907*⟩

7

Всё стало чуждым: комната и люди.
И неотсюда уж гляжу на свой уют,
Где вещи, суетливо подставляя груди,
Мои глаза ненужностью гнетут.

Еще недавно этот стол просторный
И кресло утлое манили вечером меня
Истратить свой досуг на вымысел узорный
И на рассказ рассказов алого огня.

И книжки над столом, где рядом прикорнули
Поэт сияющий с упорным мудрецом,
В последний раз давно ли обманули
Меня, еще не взятого вершающим концом.

Бумага хрупкая и ты, перо стальное,
Послушные еще не замершей мечте,
И вы, когда узнаешь бытие иное,
Под взором обреченного уже не те.

И ты, подруга вымыслов веселых,
Друг комнаты и мой заветный друг,
В упрямом взгляде глаз моих тяжелых
Так неожиданно переменилась вдруг.

Всё, всё оторвано, покинуто, забыто.
Бесстрастно созерцая старый дом,
Глухое око широко раскрыто,
Но чуждо всё ему в былом.

⟨*1907*⟩

8

СМЕРЕТУШКА

Тоска моя, Смеретушка,
Ты кем ко мне придешь?
Полуднем ли, полуночью
Скогтишь меня, возьмешь?

В лесу ль меня ты выследишь,
Когда глаза заснут?
Припомни-ка пословицу:
Лежачего не бьют.

На поле за работою
Тебе ль за мной ходить,
Снопами укрываючись:
Кто будет рожь косить?

За ужин мой с ребятами,
С хозяйкою женой,
Прельщаясь караваями,
Тебе ль идти за мной?

Уж лучше мы, Смеретушка,
Да будем как друзья!
На что уж ты смышленая,
А всё смышленей я.

Поеду в лес за хворостом,
Как будто запоздал,
А ты вот тут и выгляни,
Пока закатец ал.

Да не с косой и черепом
Заместо лица-зари,
Смотри душою-девицей,
Смеясь скажи: «Умри!»

Чтоб волосы раскинулись
От леса до небес.
Пойдешь — деревья движутся,
Дает дорогу лес.

Живая, полногрудая,
Чтоб жар вот так и жег,
Чтоб встречу так и кинулся,
Любовью занемог.

Целуй тогда, Смеретушка,
Покуда не умру!
Не отойду — кляни меня —
От зол твоих к добру.

Вот так вот и останусь я,
Глядясь в глаза твои.
Возьми-бери, Смеретушка,
Тут все права свои!

Пускай голо́сят с бабою
Ребятки над отцом:
Смертельным обручаюся
С забавою кольцом.

Умру, пусть ветер носится
И носит хворост мой,
Ходи и ты, Смеретушка,
И зубы скаль со тьмой.

Летайте, черны вороны!
В лесу глухом лежу.
Проклюйте очи синие,
А то я всё гляжу.

Бегите, волки серые!
Вам падаль отдаю.
Дожди падите гулкие,
Омойте кость мою!

Приди тогда, Смеретушка,
Еще взглянуть, любя:
Теперь-то твой возлюбленный
Похож ли на тебя?

1907

9

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, тихий мой, любимый мой!
Качает кто, узнала я.
Зеленый свет глядит тюрьмой,
Тюрьмой гляжу, усталая.

Качала смерть тебя, дитя,
И кровь впивала алую.
Лежишь-молчишь, со мной шутя,
Склонил головку малую.

Сама звала, сама ждала:
Хоть смерть возьми младенчика!
А смерть добра, не хочет зла:
Пришла, убила птенчика.

Спи, тихий мой, любимый мой!
Когда бы люди ведали!
Зеленый свет глядит тюрьмой, —
Нам волю заповедали.

⟨*1907*⟩

155—169. *ТЮРЕМНЫЕ ПЕСНИ*

1

КЛЯТВА

Колокольный звон несется,
Больно в сердце отдается,
Воля вольная — увы!
Тесен терем одинокий,
Склеп печален одноокий,
За стеною гул молвы.

За стеною солнце, солнце!
Но не к солнцу глаз-оконце!
А в такую же стену.
И таят глухие стены

Без любви и без измены
Мысль жестокую одну:

Как бы крепче стиснуть волю,
Как убить живую долю,
Впиться, мучить и пытать,
И тупым, бесстыдным смехом
На усладу злым потехам
Гордость смять и растоптать.

Но и в малое оконце
Вижу я на небе солнце,
Отраженное в лучах
И разлитое повсюду:
В тьму ночей и в сердце люду,
На стенах и в облаках.

Солнца ясность золотая!
Я храню тебя, святая,
Я и здесь останусь жив!
Птица с криком пролетела,
Быстро, преданно и смело
Клятву в небо восхитив.

19 августа 1907

2

ЖЕРТВА

Принесли мне хлеб и воду,
Дали соли: хлеб да соль!
Помяну-ка мать-природу,
Изобилье диких воль.

Сыпься, белая солица,
Да на этот черный хлеб.
(Подожди, тоска-черница:
Я и так от слез ослеп.)

Я ли хлебом не питался,
По болотам не бродил,
Синим небом любовался,
С темным лесом говорил.

Лейся, тихая водица,
Жертву малую твори.
(Подожди, тоска-черница:
Не видать от слез зари.)

Я ль с водою не ласкался
По озерам и рекам,
В струйках синеньких плескался,
Греб навстречу рыбакам.

Мать-природа, слышишь сына?
Черный хлеб, вода и соль —
Это жертва исполина
Изобилью диких воль.

19 августа 1907

8

ПОЯСОК

Ай, мой синий, васильковый да шелкóвый поясок!
А на этом поясочке крепко стянут узелок.

Крепко стянут да затянут милой ласковой моей —
Крепче поручней железных, крепче тягостных цепей.

Я гулял тогда на воле и ее любил, как свет.
Рано утром на прощанье завязала мне привет.

Полон силы неуемной, уезжал от милой я.
«Помни, солнце, мой любимый, я всегда, везде твоя!»

Ехал вольный, не доехал — угодил как раз в тюрьму,
Брошен в склеп зеленоватый, в ледяную полутьму.

Из углов смеются стены: «Посиди-ка тут один!»
Но, стряхнувши грусть усмешкой, им в ответ
приволья сын:

«Был один бы, кабы не был да со мною поясок,
А на этом поясочке да вот этот узелок.

Был один бы, каб не чуял, что любимая вот тут,
В самом сердце, где живые голоса гудят, поют.

Был один бы, каб не ведал, что тюрьма людей полна,
Что и в каменной неволе воля вольная вольна!»

Ах, мой синий, васильковый да шелко́вый поясок!
А на этом поясочке стянут милой узелок.

21 августа 1907

4

АУ!

Моя рубаха белая, брусничное пятно!
Из красного лиловеньким теперь глядит оно.

Под дождиком серебряным по ягоду мы шли.
А ветры сизы о́блаки в подне́бесье несли.

Качался лес, туманился под сеткою дождя
И всё-то звал, заманивал, подальше уводя.

Пригорки за пригорками, там озеро, там луг,
Взлетанье птиц испуганных, ауканье подруг.

Собрали много, мало ли, зато поели всласть,
А ноги притомилися, велят к траве припасть.

Кабы трава не мокрая, вот так бы и упал,
И в вереске запутался, в муравушке пропал.

Лежал бы не шело́хнулся, к земле родимой льня.
Подруги за деревьями искали бы меня.

Любимые подруженьки, ау, ау, ау! –
Вы слышите, откуда вас зову, зову, зову!

Не в травах я запутался, не на землю прилег —
Ступил я за протоптанный, невольничий порог.

Не лес стеною пестрою идет ко мне, маня,
А стены склепа темного стоят вокруг меня.

Не эхо голос звонкий мой уносит, отдает,
А гул могилы каменной гудит, в ответ поет.

Не травы стеблем ласковым к щекам горячим льнут,
А доски пола желтого мхи-волосы метут.

Одна рубаха белая, брусничное пятно,
Не красным, а лиловеньким глядит теперь оно.

22 августа 1907

5

ПОВЯЗКА

Желтенькая ленточка, повязочка моя,
Что ты так ласкаешься, касаяся меня?

Или я запамятовал, кто тебя сшивал,
Кто тебя на волосы мне летось одевал?

Кто мне кудри русые расчесывал, жалел,
Кто мне меж волосьями в глаза мои глядел?

Как они смеялися, подглядывал, смеясь,
На́ губы веселые ресницами косясь?

Помню, помню, ленточка, всё помню навсегда,
Только ведь для памяти пожаловал сюда.

Рано утрое ясное проглянет за окном,
Я уж под решеткою стою с тобой вдвоем.

Гребнем поломавшимся чешу себя, деру,
Волны к волнам волосы никак не подберу.

Руки да за голову, а ленточку к кудрям,
Весь-то отдан утренним, пронзающим лучам.

И уж тут не знаю я, молюсь иль не молюсь,
Рад тюрьме иль пламенно из ней на волю рвусь.

Только знаю: ленточка, повязочка моя
Светится, колышется на кудрях у меня.

22 августа 1907

6

ГОЛОСА

Целый день мне слышатся эти голоса.
Стены ль это плачутся, поют ли небеса?

То бросают скалами низкие басы,
Будто строют храмину божеской красы.

То, как дети ясные, звонки и чисты,
Держат сердце в трепете сладостной мечты.

Чутким ухом слушаю, думаю понять,
Но неуловимые стихнули опять.

И опять возникнули — там ли, в высоте,
Или тут, за стенками, те же и не те?

Силой сердце полнится, видно, лучше там,
Где мои родимые вверились слезам.

Мать ли понадеялась сына увидать,
Сестры ль сны увидели, божью благодать?

Или ты, любимая, чуешь, что с тобой
Связан нерушимо я верною судьбой?

Ведать я не ведаю божьи чудеса.
Только слышу: вольные это голоса.

Только знаю, радостно слышать их теперь,
Сердце укрепляющих: жди, надейся, верь

22 августа 1907

7

ЧЕРЕДА

Вот и пятый день подходит,
И пройдет, уйдет, как все.
Видно, поровну отводит
Время горю и красе.

Красоты я знал немало
И всё больше ждал да ждал.
Горя будто не бывало —
Только слух о нем слыхал.

Вот и выпало на долю
Выпить горькое вино,
Посмотреть на синю волю
Сквозь железное окно.

И смотрю: она всё та же.
Да уж я-то не такой!
Но меня ли силе вражьей
Надо сжать своей рукой?

Пусть одни уста остынут,
Эти очи отцветут,
А вот те повязки скинут,
А вот эти оживут.

Камень сверху оторвался —
Убыль верху, прибыль там,
Где раскат его раздался
По долинам и горам.

Сизый облак наклонился,
Сила вылилась дождем —
Свод пустынный прояснился,
А хлеба поют: взойдем!

Так и всё на этом свете,
И на всяком свете так:
Иссякают силы эти —
Восхожденью новых — знак,

Мы же, маленькие звенья,
Сохраняем череду:
«Ты прошел, сосед?» — «Прощенье!»
— «Ты идешь, сосед?» — «Иду!»

24 августа 1907

8

ГОЛУБИ

Вам, птицы поднебесные,
Насыпал я пшена
За те пруты железные
Тюремного окна.

Слетелись, сердце радуя,
Клюют скорей, спешат.
Не вижу только ладу я:
Крылами бьют набат.

Торопятся, стараются
Друг друга оттеснить,
И сердятся, и маются,
Чтоб больше захватить.

Покойны будьте, голуби!
Обильно сыплю я.
Насытитесь тут дóлюба
Вся вольная семья.

Когда же все насытитесь,
Умчитесь в эту синь,
Рассеетесь, рассыпетесь
Средь голубых пустынь.

Но тот, кто всех проворнее
И крыльями сильней,
Покинет долы горние
Для дальних зеленей.

Для тех садов сверкающих,
Где мать моя одна
В слезах неутихающих
Поникла у окна.

И сына подневольного,
Тоскуя, тщетно ждет,
У сердца богомольного
Ища себе оплот.

24 августа 1907

9

КРУЧИНА

Не круши меня, кручина!
Мне еще немало жить.
Ходит черная година,
Оттого ли мне тужить?

Ведь всё так же солнце светит,
Так же дети видят сны.
И земля всё так же встретит
Песни первые весны.

Осень пестрая подходит,
Потемнели тополя.
И туман уж хороводит
В опустыневших полях.

Только я уж не любуюсь
Той осенней милой мглой,
Поневоле повинуясь
Тьме могилы нежилой.

Так любуйся ты одна там,
Затаивши глубь души,
По кустам ходи лохматым,
Лесом скорбь свою глуши.

Примечай там все красоты,
Ничего не упусти!
Лесу выдай все заботы
С тучей листьев унести.

И борись с тоской-кручиной,
Как и я борюсь тут с ней,
Чтобы волею единой
Сердце полнилось вольней.

24 августа 1907

10
СЕРЫЙ ВЕЧЕР

Отчего ты, вечер, серый и простой,
Как ребенок малый с тихою мечтой,

Мальчик сероглазый, увидавший свет
В первый раз на склоне отроческих лет?

Отчего и звоны, вечер у церквей,
Словно стаи сизых, ранних голубей,

Только научённых крылья подымать,
Сердцем не забывших голубицу-мать?

Отчего ты, вечер, заманил меня
Пристальной улыбкой серого огня?

Покажи мне облик, серый вечер мой!
Распахни свой облак, свитый полутьмой!

Подойди же ближе. И еще. Вот так.
Загляни в глаза мне, в мой заветный мрак.

Разве ты не видишь: серые глаза,
Только в самой дали прячется гроза.

Обними нежнее. Окружи совсем,
Чтоб я стал недвижим, как пустыня, нем.

Чтобы только были вечер, я да ты
Тут над колыбелью маленькой мечты.

25 августа 1907

11
МАРЕВО

Сделал меньше малый терем,
Сумрак гуще, ниже свод.
И шепнул: «Давай, поверим!»,
Покидая небосвод.

Засмеявшись серым глазом
Брату-вечеру в ответ,
Начал счет я: «Раз!» И разом
Вспыхнул тихий серый свет.

«Два!» И в зыбкой колыбели
Просыпается дитя.
Щеки сонные зардели.
Ищет, ручками метя.

«Три!» И мать склонилась гибко
Голод грудью утолить.
У двоих цветет улыбка,
Третий — краше в гроб валить.

Вечер, вечер, вечер! Тише!
Колдовства не нарушай!
Долетает шепот свыше:
Ночи — «Здравствуй!», мне — «Прощай!».

26 августа 1907

12

ЯСНОСТЬ

Пронизáла душу ясность созерцанья.
Как дождем, омыла дальние углы.
Освежила бурей первого страданья,
Разорвала скопы ядовитой мглы.

И взираю странным, онемелым оком
На позор звериных, разоренных нор,
Где былые годы низменным потоком
Пробегали мутно, потупляя взор.

И внимаю сердцем чистоту и ясность
Предо мной лежащих голубых высот,
Где промчится, с вечным утвердив согласность,
Дней моих грядущих просветленный лёт,

27 августа 1907

13

МОРЕ

Уплывайте, уплывайте, дальше, дальше, облака,
Чтоб лазурь была как море, а не узкая река.

У меня душа как море, полноводный океан,
Что под льдинами синеет у полярных белых стран.

С каждым часом льдины тают, обнажая синеву.
Вот последняя лепечет: «Не растаю, уплыву!»

Но от солнца золотого никогда не уплывет
То, что зной его могучий на погибель обречет.

Льдина тает, расширяя каплей малою простор,
Только море, только небо и взирающий мой взор.

Всё, что было мелким, низким, сметено, унесено,
Светит чистая пустыня, в вечность зоркое окно.

Всё, что мучило, томило, теснотой своей гнело,
Всё развеял вольный ветер, далью моря унесло.

Только волны ходят вольно, как хотят и где хотят,
И серебряные брызги к небу синему летят.

Только я гляжу, не веря широте морской души:
Неужели эти дали из моей идут глуши?

27 августа 1907

14

В ЛЕСУ

Слышу стон твой издалече,
Вижу: плачешь на земле,
Колыхают слезы плечи,
Скорбь застыла на челе.

И целуешь вереск алый,
Припадаешь и опять

Подымаешь крик усталый
К синю небу возлетать:

«По траве ходил по этой,
На цветы лесов глядел.
Сердца ласковой заметой
Сколько сосенок одел.

Как питался, любовался,
Красотой лесною жил;
Голос звонкий отдавался,
С эхом вспыльчивым дружил.

А теперь — леса красивы,
Или нет — не вижу я.
Слышишь ты мои призывы,
Там, в теснинах бытия?»

«Слышу, верная подруга!
И хожу, хожу вот так:
Одного того же круга
Обивая известняк.

Выпускают чередою
По дорожке погулять,
Чтоб натянутой уздою
Вольным сердцем помыкать.

Шагу малого налево,
Ни направо не ступи,
А беспомощного гнева
Силу острую тупи.

Вот хожу и вспоминаю
Лес зеленый да тебя.
А тоска моя шальная
Ходит рядышком, знобя.

Слышу стон твой издалече.
Вижу: плачешь на земле.

Подыми-ка к небу плечи,
Сгладь морщины на челе!

И окинь свободным оком
Красоту и бытиё.
Всё ль твое в лесу высоком?
А твое, так и мое».

28 августа 1907

15

ПОЭТ

Я рассказал, косноязычный,
Природы яростную глушь.
И был отраден необычный
Мой быстрый стих для ярких душ;

Я рассказал наивным слогом
Святой причастие любви
И промолчал о тайном многом,
Сокрытом в плоти и крови;

Я рассказал бессвязной речью
Народа сильного беду,
Взманивши гордость человечью
Сорвать железную узду.

Теперь иное назначенье
Открылось духу моему,
И на великое служенье
Я голос новый подыму.

Да будет свят и непорочен
Мой целомудренный язык,
Как взгляд орла седого, точен
И чист, как снеговой родник.

Да будет всем всегда понятен
Судьбою выкованный стих,
Равно вчера и завтра внятен,
Равно для юных и седых.

Да будет щедр и безразличен
Для всех сияющий мой свет,
Когда святым огнем отличен
Я, волей божьею поэт.

1 сентября 1907

170—171. *Воля*

1

ВОЛЯ

Здравствуй, воля!

Наивная, как юная невеста,
Пугливая, как лань лесная,
Пьянящая,
Как первое осеннее вино.

Опять ты облекла меня,
Вошла и в кровь и в плоть мою,
В глаза мне поглядела так призывно,
Что закружилась сладко голова,
И на траву склонил я жертвенное тело,
Где желтые и красные огни
Кленовых листьев раскидала осень.

Такая ж ты, но для меня другая.
Всё так же ты объемлешь мир,
Сверкаешь солнцем
И в лесу живешь,
Где каждый лист тобою дышит,
Колеблемый осенним ветром.

Но миру ты нужней, чем мне,
Но солнце светит всем, как мне,
И лес хранит тебя для всех,
Не только для меня,
Стихийного, смеющегося зверя,

Каким была душа моя,
Пока не наступила эта осень.

Так мало совершилось — так же много.
Я только десять дней не видел солнца,
Тобой сверкающего, воля;
И столько же ночей не видел неба,
Простертого тобою, воля;
Я только десяти рассветов
И десяти вечерних зорь не видел,
Затепленных тобою, воля;
Я только десять дней баюкал стены
Невольничьей докучной песней,
Пропетою тобою, воля, —

И вот душа уже другая,
Берет от жизни впечатленья
Прямей, задумчивей и проще.
Так листья, ливнем благодатным
Омытые, берут прямее
Лучи от жизненного солнца.

И стали:
Слышнее детский голос,
Понятнее седая старость,
Невыносимее людская скудость,
Своя мудрее совесть,
Сильнее вялый разум,
Мои пути виднее,
Ценнее жизнь,
И смерть доступней,
И ярче огненные листья,
Зажженные тобою, осень,
И ближе ты, возможность жизни,
Воля.

Здравствуй, воля!

31 августа — 4 сентября 1907

2

ДЕТСТВО

Я в том лесу, где детство протекло,
Такое вольное,
Так хорошо и верно знавшее
Искусство жить в игре веселой,
К чему теперь лишь робкими шагами
Я приближаюсь, опыт тяжкий
Неся в окрепшем сердце.

Он тот же, мой сосновый лес.
И время
Лишь выше подняло стволы седые,
Лишь ближе молодой сосняк
Согнало к белому оврагу,
Который был таким большим,
Когда на дне его я бегал детскими ногами,
И маленьким таким теперь лежит передо мною,
Как будто удивленный старому знакомцу,
И вовсе не глубокий.

Иду тихонько, вглядываясь в чащу,
Прислушиваясь к чьим-то голосам,
Как прежде, полнящим весь гулкий лес,
И знаю, что нельзя назвать их птичьим пеньем,
Ни шелестом засохших веток,
А только тихими лесными голосами.

И вдруг средь них звучит мой прежний голос,
И за стволами низко у земли
Мелькает белое и быстрое пятно,
То исчезает, бросившись на землю,
То снова мечется — болотный огонек,
Зовущий за собой неведомо куда
По зарослям зеленой топи.

Куда? Не знаю. Знаю — на приволье,
В лесные чащи и поля пустые
Под синим небом жизни,

В море, гулкое, цветное море —
Туда так весело и просто
Бросаюсь я и отдаю всего себя,
Как этому лесному сновиденью.

⟨1907⟩

172—183. *ОСЕННИЙ ВИХРЬ*

1
ВСТУПЛЕНИЕ

Как взлетают эти листья
К небесам пустым;
Как себя роняют листья
Вихрем золотым, —
Так стихи к тебе взлетают
Из моей глуши;
Так смолкают, тлеют, тают
В мировой тиши,
Чтоб глаза твои седые
Потемнеть могли;
Чтоб огни земли рудые
И тебя зажгли;
Чтоб и ты опять дрожала,
Стала бы не та,
Чтобы ты сама сказала:
Осень — красота.

2
ВИХРЬ

Ты опять ко мне приникла,
Ты опять меня взяла.
Вихрем огненным возникла,
Миг замедлила, утихла,
Острым пальцем поманила,
Серым глазом ослепила,
Меч лучей своих вонзила,
Сердце вольное зажгла.

И взлетела вихрем, вихрем.
Вьешься, вьешься в вышине;
Манишь в высь слепящим вихрем,
В золотом летишь огне;
Стрелы, сыплемые вихрем,
В небе светятся — не мне;
Листья, сорванные вихрем,
Вихрем падают ко мне.

3

ОСЕНЬ

И несешься в диком танце —
Быстрым оком не догнать.
Только в девичьем румянце
Страх у зорек увидать.
Только в лиственном багрянце
Горесть леса угадать.
Выше, выше, выше в синь,
В синеву своих пустынь!
Сердце, стой! Не бейся. Стынь.

Сердце, стань! Алеют раны
Умирающей зари.
Осень смотрит в эти страны
На леса твои. Смотри.
Осень льет свои туманы
На поля твои. Умри.
Вот летит душа Смугляны,
Дочь последняя Зари.

4

ПОЖАР

Ты прошла по этим странам,
Ты зажгла мои леса;
Ты окутала туманом
Золотые небеса;

Ты овеяла дурманом
Дикой воли голоса.

Вон береза золотится,
Зеленела не она ль?
В желтом золоте гнездится
Жизни тающей печаль.

Вон осина розовеет.
Не была ли зелена?
Каждый лист тоской хмелеет,
Ветка каждая хмельна.

Вон и клен, омытый кровью,
Уж не клен ли не зелён?
Нестерпимою любовью
Весь, высокий, истомлен.

Ты зажгла свои пожары,
По моим прошла лесам;
Ты свои творила чары
По моим же небесам;
Ты моей не знаешь кары,
Так узнай: горю я сам.

5

ГОРЯЩИЙ ЛЕС

С каждым часом нестерпимей
Леса пламенного жар;
Нет тебя неутомимей
В создаванье лютых чар;
Нет тебя неугасимей,
Этой осени пожар.

Желто-алая завеса
Заслонила эти дни;
Дебри сумрачного леса
Лижут пестрые огни;
Глушь елового навеса
Шепчет веткам: «Отгони!»

И не только здесь, где алость
Ослепительна очам,
Но везде невнятна жалость
Этим яростным огням;
Всюду им чужда усталость,
Всюду твой горящий храм.

Лишь обугленные ели
Тьму зеленую хранят;
Но огни кругом взлетели,
В зелень темную летят,
И далекие метели
В вихре огненном гудят.

6

ОГОНЬ

Унесла меня. Сковала
Огненным кольцом лесов.
Желто, рыже, буро, ало —
Гул слепящих голосов.

Желтизна кричит: «Ослепни!»
«Сгинь!» — мне ржавчина кричит.
Листья бурые — как слепни.
В сердце алый цвет стучит.

Где ты? Где ты? За лесами?
Где ты, где? Явись! Вернись!
Я измучен голосами,
Все огни во мне слились.

И один огонь великий
Из лесов моих к тебе
Неужели, буйноликий,
Не дойдет в своей мольбе?

Неужели не осветит
Тот огонь твое лицо,
Пред которым тихо светит
Огневых лесов кольцо?

И в пустынях глаз спокойных
Не зардеет ничего
От его метаний знойных
И от алых стрел его?

7

ОБРУЧЕНИЕ

«Затомила вихрем диким.
Полно мчаться. Отпусти.
Я опять хочу быть тихим,
Не огонь, цветы нести».

«Нет. Ты мой. Ты мой. Ты слышишь?
Видишь обруч? Вот, надень.
Ты моим дыханьем дышишь,
От моих лучей твой день».

«Коли так, умчи скорее!
Мчи скорей. Еще. Вот так.
Чтобы только реки, рея,
Прорезали сизый мрак,

Чтобы только от горящих
Золотых моих лесов
Долетал в огнях летящих
Гул осенних голосов,

Чтобы только в час вечерний
Душу сумерек я знал
И Смугляны между терний
Лик скорбящий созерцал».

8

ЛИК СМУГЛЯНЫ

Лик Смугляны — это женский,
Это вечный женский лик,
В ком сокрыт огонь вселенский,
Кем любовный час велик.

В ком душа тоски вечерней,
Сердце женских всех скорбей,
Кто ребенка суеверней
И пугливей голубей.

Эти девушки, которых
Никогда я не любил,
У Смугляны в тихих взорах
Схоронили алый пыл.

Эти женщины, которым
Я дарил себя на миг,
Лишь ее взирают взором
На тоску своих вериг.

Лик Смугляны — он со мною.
Мчи. Метай. Убей. А он
Вечно смотрит глубиною
Сквозь закатный небосклон.

9

ЗАКАТ

Но когда своей косою
Заметешь и небеса;
И одной твоей красою
Будет всякая краса;
И одной моей тоскою —
Золотые голоса;
И одной твоей рукою —
Все горящие леса,
Поманившей за собою
На такие чудеса,
В вихрь зажженного судьбою
Огневого колеса, —
Лик Смугляны, лик Смугляны
Затемнит свои черты;
Закатится за туманы
Поднебесной высоты;
И покинет эти страны
Плена, мук и маеты,

Где в сияющие раны
Нестерпимой красоты
Зори выльют на поляны
Кровь загубленной мечты.
Так погаснет лик Смугляны,
Если так захочешь ты.

10

ПЛЕН

Но не хочешь ты, не хочешь,
Далека и холодна.
Только мо́роком морочишь,
Только маревом сильна.

Только плен тебе отраден,
А на волю — никогда.
Только к песням слух твой жаден,
Только мчит твоя звезда.

Всё на свете выносимо,
И тяжелый самый плен,
Если только воля зрима
Из теснин сомкнутых стен.

Если только сердце знает,
Что еще, еще — и вот
Солнце в очи засверкает,
Долгожданное придет.

Если ж сладостной надежды
Никогда в темнице нет,
Пусть глаза мне скроют вежды,
Как сокрыли стены свет.

Пусть я сгину в подземелье,
Жизнь в могиле утаю,
Но твое глухое зелье
Не допью, а сам пролью.

11

ЛИСТЬЯ

Вот порыв — и я на воле,
На сырой земле лежу.
Мчится вихрь в осеннем поле.
Вижу. Сердца не бужу.

Вижу: крылья пролетают.
Мимо. Вдаль. В огонь зари.
Листья грудь мне осыпают,
Только листья — посмотри.

Захотел — и совершилось.
Разорвал кольцо-огонь.
Где оно со мной кружилось,
Только след его погонь.

Только ветер тихокрылый
Вихри малые с земли
Подымает, чтобы силы
И последние сожгли.

12

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Он упал. И я злораден,
И топчу его красу.
Вихрь осенний! Мне отраден
Дым в обугленном лесу.

Всё, чем ты горел, метался,
Вот лежит у ног моих.
От красы твоей остался
Только мой горящий стих.

Да на сердце в самой дали
От метаний огневых
Боль стихающей печали
Тлеет в радостных живых.

Да на ветках почернелых
Леса темного остóв
Теплит искорки несмелых
Догорающих листов.

⟨*1907*⟩

184—186. *РАДУГА*

1

СИНЯЯ

Глубина твоей стихии — синева.
Цвет души твоей летящей — синева,
Темнота твоих мгновений — облака.

По твоей моря́ тоскуют синеве,
Во твоей светила светят синеве,
И плывут в тумане синем все века.

Что лила себе во взоры? — Синеву.
Что сказала васильку полей? — Сорву!
Жизнь твоя — привольно синяя река.

В небесах чего так мало? — Синевы.
Желтизны зачем так много у травы?
Только синь твоих безмолвий глубока.

Чем глядишь на жизнь цветную? — Синевой.
Чей я, синяя? Ты знаешь, знаешь! — Твой.
Лишь в тебе мне жизнь едина и легка.

2

СМУГЛАЯ

Сыпься, сыпься, белый снег!
        Тем смуглее будет бровь,
        Тем алее будет кровь.

Мчи нас, мчи нас, конский бег!
Тем острее будет бровь,
Тем быстрее будет кровь.

Бейся, бейся, женский крик!
Тем теснее будет кров,
Тем страшнее встречный ров.

Прячься, прячься, смуглый лик!
Тем любовней будет кров,
Тем внезапней скаты рвов.

Сыпься, сыпься, пышный снег!
Ложе снежное готовь,
Чтоб нежней легла любовь.

Мчи нас, мчи нас, конский бег!
Горячи густую кровь,
Чтоб быстрей несла любовь.

8

БЕЛАЯ

Как пряма и как строга,
Как стройна и как бела!
Белизну ты где взяла?

Пред тобой серы снега,
Пред тобой зима смугла,
Белизну ты всю взяла.

Как бела и как горда,
Как смела и как светла!
Пред тобою тает мгла.

Но по жилам кровь-руда
Алым зноем протекла,
Сердце счастьем залила.

Для кого твоя рука
Перстень девичий сняла,
Страсть того стрелой прожгла.

И, как твой огонь жарка,
По щекам и у чела
Белым пеплом пролегла.

⟨1907⟩

187. СТИХИ О СВЯТОЙ ЛЮБВИ

1

Святая славится любовь
Простым сплетеньем робких слов,
Ручьем бесхитростных стихов.

Их тело — камень, пламя — кровь.
Они нежданностью ясны
И незаконченны, как сны.

Они тройные: три строки.
Грустит невеста — первый стих,
Любимых двое — два других.

2

Печать божественной руки
Легла не многим на чело.
Его чело ее несло.

Он был спокойный властелин
Природы, солнца и луны,
Печальной осени, весны.

Он был во всем и был один,
Он миру целому внимал
И тайну в очи целовал.

Он знал безветрие небес,
Дыханье бурь и гул валов,
Он слышал много голосов.

Ему шептал и верил лес,
Ему волну несла река,
Над ним летели облака.

Он время вел и каждый миг
Сам зажигал и сам гасил,
Любя рождал и хоронил.

Железной тяжести вериг
От детства гордо не надев,
Он был ягненок, змей и лев.

8

Она, нетронутая лань,
На перепутье бытия
Стояла, робость затая.

Слепая жизнь живую дань
Безглазым идолам-камням
Ее готовила во храм.

Но смутно, смутно, словно сон,
Невнятной грусти змейка-нить
Кралась ей душу перевить.

И райских струн неясный звон
Манил ее к сиянью дня,
Огонь незáжженный храня.

На солнце взоры устремив,
Она жила в тиши пустой
У входа в терем золотой.

Богаче, чем морской прилив,
Она несла в себе алмаз
Стремящих к счастью темных глаз.

Но, как пустыня без воды,
Забыла запахи цветов,
И мощь корней, и вкус плодов.

О вы, кто духом молоды,
Вставайте, будьте как она,
Все чаши выпейте до дна.

4

Так темен, темен вечер был.
Так долог был вечерний час.
Огонь закатный в муках гас.

В кошмаре душный воздух плыл.
Дорога шла, всё шла, устав,
Полями, лесом, между трав.

Лохматой грудой стал курган,
И стая сосен, старых слуг,
Над ним сковала верный круг.

Они пришли, когда туман
Куренья белые кадил
И вечер за́ горы уплыл.

Перед заветною чертой
Коснулся душ людской испуг,
Но сосны разомкнули круг.

Природа с ласкою простой
Склонилась к ним, седая мать,
Детей привыкшая ласкать.

Глаза просторные открыв,
Он ясно близкое постиг,
И зажигал, любуясь миг.

Она, вся — нега, вся — порыв,
Таить смятенья не могла,
Себя на радость отдала.

Он руку взял и взял ее,
Так близок стал, так был далек.
Так странен трепет теплых щек.

Лицу ее — лицо свое...
Двойная вспыхнула душа,
Как мир весенний хороша.

Ликуйте все, кому дано
Носить огонь и зажигать
Судьбой рожденное сверкать!

Зарею небо зажжено.
Вонзился в небо первый луч,
Так нежно ал и так певуч.

Они зажгли свои костры,
Огни слились в один язык,
И в нем метнулся чей-то лик.

Слиянье брата и сестры —
То было первое родство,
Вселенской жизни торжество.

5

Так прилетело утро к ним.
И с утром ангел прилетел,
Готовя светлым их удел.

Он был чудесным и нагим,
Без пола, зависти и слез,
Нежнее, чем стволы берез.

Два снежно-белые крыла
Пространство отдали ему.
Он был подвластен лишь тому,

Чья жизнь над жизнями была
Предвечным, чистым родником
И первым всех огней огнем.

Едва лучи своих лампад
Заря на небо принесла,
Они увидели посла.

Сверканьем стал их ясный взгляд,
Тела — вселенной, богом — дух,
И мрак земли для них потух.

Им очи ангел отворил,
Расширил теплые сердца,
Чтоб свет небесного лица

Перенести хватило сил.
И мир, сияя, им предстал
Без жадных, темных покрывал.

Прекрасен был их первый день,
Прекрасней всех пришедших дней,
Смелее всех и всех ясней.

И бог сказал земле: «Одень
Одежду лучше всех одежд,
Милее девичьих надежд».

6

Как хорошо владыкой быть
Не только неба и цветов,
Но всех желаний, чувств и слов.

Как хорошо в себе носить
Всю власть, носить в себе одном,
Над телом, духом и умом.

Как хорошо рабыней стать
Того, кто всё в себе несет,
Кто всё дает и всё берет.

Как хорошо себя сжигать
У золотого алтаря
Тебя зажегшего царя!

7

Трепещет пламенный закат.
Всё небо в желтом янтаре,
Вечерня служится заре

Среди сияющих палат,
И от зенита до земли
Не ходят тучи-корабли.

Вечерню слушая, стоит,
Стоит он в поле на огне,
На темном, старом валуне.

Лучами храм небес залит.
Душа лучами залита.
Весь мир — безмолвные уста.

«Приди», — он медленно сказал
Кому-то жадному, кто был
Над ним в пожаре алых крыл.

И темно-красный жаркий вал
Его, сказавшего, увлек
В кипящий пламенем поток.

Когда последний луч погас,
На небо сумерки взошли
И звезды бледные зажгли,

Тогда погас последний час
Небесно-белых первых дней,
Настали дни иных огней.

8

Он к ней пришел и ей сказал:
«Иди со мной. Тебя люблю.
Тебя любовью окрылю».

Шла ночь в тумане покрывал,
Когда к реке они пришли
И поцелуем мир зажгли.

Нет! Нет! То был не поцелуй,
То был огонь нездешних сфер,
Предел сознанья, чувств и мер.

Он создал в них потоки струй,
Горячих, острых, как металл,
Он их уста огнем сковал.

Еще. Еще. Раскрыт кивот.
И близкий бог в глаза глядит.
Он рад. Он знал. Он так велит.

Объятья рвутся. Миг растет.
Сверкает тело. Всё — одно.
Всё — глубь, достигнутое дно.

Весь мир — живое существо,
Двояко целое. И в них
Оно истратилось двоих.

Так родилось еще родство:
Отныне мужа и жены
Телами души зажжены.

9

Рассказ простой, как мир и бог.
С простой душой рассказан он,
Как расскáзуем детский сон.

С прологом сходен эпилог:
Стихом, повторенным здесь вновь,
Святая славится любовь.

⟨1907⟩

188. КАСЬЯН

(Деревенская сказка)

Ох, руки трясутся,
И старые пальцы с натугою гнутся.
Скрипит голосина,
Как в поле на ветре седая осина.
Я песельник старый, я старое помню.

Ох, помнюшки-помню! Забуду — припомню.
Давным-давно сбытое,
Всеми забытое,
Старым, мной старым одним
Помнится, видится будто сквозь дым.

Эй, молодайки да парни, смекайте,
Уши вострите.
Мимо, ой мимо вы, ветры, летайте,
Гам-то свой, птахи, уймите!
Сам запою, заиграю вам сам
Всем-то перстам по струнам,
Ой, по струнам золотым!
Тем голосиной своим,
Ох, начинаю, пою
Матка-старинка, старинку твою.

Как назвалась да звалась, всё равно, —
Эта деревня стояла давно.
Жили да были, да что за житье!
Хлеб на еду, да вода на питье.
Бабы в деревне рожать молодцы.
В семьдесят тоже бывали отцы.
Словно грибов, не обраться ребят —
Белых гусей али черных галчат.
Все хороши, да один не хорош,
Словно зачал его матери Кош.

Баба как баба, дородна, бела.
С мужем жила и ребят нажила.
Трое на радость, четвертый на злость.
Пятый — вот этот — Кощеева кость.
Ей бы его в первый день да на дно,
Кануло б чертово книзу бревно.
Ей бы его да в болото снести,
Было б трясине чье мясо трясти.
Ей бы. . . Да баба, известно, глупа,
Беса пустила к житью сослепа.

Высосал мать, отпоился Касьян.
Каждый денек от Касьяна изъян.

Только лишила груди его мать,
Стала темнеть, как трава, засыхать.
Только ступил он на землю ногой,
Чертовым сделался верным слугой.
Мечет и рвет, а ребенку годок.
Сам, как двухлетний, силен и высок.
Всё бы измять, разорвать, растоптать.
Плачет над сыном Касьянова мать.

Палец обрезал, и кровь потекла.
Впился и пьет, — оторвать не могла.
Мясо на праздник купила — он тут,
Красные губы на кровь так и льнут.
Птица — увидит — наседка сидит,
Яица выпьет, гнездо разорит.
Червь ли, змея по траве проползет —
Пальцами сдавит, об камень убьет.
Красные губы и яростный взгляд,
Все про Касьяна в селе говорят.

Вырос, ох, вырос Касьян на беду,
Легкий на песни, тяжелый к труду.
Летом девчонку в болото увел,
Сказывал, леший ее запорол.
У самого-то глаза так и жгут,
Пальцы вот так и снуют.
Волосы спутаны. Видно, в лесу
С лешим себе наводил он красу.
Эх бы убить, да осиной забить!
Нет, допустили Касьяна пожить.

Старшей сестре привели жениха.
Тут-то и ждать от Касьяна греха.
Стал он сестру под венцом величать,
Впился ей в рот, нету сил оторвать!
Волоком по полу их волокли.
Сколько тянуло — разнять не могли.
С церкви на паперть, да наземь — глядят:
Мертвые очи невесты стоят.
Полем бежит — догони-ка! — Касьян,
Кровью невестиной, сестриной, пьян.

Стали Касьяна бояться с тех пор,
Гонят с крыльца, не пускают на двор.
Стал он запутывать малых детей
Путами злобных бесовских сетей.
«Хочешь, миленка, цветочек сорву?»
Глядь — уж девчонка катится ко рву.
«Хочешь, курчонок, свирель из коры?»
Глядь — уж мальчонка считает бугры.
Тут и ребята Касьяна бежат,
Всё ж загубил он немало ребят.

Время Касьяну жениться пришло.
Девкам тоскою сердца залегло.
Как тут пойти? Да и как не пойти?
Силы бесовской никак не уйти.
Вот завели на бугре хоровод.
«Кто ж за Касьяна, подруги, пойдет?»
— «Ты ли?» — «Да я ль?» —
«Не она ль?» — «Или ты?»
Щеки кровавой зарей залиты.
«Чем же Касьян, ну-ка чем не жених?»
Верно, любиться Касьянушка лих!

Выбрали Линьку, Акульку-красу,
Алую кровь, золотую косу.
«Я ли, подруги, Касьяна боюсь?
Я и с медведем сама обойдусь!
Я ль. . . да вот вы посмотрите, как мы
Ляжем с Касьяшей в луга за холмы».
Девки хохочут, а к ночи пришли,
Кругом цветочным вокруг залегли.
Будут еще через месяц венчать.
Как же любви без венца не начать?

Посередине невеста сидит.
Или сробела, со страху молчит?
Девичий ль стыд ко щекам подступил,
Кровью и плечи и руки залил?
Новый, как поле, цветет сарафан.
Важно подходит с поклоном Касьян:
«Ой вы, подружки, я выбору рад,
Только уж, девка, не пяться назад!

Буду любить изо всех своих сил».
Шепчет невеста: «Касьяша мне мил».

Трижды невесту целует Касьян.
Трижды снимает ей силу румян.
С трех поцелуев белеет она,
Будто ее осветила луна.
Трижды он к белым грудям припадал,
Алые губы грудей целовал.
Трижды склонялась — склонилась она.
Иль уж невеста любовью хмельна?
Встал красногубый Касьян, словно ночь:
«С мертвой любиться никто не охоч».

Девки к подруге. Завыли, вопят:
«Будь ты, двуклятый, и трижды проклят!
Где ты, подруга, смеретку нашла?
С бесом зачем ты на травку легла?
Ох, как бела, как бела ты, ох, ох!
Сер пред тобою старик белый мох!
Ах, как тиха, как тиха ты, ах, ах!»
Все-то подруги ослепли в слезах.
«Как же мы смерть подпустили к тебе?
Как мы не встали навстречу судьбе?

Полно, подруги, покой ей мутить.
Надо Касьяна, подруги, убить.
Эй, ты, жених! Эй, Касьян! Где же ты?»
Смотрят: сидит на песке, у черты.
Черт очертил или сам — подойдешь,
Рада, коль ноги назад унесешь.
Стали кольцом и вопят и клянут,
Бога крестьянского в помощь зовут.
«Ты нам подругу навеки сгубил.
Смерть тебе бог деревенский судил».

Гнется, молчит, костенеет Касьян.
Или что новое мутит смутьян?
Вдруг усмехнулся: «Пора помирать?
Ладно. Умею и смерть принимать.
Только умеючи надо убить».

— «Как же, Касьян?» — «Уж не мне ли учить?
Ну да уж ладно. Сейчас научу. —
Всё-то смеется. — Ну, слушайте, чу!»
Девки пригнулись и уши вострят,
Слова не выронят, крепко молчат.

«В старой березе найдите дупло.
Вздуйте огонь, напустите тепло.
Бабьего капните там молока,
Чтоб мне смеретушка стала легка.
Выползет червь. Оторвать ему хвост.
Кинуть червя за плечо на погост.
Сами разденьтесь, придвиньтесь к стволу.
Стойте и слушайте черную мглу.
Вскрикнет над речкой петух поутру —
Тут я, Касьян, и помру».

Вспыхнули девки и бросились прочь, —
Дела-то много на летнюю ночь!
Живо березу пустую нашли,
Живо во рту молока принесли.
Тлеет огонь, и закинут червяк.
Голые слушают утренний мрак.
Крикнул петух. И бегут нагишом
С криком и гиком, в веселье большом.
Мертвый ли мертвой невесты жених?
Смотрят — и вправду: застыл и затих.

Ну уж и радость была на селе!
Всё-то село было навеселе.
Как поминали Касьянову смерть,
Водкой заплескали божию твердь.
Как хоронили Касьянову кость,
Горе размыкали бесу на злость.
Вот уж теперь-то село заживет,
Только Касьянушку поп отпоет!
С радости ум да за разум зашел:
Вбить позабыли осиновый кол.

С пóхорон этих трех дней не прошло —
Болестью трех малышей унесло.

Время неделе другую встречать —
Двух мужиков понесли отпевать.
Умерло трое к девятому дню,
Всё-то Касьянову косит родню.
Дальше да гуще, да больше покос.
Месяц неведомо сколько унес.
Взвыло село, хоть с погоста нейди,
Сзади кресты да кресты впереди!

Это Касьян свою деет судьбу,
Знамо, лежит да поганит в гробу.
Знамо, лежит, свои пальцы грызет,
Вот оттого-то народ-то и мрет.
Выгрыз мизинец — знай, мор на ребят.
Выгрыз большой — и большие лежат.
Выгрыз средний — середка села
Скошена в корень, как сено, легла.
Пальцев-то много, а больше людей
Выморил мором Касьян-лиходей.

Вывел село — видно, мало ему.
Да и сидеть нелегко в терему.
Вылез из гроба, продрался насквозь.
Пальцы изъедены, бельма-то врозь.
Саван волочится. Волосы — лес.
Всё разбежалось с земли до небес.
Только кресты на кладбище торчат,
Да нанесло к мертвецам воронят.
Как закричит тут Касьян со всех сил —
Только кресты повалились с могил.

Голосу мало, да колокол есть.
Можно и в саване к маковкам влезть.
Всю колокольню, как влез, зашатал.
Било зубами схватил, закачал —
Раз! И кругом над селом, словно гром,
Медным огнем загудело: бам, бом!
Малые сами звонят: звон силен.
Слышно далёко на много сторон.
Только услышит кто — мертвым падет.
Смертный набат, знать, Касьянушка бьет.

Краешком уха я слышал набат:
Пальцы со страху доселе дрожат.
Крикнул, как всякий с испугу кричит:
Голос доселе скрипит.
С криком бежал от Касьянова зла, —
Где я бежал, там трава поросла.
Только по памяти трав не растет.
Всякую быль кто-нибудь сбережет.
Злую Касьянову быль я сберег,
Спеть ее сел на хозяйский порог:

Ой, хозяева, смекайте!
Уши вострили.
Теперь угощайте.
Много мне, много вина подносили;
За эти за песни и много — немного.
Доро́га да песня и снова доро́га.
Я песельник старый, годов не запомню,
А старое помню, ох, помнюшки-помню!
Хожу да пою. Эй, скрипи, голосина,
Как в поле на ветре седая осина!

⟨1907⟩

РУСЬ

Песни и думы

НИЩ И СВЕТЕЛ, ПРОХОЖУ Я И ПОЮ.
Вяч. Иванов

---

189. РУСЬ

Русь! Что больше и что ярче,
Что сильней и что смелей!
Где сияет солнце жарче,
Где сиять ему милей?

Поле, поле! Всё раздолье,
Вся душа — кипучий ключ,
Вековой вспененный болью,
Напоенный горем туч.

Да, бедна ты, и убога,
И несчастна, и темна,
Горемычная дорога
Всё еще не пройдена́.

Но и нет тебя счастливей
На стремительной земле,
Нету счастья молчаливей,
Нету доли горделивей,
Больше света на челе.

У тебя в глуши родимой
Люд упорней, чем кремень,
Гнет терпел невыносимый
В темной жизни деревень.

У тебя по черным хатам
По́том жилистой руки
Дням раздольным и богатым
Копят силу мужики.

У тебя по вешним селам
Ходят девушки-цветы,
Днем не смяяны тяжелым,
Правдой юности святы.

Горе горькое изжито!
Вся омытая в слезах,
Плугом тягостным разрыта,
Солнцу грудь твоя открыта,
Ты придешь к нему в боях!

1907

190. ГАДАНЬЕ

Распахнула дверь резную,
Снег полночный заскрипел.
На поляну ледяную
Белый месяц поглядел.

Побежала на поляну
Красна девица-краса.
По цветному сарафану
Распустилася коса.

«Ты скажи мне, месяц белый,
Кто мне сужен, при́сужен?»
Недвижим оледенелый
И высокий небосклон.

«Ты кивни мне, месяц ясный,
Если будут сваты к нам!»
Возлетает зов напрасный
К молчаливым небесам.

«Ты не хочешь, месяц милый,
Отвечать мне! Неужель
До безрадостной могилы
Буду я как в поле ель?»

В горе руки заломила,
Слезы искрятся, бегут.
Но в слезах красавиц сила, —
Улыбнулся месяц тут.

И сквозь слезы видит дева:
Он кивает с облаков,
Справа, справа, а не слева, —
Много будет женихов!

1908

191. СВАТЫ

В жемчуга да замуруды
Обрядилася Краса.
Звякнут гусли-самогуды,
В пляску вылетит коса.

Ручкой лебедь лебединой
Возмахнет да поведет —
Сердце всякое кручиной
Да любовью изойдет.

Отплясала. Приустала?
Нет! Пора дары принять.
Вот подходит сват Сусало,
Ну сверкать да ну блистать.

Но Краса, зажмурив очи,
«Отодвинься», — говорит,
И подходит сват Книгочий,
Две псалтыри волочит.

Но Краса уж машет ручкой:
«Волоки, да мимо, сват!»
И уж скрючен закорючкой
Сват Подьячий средь палат.

Но Краса краснее мака:
«Разогнись да отойди!»
И подходит сват Вояка,
Панцирь блещет на груди.

Но Краса ему с упреком:
«Мне и твой жених не мил!
Скольких смял ты конским скоком,
Скольких палицей побил?»

Вьюнош юный, лучезарный
Отвечает поперечь, —
Грудь в кольчуге золотарной,
Весь сияет с ног до плеч.

«Убивал я, да недаром,
Я за Русь разил врагов,
Чтоб твоим волшебным чарам
Дать дорогу из оков».

Отошли в сторонку сваты,
И потупилась Краса:
«Открывай гостям палаты,
Землю, море, небеса!

Не за облаком летучим,
Не в лазури голубой,
Обручаюсь я с Могучим
На своей земле родной».

1909
Васильсурск

192. ВИТЯЗЬ

На распутье витязь дикий
Прискакал.
Камень древний, темноликий
В даль вещал:

«Смерть направо, плен налево,
Прямо бой.
Встанет огненная дева
Пред тобой».

И летит со смехом витязь
В путь прямой, —
Ветры поля! Так стремитесь
Вы домой.

За кочевья кучевые
Сизых туч,
Где небес крутые выи
Режет луч.

Горы витязю — пороги,
Лес — ковер.
Не видал такой дороги
Божий взор!

Не слыхал такого лёта
Мир земной!
Неба прервана дремота,
Вздрогнул зной.

Свищет лук, взлетают стрелы,
Мчится конь.
Вдруг алеет полдень белый:
Дым, огонь.

Встала огненная дева,
Дали нив
Блеском яростного гнева
Озарив.

Витязь ринулся с разбегу,
Бой сверкнул.
О, к какому мчишь ты брегу,
Алый гул?

О, куда пробьешь дорогу,
Витязь, ты?
Не к заветному ль порогу
Красоты?

И не к светлым ли истокам
Бытия,
Где добро не под зароком
Забытья?

1909

193. ВЕРТОДУБ

О молодость, о буйность!
О хмель славянских глаз!
И речек тихоструйность,
И снежных гор алмаз.

Неведомые! Любо
Стоять вам на краю
И деда Вертодуба
Звать громко в жизнь свою.

Вы помните, как в сказке
Вертел дубами он,
И в этой ветхой маске
Вам слышен новый звон.

Эй, рвите их с корнями,
Столетние дубы!
И смело с топорами
За сруб святой избы!

Великой и просторной
И светлой. И для всех.
Чтоб гул стоял задорный,
Гремел весенний смех.

Чтоб дед в гробу дубовом
Под насыпью веков,
Встревожен громким зовом,
Сорвал оковы снов.

И глубину земную
По-старому тряхнул,

На молодость хмельную,
Хмелея сам, взглянул.

И, рухнув в землю снова,
Обрушил за собой
Всю тьму земного крова,
Проклятую судьбой.

1908

194. В СТЕПИ

Я молод, волен, сыт и весел,
В степях иду, степям пою.
Цветною тканью занавесил
Кибитку зыбкую мою.

Цветною тканью скрыл от зноя
Красу Увепы. Сам иду.
Сон тешит тело ей парное,
Любовь темнит ей кровь-руду.

Качают кони шатер уютный,
И ветер чешет гривы им.
В степи мне ветер всегда попутный,
Всегда ложится путь за ним.

Не вью гнезда я своей Увепе,
Кибитка нам всех лучше гнезд.
Вверху лишь небо: днем как степи,
А ночью — пестрое от звезд.

Идти устану — в кибитку лягу,
И сами кони повезут.
И с губ губами хмельную влагу
Тяну, а бусы в сердце бьют.

Житье степное, весна степная!
Иди — люби, люби — иди...
Перед глазами лишь ткань цветная,
Лишь солнце ходит впереди.

1908

195. СИРЕНЬ

Сирень в цвету тяжелом,
И запах как дурман.
А там, по го́рам голым,
Седой, ночной туман.

Чуть виден месяц острый,
А светит на сирень,
На твой платочек пестрый
Из русских деревень.

Ты смотришь, как черница
В стенах святых скитов,
А тут сирень-синица
Поет без голосов.

Пойди ко мне поближе...
Цветистое крыло
Сирень опустит ниже:
Для нас ведь зацвело.

Двуострый полумесяц
Всё небо обойдет...
Ты знала ли май месяц?
Узнай! Душа замрет.

1908

196. ДОЖДЕВИК

Дождик вешний, реденький
Город окропил.
Гнется нищий седенький
На углу без сил.

«Ты куда, откудова,
Старичок, скажи?»
— «С неба белогрудого,
С голубой межи».

«Кто же с неба дальнего
В город попадет?»

— «Не смущай печального!
Видишь — дождь идет».

«А о чем печалится
Дождевик седой?»
— «Скоро ль мук убавится
У земли родной».

1909

197. СНЕГ

Огонь осенний сжег леса,
И убран чахлый хлеб с полей.
Голодный ветер злей и злей
С земли кричит под небеса:

«Дай снега! Снега дай земле!»
Но неподвижна синева,
И бьется ржавая трава
И день и ночь в холодной мгле.

1908

198. РЕКА ЖИЗНИ

Летят метели, снега белеют, поют века.
Земля родная то ночи мертвой, то дню близка.

Проходят люди, дела свершают, а смерть глядит.
Лицо умерших то стыд и горе, то мир хранит.

Роятся дети, звенит их голос, светлеет даль.
Глаза ребенка то счастье плещут, то льют печаль.

Смеется юный, свободный, смелый: мне всё дано!
Колючей веткой стучится старость в его окно.

Бредет старуха, прося заборы ей дать приют.
Судьба и память тупой иголкой ей сердце рвут.

И всё, что было, и всё, что будет, — одна река
В сыпучих го́рах глухонемого, как ночь, песка.

1909

199. ВЕСНА

Застрекотала птица в голых ветках.
И люди в темных, тесных клетках
На солнце, к окнам, как ростки,
От вешней тянутся тоски.

И ты, росток, стремительный и дикий,
Ты, сердце, пламенные клики
Услышав в небе над собой,
Сорвавшись, мчишься в светлый бой.

1909

200. РАССВЕТ

Как сумерки тихи, как ночь еще темна!
Но уж пугливы стали птицы ночи.
Им первым неизбежность ясности ясна,
Смутясь, вращают слепнущие очи.

Уродливы и злы, сцепили дружный круг,
Нахохлившись, сидят — и дыбом перья.
И колет медленный предутренний испуг
Личины лжи, обмана, недоверья.

Еще иная, изогнув зловещий клюв,
Перебирает клочья кожи с кровью,
Но уж, седые космы в сумрак окунув,
Пригнулась ночь к сырому изголовью.

И, костенеющих не опуская век,
Тоскливо смотрит в облака востока,
Где нежная заря поит истоки рек
Огнем взлетающего солнцеока.

1908

201. КОНЬ

Я вижу сильного коня.
Он над обрывом спину гнет
И зло копытом камень бьет,
Так негодующе звеня.

Над ним просторный горный склон,
И ноги силой налиты.
Так отчего ж не мчишься ты
Наверх, под синий небосклон?

Движенья верные тесня,
Стянув два крепкие узла,
Веревка ноги обвила:
Я вижу пленного коня.

1908

202. НЕОТВЯЗНАЯ КАРТИНА

День тяжелый, мутно-серый
Настает.
Кров земли одеревенелой
Плуг дерет.

Десятину распахали
В серый прах.
Петухи кричать устали
На плетнях.

Сохнут вскопанные комья,
Мрет трава.
Даль безлесья и бездомья
Вся мертва.

Лихо вьется по дороге
Злая пыль.
Это вымысел убогий
Или быль?

1909

203. ВЕЧЕР НА ВОЛГЕ

Заря смежает очи.
Уж крылья дальней ночи
Над Волгой шелестят.

Друг друга чайки кличут,
Последнюю добычу
В рябой волне щемят.

Ровнее, глаже, ниже
Ложится берег рыжий
На синий плат реки.

А темный берег тушит
Лучей цветные души
О влажные пески.

1909

204. ГРОЗА

Как стеблями недожатыми,
Вея молньями крылатыми,
Пронеслась
И, спускаясь небоскатами,
В даль впилась.

Громыхая тяжким грохотом,
Колыхая воздух рокотом,
Небо жгла
И со вздохами и хохотом
Отошла.

Как невиданными мрежами,
Над землей дождями свежими
Просвистев,
В мир, лазурью вечно нежимый,
Скрыла гнев.

И, как утренняя лилия,
Скрыв проклятие бессилия,
Свет струя,
Распахнула в жизнь воскрылия
Вся земля.

1909

205. ПЕЧАЛЬНИК

Прошумели дожди и столбами ушли
От реки голубой на равнины земли.

И опять тихий путь в берегах без конца
Вдаль уносит меня, молодого пловца.

Уж и как же ты, даль, на Руси далека!
Уж не будет ли жизнь для меня коротка?

Вон по берегу в гору бредет человек.
Видно, стар, видно, нищ, видно, ходит весь век.

А видал ли края, все ль концы исходил,
Как в последнюю гору поплелся без сил?

Так бери ж и меня, заповедная даль!
Схороню я в тебе вековую печаль.

Уж и как же, печаль, на Руси ты крепка!
Вихрем в песню впилась волгаря-бурлака.

И несешь, и томишь, обнимаешь, как мать, —
Видно, век свой с тобою и мне вековать.

Так пускай же вдали опечалюсь за всех,
Чтобы вспыхнул за мной оживляющий смех,

Чтобы песня взвилась огневая за мной
Над великой, скорбящей моею страной.

1909

206. РОЖЬ

Давно ль по этим косогорам
Ты, пахарь, правил тяжкий плуг, —
И вот над рожью стал дозором
Луны июньской полный круг.

Недвижен колос полуночный,
И стихнул всякий звук полей.

Схоронен труд на срок зарочный
Во власть торжественных стеблей.

Что зреет? Голод, мор и муки
Иль русский праздник — урожай?
Жалей, земля, родные руки
И черным годом не сражай!

1909

207. РОЖЬ

Всколосись, зеленая,
Да во всю-то ширь!
Жизни, рожь смышленая,
Ты ведь поводырь.

Проходил я около
Зеленей твоих,
Глянул оком сокола,
Увидал — затих:

Словно рать отборная,
Из земли встаешь,
Сила чудотворная
Ты, надежда-рожь!

Годы урожайные!
Кабы чаще вы
На поля бескрайные
Гул ржаной молвы

Приносили, милые,
С темноты времен, —
Содрогнулся б силою
Вековой наш сон.

Захлебнулся б волею,
Стал бы сытым мир,
Век светлей и долее,
Шире русский пир!

1909

208. СЧАСТЬЕ

Новый месяц выглянул с востока:
Воротилось Счастье издалека.

«А и где ж ты, Счастье, пропадало?
За какой горою ночевало?»

«Я томилось, Счастье, в той темнице,
Где к окошку не домчаться птице».

«А куда ж ты, Счастье, путь свой правишь?
А кому ж ты ныне бед убавишь?»

«На тебя, на молодца, путь правлю.
Уж и как утешу да забавлю!»

«Что же, Счастье, путь твой так мале́нек:
Вкруг полушки, не рублевых денег?

Ты смени-ка путь свой этот узкий
На широкий да великий русский.

Ты пройди-ка большаками землю,
Где непо́чатые силы дремлют.

Одари-ка всю ее богато,
Расщедрись-ка на ржаное злато.

Уж тогда тебя к себе приму я
В само сердце, как жену родную!»

1909

ИВА

Пятая книга стихов

АНАТОЛИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ ЛЯДОВУ
С ЛЮБОВЬЮ И ВОСХИЩЕНИЕМ

РУСЬ

209. СТРАННИКИ

Давно обветренные лица
О ветры всей родной земли,
Глаза, летящие, как птицы,
Из-под надвинутой скуфьи;

Шаги, стремительно-прямые,
И посох в каменной руке, —
Так соглядатаи немые
Всю Русь проходят налегке.

Им внятен голос гор прибрежных,
И тишина ржаных полей,
И хохот молний зарубежных,
И света лунного елей.

Им слышен черный труд народа,
И все паденья, взлеты все,
И дружный стон людского рода
По истой правде и красе.

Они ушли, серпы и плуги
Отвергнув — божьи плугари, —
Без палиц острых, без кольчуги,
Святой земли богатыри.

И вот встают, встают пред ними
Деревни, села, города,
И даже главами златыми
Не счесть их странствия года.

То лесом темным, то оврагом,
В снегу по пояс иль в траве,
Они идут — и с каждым шагом
Всё ближе к вечной синеве.

На валунах вздыхая древних,
На перекрестках всех молясь,
Сказуя повести в деревнях,
Плетут пути святого вязь.

И где-нибудь в дороге долгой
Услышат с выси голоса:
Проститься с Русью, с тихой Волгой,
Идти теперь на небеса.

И вот когда пред вечным богом
Положат посохи свои,
Какую правду о убогом,
О нашем скажут бытии!

⟨1911⟩

210. НИЩАЯ

Нищая Тульской губернии
Встретилась мне на пути.
Инея белые тернии
Тщились венок ей сплести.

День был морозный и ветреный,
Плакал ребенок навзрыд,
В этой метелице мертвенной
Старою свиткой укрыт.

Молвил я: «Бедная, бедная!
Что ж, приими мой пятак!»
Даль расступилась бесследная,
Канула нищая в мрак.

Гнется дорога горбатая.
В мире подветренном дрожь.
Что же ты, Тула богатая,
Зря самовары куешь?

Что же ты, Русь нерадивая,
Вьюгам бросаешь детей?
Ласка твоя прозорливая
Сгинула где без вестей?

Или сама ты заброшена
В тьму, маету, нищету?
Горе, незвано, непрошено,
Треплет твою красоту?

Ну-ка, вздохни по-старинному,
Злую помеху свали,
Чтобы опять по-былинному
Силы твои расцвели!

1910

211. ГОРШЕНЯ

«Волка ведут? Иль поймали оленя?»
Бабы в селе всполошились кругом.
Нет, это с возом приехал горшеня,
Стал в холодок и обтерся платком.

Сам бородатый, глаза голубые,
С лаской народу поклон отдает:
«Здравствуйте, други! Пора, дорогие,
Старым горшкам на покой да в почет!

Вот вам корчаги, махотры, макитры.
Кашники, блюда, щаные горшки.
Глянь: муровал их художник прехитрый:
Ишь распустил завитки да цветки!

Каждый горшок обжигался с любовью!
Тесто замесишь иль всыпешь крупы —
Всё из горшка едокам на здоровье,
Съевши, умнеют, коль были глупы!»

«Мастер ты басни рассказывать, видно! —
Молвит старуха горшене в ответ. —
Коль для почина не будет обидно,
Дай-ка свистульку для внука, мой свет!»

«Есть и свистульки! — горшеня ответил,
И засвистел он в конька-горбунка. —
Внуков кто любит, — давно я приметил, —
Легкой бывает потом их рука!»

Воз обступили хозяйки-молодки,
Знатно горшеня пошел торговать!
Ну да известно: горшок — товар ходкий,
Надо же людям варить и жевать!

1912

212. ЛАЗАРЬ

Под окно мое, окошко, тихо ка́лики пришли,
Смирноглазые, седые, дети бедственной земли.

И про Лазаря запели дружно, ладно, не спеша,
Будто в этом теле давнем трепетала их душа.

Что мне Лазарь, что мне беды, а заслушался и я
Этой песни заунывной, как иного соловья.

Не слова мне пели: пело безголосое житье,
Засмотревшееся в бездну мировое бытие.

Старец нищий и старуха тосковали: где любовь,
Где земли, подъятой к счастью, нераспаханная новь?

Так легко они сплетали испитые голоса,
Будто с пеньем этой песни исходили небеса.

И улыбкою лучистой все морщины их цвели,
Будто нету лучше песни для людей и для земли.

⟨1912⟩

213. ИВАНУ НИКИТИНУ

Навеки в бронзу воплощенный,
Задумался над Русью ты.
Какой огонь неутоленный
Сквозь эти светится черты!

Какая сила в темном взоре,
Печаль какая на челе!
Увы! Никто нам не повторит
Твой облик в жизни на земле...

Промчалась жизнь твоя в теснинах
Нужды и тяжкого труда,
Но в самых низменных кручинах
Горела над тобой звезда.

Поэт! Задумчивое пенье
Сияющей души твоей
Вся Русь в великом единенье
Хранит, чем доле, тем святей!

Ты пел нам тишину лесную,
И быта сельского уют,
И степь зеленую, цветную,
Как птицы вешние поют.

Но муки, горе и страданье,
И без просвета, без утех
Несчастной жизни коротанье
Ты пел нам, пел — как человек.

Могучей воли взлет свободный
Сломила вековая тьма
И, как недобрый цвет бесплодный,
Поникла пред тобой сама.

13 октября 1911

214—216. *НОВГОРОД*

1

СОФИЯ

Недвижна древняя стена
Твердыни мудрости, Софии,
Пять куполов на рамена
Свои воздвигнула она
По воле вечевой стихии.

И вся бела. Как снег чиста.
Лишь над Корсу́нскими вратами
Спокойный Спас сомкнул уста —
Чернеют выпукло врата
И ангелами и зверями.

Кругом горели города
И дым несчастий подымался.
Но, величава и горда,
София стала навсегда:
Народ с ней тайно побратался.

2

МОНАХ

Идет монах пузатый,
Сверкая булавой.
А Волхов, дед лохматый,
Качает головой:
«Куда, монах пузатый,
Идешь ты с булавой?

Иль сжег опять татарин
Твой теплый монастырь?
Иль ты, от скуки хмарен,
Бывалый богатырь,
Оба́пол пивоварен
Пройтись пошел в пустырь?

Ты в длинной белой рясе,
В веригах, босиком.
Тобой себя украсит
Любой купецкий дом.
А в буйном лоботрясе
Ты будишь грусть тайком.

Смотрю я, старый Волхов,
Качаю головой.
Скучаю втихомолку
О дали вековой...
А всё же ты без толку
Тут бродишь с булавой!»

8

ВОЛХОВ

По берегам седой реки,
Не замерзающей зимою,
Лежат болота-старики
Под белой, доброй пеленою.

А за версту или за две —
Неугасающие свечи —
Монастыри на синеве
Горят, поставленные вечем.

Где топь легла, там город был
С далекими окрест Концами.
И тот же Волхов мимо плыл
С такими ж вольными речами.

Давно уж задремала жизнь,
И сгнили терема в болоте,
И слышится: «Аминь, аминь»
В тоскующей ее дремоте.

Позванивать колоколам
С былою силой надо ль ныне?
Замшенный Кремль, Софийский храм
Стоят далёко, как в пустыне.

И в Ярославовых рядах
Старуха толстая, как в сказке,
Разложит сласти на лотках
И дремлет, дремлет без опаски.

Но беляки седой реки,
Не обмерзающей зимою,
Как вечевые старики,
Шумят отвагою немою.

⟨1911⟩

217. ЛИТВА

В зное шел слепец Литвою —
Пламя песен на челе,
Посох, мальчик под рукою
Да гармония в чехле.

Под колосьями томилась
Супесчаная земля,
Из последних сил делилась,
О покое не моля.

Избы мшистые чернели
То под небом, то у вод.
Сосны ржавые да ели
В редкий жались хоровод.

Ветер бегал, злой и жадный,
В желтом облаке песка.
Зорко ястреб беспощадный
Метил жертву свысока.

Долго шел слепец Литвою,
Да не ведал, не видал,
Что пустыней, чуть живою,
Темный путь его лежал.

«Не видать ли где деревни?» —
Он спросил поводыря.
Подымалась силой древней
В нем певучая заря.

И, махнув рукою строго,
Чтоб к обочине подвел,
Сел он тут же, над дорогой,
Снял с гармонии чехол.

Наложил персты как надо,
Растянул, взыграв, мехи
И запел с тоской-усладой
Заунывные стихи.

Под созвучия густые
Сказ летел с иссохших губ
Про годины золотые,
Про зеленый вечно дуб.

И звучало жутко пенье
В одинокой пустоте,
Лишь сквозь бред оцепененья
Ветер злее шелестел.

Да в сухой траве мальчонка,
Озираючись вокруг,
То смеялся звонко-звонко,
То заслушивался вдруг.

⟨1912⟩

ЗАХОЛУСТЬЕ

218. ЗАХОЛУСТЬЕ

И здесь, и здесь, в последнем захолустье
Ты, родина моя!
Реки великой высохшее устье
У моря бытия.

Какие волны вскатывали пену,
Какая песнь плыла!
И всё судьба медлительному тлену
Без вздоха отдала.

Дома седые, слепнущие окна,
  И люди как дома.
Березы, как надломленные, сохнут
  И вся тоска — нема.

И даже звон, всерусский, колокольный.
  От боли безголос:
У меди сердце — вестник жизни вольной —
  Давно оборвалось.

⟨1912⟩

219. ПЕСЕНКА ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

Сели мещаночки на приступочке
Потолочь водицу в ступочке,

Скороговоркой похвалить вечер аленький,
Поскулить, у кого жених неудаленький.

Грызут себе жареное семечко,
Хулят теперешнее времечко.

Мимо них петух переваливается,
Потихоньку избушка разваливается.

Волосок за волосиком белится,
Скоро мучка и вся перемелется,

Из-за плечика станет поглядывать
Да худые загадки загадывать

Не соседка какая, бездельница,
А хозяйка сама, рукодельница,

Без косы не приходит которая,
На разруху на всякую скорая...

Уж и только присели мещаночки,
Глядь — лежат на земле бездыханочки.

А другие сидят на приступочке,
Ту ж водицу толкут в той же ступочке.

1910

220. ПОСТ

Над церковкой старой
Глухие удары
Двух колоколов.
И тянет старушек
Из темных избушек
Вечерний их зов.

Из низкой калитки
В лиловой накидке
Выходит одна.
Соседка нагонит,
Улыбку схоронит,
Печали верна.

Пойдут потихоньку,
Потом полегоньку
Начнут разговор:
Как воск дорожает,
А свечка тончает,
На пчел, видно, мор.

Чиновник в отставке
Навстречу им с лавки
Любезно встает.
До паперти тряской
Дорогою вязкой
Старушек ведет.

У входа судачат,
А нищие плачут
И руки суют.
А звон колокольный
Над жизнью бездольной —
Как ласковый спрут.

⟨*1912*⟩

221. ЧАСТУШКА

Как пошли с гармоникой —
Скуку в землю затолкай!

Как пошли по улице,
Солнце пляшет на лице.

Горюны повесились,
Пуще, сердце, веселись!

Выходите, девицы!
Мы любиться молодцы.

Не зевайте, пташеньки!
Стали вешние деньки.

Запевай, которая!
Будешь милая моя.

Рыжая, подтягивай!
Или в горле каравай?

Черная, подмигивай!
Ветер песней задувай.

Ох, гуляем по миру,
Распьянилися в пиру.

⟨1912⟩

222. ПОЛДЕНЬ

Везут возы, скрипят колеса,
И сено сыплется в пути.
Ступень небесного откоса
Не хочет солнце перейти.

Стоит в зените, как застыло.
И всё застыло. Белый день.

Под всякой веткой приуныла,
Сожгла края и сжалась тень.

Тяжелый воздух покачнуться
Не может сколько уж ночей!
Ослепшим окнам не очнуться
От гнета каменных лучей.

Петух, сиятельный и томный,
Дорогу вздумав пересечь,
До колеи добрел укромной
И в ней засел до синих плеч.

А за калиткой, в чаще яблонь,
Вся в алом, косы распустив,
Дрожит, как будто в зной озябла,
Гневясь, что милый не ретив.

Иду! Иду! Крута дорога,
И полотенце тяжело,
И в кудрях длинных Волги много.
И солнце грудью налегло.

Еще один бугор — и махом,
Через крапиву, напрямик,
Чтоб, обжигая жарким страхом,
Услышать счастья робкий крик!

1909

223. ЛЕТО

Умолкли птицы. Медлят грозы
Нагрянуть на иссохшие поля,
И на опушке темные березы
Узорных листьев обожгли края.

Урвав у жатвы отдых двухминутный,
Под тенью стога парень-красота,
Почуяв жар в груди своей могутной,
Целует жнице влажные уста.

Река течет лениво и мельчает
У берегов песчаных и мелей.
А ветер в дебрях облачных скучает:
Ему стремленье тишины милей.

1910

224. РОМАНС

Горят поля в молчанье нелюдимом,
К цветам цветы склоняются пугливо,
Вечерняя земля заманчиво красива.

Будь жестким, сердце, будь неумолимым!

Темнеет день. Любимые к любимым,
Окончив трудный день, спешат неторопливо,
Росою плачет скошенная нива.

Будь жестким, сердце, будь неумолимым!

Ночным крылом прикрытая незримым,
По окнам смерть стучится за поживой.
Последний час трепещет сиротливо.

Будь жестким, сердце, будь неумолимым!

⟨1912⟩

225. СЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР

Свеял вечер синекрылый
На поля, дорогу и село.
К краю огненной могилы
Без тревоги солнце прилегло.

Стадо с пастбища вернулось
И бредет, ища своих ворот,
Где старуха изогнулась
Иль ребенок с хворостинкой ждет.

В окнах лица испитые —
Эй, заря, румянец наведи! —
А в глазах огни святые,
Как у неба ночью на груди.

На полях снопы нечасты
В золотой щетине поднялись,
И с бугра лесок вихрастый,
Как и смолоду, всё рвется ввысь.

Единицей в небе тихом
К югу дружно тянут журавли,
Добрый путь вам! Всё же лихом
Не помяньте горестной земли...

1909

226. ОСЕННЕЕ УТРО

Нагорные села лежат в облаках.
Клубятся туманы в долинах и рвах.

А солнце всё дышит теплом и огнем,
Сулит подарить ослепительным днем.

Пронзают лучи золотые туман,
И капля за каплей спадает обман.

То высунет ветку береза из мглы,
То мокрая крыша прорежет углы.

Там тень промелькнет, как из давнего сна,
Слышнее для уха, чем глазу видна.

Тут голос прокрикнет, труня над бедой,
И кто-то помашет рукою седой.

То птица провеет трусливым крылом,
То скрипнет телега сырым колесом.

И вдруг, словно небу земли станет жаль,
Блеснет синевою небесная даль.

И, словно гонимый налетами бурь,
Туман полетит, обнажая лазурь,

Являя в лучах, что живет, чем живут,
И дикость растений и сельский уют.

⟨1909⟩

227. ЛИСТОПАД

Опять летят листы, лелея
Воздушный миг, короткий миг.
И, багрянея и алея,
И в золотом уроне млея,
Осеннецветный лес затих.

Но не уныл и не печален,
А только тих, премудро тих,
Как глубь подземных усыпален,
Где схимник, свят, боговенчален,
Почиет, волен от вериг.

⟨1909⟩

228. ЗИМОВЬЕ

Опять, зеленая, родная,
Ты поседела, Русь моя!
И племя прячется шальное
Под кровлю хилого жилья.

Там, по опушкам, где овраги
Срывают бесконечный лес,
Последний лист, как я убогий,
Взлетел, вскружился и исчез.

Последний свист осенних дудок
Там пролетел и вземь ушел,
И вот стоит, и нем и кроток,
Осенний лес, и сир и гол.

А за кладбищенской оградой,
На новосельях, по гробам,

Довольны зимнею погодой,
Перекрестились смерды там.

Там, на пустых полях, щетина
Прикрасилася сединой...
В стенах, не вырвавшись из плена,
Я тут, проклятый и шальной.

⟨1911⟩

229. В СНЕГАХ

Последний день глухого грудня,
Седого месяца снегов, —
Всё те ж томительные будни,
Неумолимый лёт часов.

Занесены родные дали,
И в деревнях на зимний сон
Избушки к матери припали,
И стон их темный занесен.

Вкруг колокольни свист метели,
Своей могилы не найти,
И вопли бешеной свирели
Сбивают путников с пути.

И где-то там бреду я полем
(Ужель я здесь, я здесь живу?)
И всем бездольным русским долям
Несу счастливую молву.

И светел я, и шаг мой верен,
И без дорог тропа видна.
Мне щедро дальний путь отмерен,
Судьба далекая дана.

Совьется ночь, к земле приляжет
Иль прозвенит рассвет огнем —
И тьма и свет одно мне скажет
О солнце, господе одном.

⟨1912⟩

КАЛИКИ-КАЛЕКИ

230. ОТДАНИЕ МОЛОДОСТИ

Я схоронил тебя в дремучей чаще,
О молодость моя!
Но как кремни из вражьей пращи —
Мне память младобытия.

Стонал и лес под звон моей лопаты,
И рвался ярый конь,
И мой закат, как все закаты,
Рыдая, алый жег огонь.

А я бросал земли взрыхленной комья,
Бесстрашный и немой,
Как истый вскормленник бездомья,
Пошедший по́ миру с сумой.

И, разнуздав коня, пустил в раздолье
Его звериный гнев.
И, окрещенный первой болью,
Упал меж дремлющих дерев.

Когда же встал, свисали в явь созвездья,
И зоркая сова
Вещала правоту возмездья,
И ночь настать была права.

1909

231. БЕЗРУКИЙ

Рука ль моя ты, рученька,
В Маньчжурии-земле.
Безрукенького, ноченька,
Баюкай и лелей.

Моя дорога дальняя —
Весенние поля,
Далась мне доля вольная:
Ходи себе, гуляй.

Хоть вышел я в метелицу —
Настигнула весна.
Возьмуся за околицу —
Чай, лето начинай.

А может быть, а может стать,
С дороги-то сверну,
Незнамо где пойду плутать
Вдали страны родной.

И в церковку куда-нибудь
Далече забреду.
В слезах почну поклоны бить,
Душе велю: рыдай!

По той моей околице,
Где девки, чуть весна,
Плясать пойдут метелицу
С другими, не со мной.

Где сам плясал, рыдающий,
От девок без ума,
Рукой своей пропащею
Любую обнимал.

По той любимой родине,
Которой далеко
Красавице-уродине, —
Пожертвовал рукой.

⟨*1912*⟩

232. РАССТРИГА

Слова молитв я перепутал
И возгласы все позабыл,
И по задворкам, по закутам
В чумазый войлок косу сбил.

И чаще, чем кольцо кадила
Когда-то в руки тихо брал,
Душа обычай заучила
С бутылью лезть на сеновал.

Но после выпивки обильной
Я замечаю каждый раз —
Увы — неудержимо сильно
Спадает знаменитый бас.

Что ж делать! Жизнь была — акафист,
И мог бы, мог бы дочитать,
Но вдруг, как дьявольский анапест,
Всё бурно повернулось вспять.

Не смею я ступить на паперть,
И колокол не для меня
На полевую льется скатерть,
На ласковые зеленя.

Когда я трезв, в душе крушенье,
Когда я пьян — всё трын-трава!
Эх, тесное коловращенье!
Ох, бедная ты голова!

Бывает редко: крылья зорьки
Над тихим возмахнут леском,
Затаивая воздух горький,
Смахнешь слезу себе тайком.

И за стволы березок белых,
В зеленый, незапретный храм,
От мытарств, от людей тяжелых
Спасешься, крадучись по мхам.

И там из уст своих нечистых,
За шепотом скрывая дрожь,
Как огонек с болотин мглистых,
Опять молитву вознесешь.

⟨1911⟩

233. МОНАХ

И пахучее тело твое,
И тепло твоего поцелуя
Замутили мое житие,
Зачадили мое аллилуйя.

Был уж виден терновый венец
Над моей молодой головою,
А теперь ведь спасенью конец:
Омрачилося имя молвою.

Я ли кельи своей не стерег,
Не гонял полунощных видений,
Не пускал и змеи на порог,
Не хранил глубины от сомнений!

Всё ж настигла беда вдалеке!
У полей, под плакучей березой,
На зеленом, крутом бугорке
Занозился любовной занозой.

И откуда взялась у полей
Не русалка, не девка — немая,
А хохочет чертей веселей,
Льнет змеею, как хмель обнимая.

Я молитву трикраты прочел,
Очурался и плюнул трикраты —
И за нею, косматой, пошел
За кусты, прямо в лес кудреватый.

Что там было — и вспомнить нельзя!
Губы в кровь искусала русалка.
Ох, сладка ты, земная стезя,
Коль Адамова рая не жалко!

Как в дурмане, по келье хожу,
На бугор по сто раз залезаю,
И в пустынные дали гляжу,
И занозу всё глубже вонзаю.

Так прощай же навеки, скуфья,
Аналой и печальные книги!
Упорхнула судьбина моя
Под иные, живые вериги.

Буду пó миру вольно бродить
И разбойником, стало быть, буду,

Встречных девушек люто любить
И всё верить нежданному чуду.

Девью силу я буду бороть,
Что ни ночь; то охота иль битва:
Пусть без срока безумствует плоть,
Пусть ловца не замучит ловитва.

Чтоб в последний таинственный миг,
Как мне явится снова немая,
Всё отдав ей, любовью изник,
Смерть страстну́ю светло́ принимая.

⟨1911⟩

234. ВОЛК

Я, с волчьей пастью и повадкой волчьей,
Хороший, густошерстый волк.
И вою так, что, будь я птицей певчей,
Наверное бы вышел толк.

Мне все равны теплом пахучим крови:
Овечья, курья или чья.
И к многоверстной волчьей славе
Невольно приближаюсь я.

Глаза мои тусклы при белом свете,
Но в темноте всегда блестят,
Когда идешь себе к окрайной хате
И, струсив, псы в дворах молчат.

Я властелин над лесом и сельщобой,
Я властелин почти над всем.
Но и моя душа бывает слабой,
Мне есть умолкнуть перед чем.

Есть дверь одна в каком-то захолустье,
И пахнет кровью — чьей забыл.
Мне увидать ее — несчастье
Похуже деревенских вил.

Я в мокроте́ готов бежать болотом,
Я по оврагам рад скакать,
Чтоб на пороге ни ногою этом,
Ни даже глазом не бывать!

И, ускакав, дрожу в лесу от страха
И вспомнить всё же не могу.
И, заливаясь, будто бы от смеха,
Себе и всякой твари лгу.

И лют бываю, как заголодалый,
Обсохнуть пасти не даю.
Как бешеный, как очумелый,
Деру и пью, деру и пью.

И всё ж, когда конец житью настанет,
Я все владенья обойду
И на порог, откуда в жизни гонит,
Шатаясь, издыхать приду.

⟨1912⟩

235. НОЧЬ

Г. И. Ч⟨улкову⟩

Куда заброшено ты, солнце, ввечеру?
И отчего с зарей твоей я, светлый, мру?

Как будет ночь длинна, темна! Опять плывет
Совиный плач и крыльев распростертых гнет!

Не воют псы. И люди смолкли по домам,
И влага сонная к цветочным льнет устам.

Кто пьян теперь, тот прав. Но нет давно вина,
Которым бы моя душа была пьяна.

Я буду медленно по улицам ходить
И жуткого пути седую нить сучить.

Увяжется, быть может, нищая за мной
И кто-нибудь еще — под темной пеленой.

А колотушка выколотит о доску́
Ночного сторожа дремучую тоску.

А звезды высыпят, как яблоновый цвет,
Которому ни веток нет, ни корня нет.

Подслушать песню колыбельную в окне
Так хорошо, бродячему ребенку, мне!

И нищая к груди сухой меня прижмет.
А та, что в пелене, тихонько запоет.

И будет песнь ее похожа на мою
Любимую, родную: баюшки-баю.

Качай, земля, троих ночных детей своих
В лучах полуночных, в теснинах мировых!

Там солнце дальнее несется в холод сфер.
Здесь скорби замкнутой земных не стало мер.

1911

236. ВИЙ

Из-за тридевять буйных веков,
Из-за тьмы, из-за мглы непроглядной,
Из-под спуда седых валунов
Вылезает корягой неладной.

Кожа сморщилась, тряпкой висит.
Зубы сыпятся белой трухою.
Видно, кол ему мимо был вбит:
Не сыскал под землею покою!

Да и что за лежня́ под землей?
Темнота да жара донимает.
И наверх, осерчавший и злой,
Продирается Вий, вылезает.

Поглядеть захотелось ему
На житье на бытье молодое.

Вылез. Видит петлю да суму.
«Это, — думает, — что же такое?»

«Подымите мне веки! — кричит. —
Я не вижу ни счастья, ни воли».
Стон к земле приунылой прибит.
Думал: люди не стонут уж боле!

Эх, ты, старый мой, глупый мой Вий!
Дай-ка веки покрепче прихлопну!
Ли́ше наше житье всех жити́й!
Зря ты вылез из теми утробной!

Как в смоле мы кипим, а живем,
Даже песни поем и смеемся.
Слезы капнут — мы песни не рвем,
Смеючи́сь, рукавом оботремся.

Тяжковекий! Тебе не понять,
Что за жизнь, что за дело земное.
Ты прощай, поворачивай вспять,
Мы ж опять за свое, за хмельное.

Только молви ты шару-земле,
Чтобы злаком сильней обрастала
Да за солнцем в неведомой мгле
Веселей, веселее летала!

⟨1911⟩

237. УМНЫЙ ПОКОЙНИК

Ветер лист сорвал.
Вихорь жизнь задул.
Желтый гроб везут.
Ярый конь заржал.

Зажигай фонарь,
Забивай же гвоздь!
Да, срывая злость,
Хоть коня ударь!

Ветер сыплет лист,
Все грехи в руках.
Пасть разинул мрак,
Путь на небо чист.

«Выбирай же путь!
Отвозить пора».
— «На бугор с бугра,
Хоть куда-нибудь.

На любом пути
Где-нибудь свали:
Никуда с земли
Не хочу уйти!»

⟨1912⟩

238. ПЕСЕНКА

Жутко жить и весело.
Смерть капканы свесила.
В мире стукотня,
А над миром тишь.

Там рожок охотничий,
Тут топорик плотничий —
Все тебе родня,
Рыщешь и летишь.

Други все и вороги
В буйном лёте дороги:
Это ведь земля!
С солнцем ведь летит!

Кровью побалуемся,
А потом целуемся:
Пьяная земля
Быть земным велит.

⟨1912⟩

239. ПОЭТ

Тут, на углу, в кафе нескромном,
Чуть седоватый, чуть хмельной,
Цилиндр надвинув, в позе томной,
Всю ночь сидит поэт земной.

Друзей меняют проститутки,
Вино меняется в стекле.
Он смотрит, неизменно чуткий
Ко всем явленьям на земле.

Старуха жизнь, играя в жмурки,
Показывает вновь и вновь
В вине сверкающем окурки
И в твари проданной любовь!

Он смотрит с доброю усмешкой
На простенькие чудеса...
А там Медведица, тележкой
Гремя, ползет на небеса.

⟨1912⟩

ДЕВИЙ ЛИК

240. ВИХРЕВИК

Ты откуда же, откуда
Прилетаешь, Вихревик,
В туче свиста, гула, гуда
Обнажая дикий лик?

Дева с юношей гуляла,
Взявшись за руку спроста.
Ты сверкнул — и небывало
Их смыкаются уста.

Голубь с белой голубицей
Реял в тихой синеве.
Ты взглянул — и птица с птицей
Бьются трепетно в траве.

Плавал облак над землею.
Вдруг он с нею, темно-ал,
Скручен молоньей тугою —
Ты вдали захохотал.

Две звезды во тьму летели,
Ты нагрянул — и, взвихрясь,
В огневом едином хмеле
Жизнь их звездная слилась.

Вихревик мой светлый, дикий!
Ведь тебе моя весна,
Как разливу берег тихий,
Беззаветно отдана.

Жги и лютуй без пощады:
В пепел тело обрати,
Душу в мире сквозь преграды,
Сквозь пределы размети!

⟨1912⟩

241. СКАЗКА СТАРАЯ

Сказка старая: рыбак
Полюбил наяду.
Был силач он и простак,
И рыбачил смладу.

А она в глуби морской
Жемчуга, кораллы
Собирала в свой покой
Под седые скалы.

Так бы всё и шло всегда,
Да случились бури,
С моря темная вода
Встала до лазури.

И наяду под скалу
Выбросило валом,
Где рыбак дрожал в углу
На челне удалом.

Бури спрятались на дно,
А любовь осталась.
Сердце — всем оно дано —
У наяды сжалось.

День прошел, а может, три,
Поцелуи крепнут.
Звезды в небе до зари
Перед страстью слепнут.

В берега стучит челнок.
Камни пена лижет,
Белый движется песок,
Время крылья движет.

Сказка старая: рыбак
Разлюбил наяду.
Только хлынет с моря мрак,
Нет с душою сладу.

Только солнце на восток,
Берег песней стонет:
«Унесет меня челнок,
Ветер не догонит».

«Уплывай, рыбак, домой,
Милый, милый, милый!
Поплыву я за кормой
До последней силы.

Во глубинах тишина,
Голубые дали.
Смерть морская всем одна —
Без людской печали...»

Сказка старая: рыбак
Тридцать лет рыбачит,
И о ком — забыл, простак, —
В бурю море плачет.

⟨*1908*⟩

212. ЛАНЬ

Софии В⟨ышнеградской⟩

Всю ночь мне снился необычный —
О, про тебя ли — этот сон:
Гудят леса, взлетает зычно
Рогов призывных вопль и стон.

Разгоряченный кровью дикой,
Мой конь несет меня сквозь лес,
Но я, охотник, я, владыка,
И нем и бледен, как мертвец.

Там, в сонной дали перелесков,
Где жизнь звериная дрожит
Под тайной волей звездных блесков, —
Подранок ласковый бежит.

Ее я ранил, лань лесную,
Но я убить ее не мог!
Всю душу, от убийств хмельную,
Туманный взор ее ожег.

Она, дрожа, остановилась
И даже ближе подошла.
А под коленом кровь струилась,
А очи застилала мгла.

И я, охотник, я, владыка,
Коня в смятенье обратил
Перед огнем любви великой,
Который зверя озарил.

Трубят рога, конец охоте,
Мой конь несет меня в лесу.
Ликуют псы. Но, как в дремоте,
Я в тихую гляжу красу.

Домчал к привалу конь вспененный,
И слухом, глохнущим в стрельбе,
Вокруг я слышу гул смущенный:
«Тут девушка пришла к тебе».

И вижу я: остановилась
И даже ближе подошла,
А под коленом кровь струилась,
А очи застилала мгла.

И тихо руку протянула
И молвила: «Твоя раба».
Я знал: единственного дула
Так пуля подстрелить могла.

Я крикнул: «Вихорь!» Пес из своры
Ко мне, любимый, прибежал,
И с шеи пса рукой нескорой
Я цепь серебряную снял.

И ей, рабыне богоданной,
У раны пламенной сцепил,
Чтоб знак неволи долгожданной
Навеки памятен ей был.

«Узнай меня, — я молвил тихо. —
Иди за мной!» — воскликнул я.
И, как лесная повилика,
Поникла пленница моя.

Так снилось мне. Но эти брови,
Свободные твои глаза
Ужель такой хотят любови,
Какой траву гнетет гроза?

На нежном звере цепь сцепилась.
Но гордые — твои черты.
Ужели ты во сне мне снилась?
Ужели снилася не ты?

⟨*1912*⟩

243

Я днем люблю какую-то дикарку
С дрожащим и несытым ртом,
С зубами дикими и кровью жаркой,
С покатым и широким лбом.

И днем мне кажется, что с нею, пьяной,
Я об руку всю жизнь пройду
Доро́гою, всегда от солнца рдяной,
В живом, как зарево, бреду.

Но вечером, когда на миг смолкает
В людском звериное, а тьма
Еще неслышимо вокруг летает,
Уходит ярость от меня сама.

Я нахожу в себе такие струны,
Какие в ангелах и детворе
Почти божественно и юно
Поют на утренней заре.

Тебя я вечером люблю. В сиянье
Твоих забывчивых и черных глаз,
Где вспыхивает вдруг страданье,
Где гневный загорается алмаз.

И, выгнутых искусством поколений,
Люблю тоску твоих бровей
И у ресниц замученные тени
Неведомых тебе страстей.

⟨1912⟩

244. ПОЛУВЕРКА

Глаза лукавы и приветливы,
И щеки под платком белы,
И в белом вся. Но оком сметливым
Я вижу дочь любимой мглы.

Ведь полногуба ты. И ведомо,
Как будешь цельно приникать,
Под молодецкою победою
Задумываться и вздыхать.

Ведь грудь твоя блясто́ю скована,
Как будто на войну летит,
И, знамо, ждет, кому даровано
Серебряный отринуть щит.

Ведь с малых лет блаженной ликвою
Твоя душа опалена,
И под застенчивой улыбкою
Ты богу ярому верна.

Мне речь твоя, протяжно-томная,
И непонятна и нова,
Как будто звуки все любовные
И ласковые все слова.

Моя, моя, в веках стремительных,
Ты, облеченная во свет!
В очах хранящая томительных
Первоначальной тьмы завет:

Окутываясь мглой пречистою,
Живого мира колыбель
Качай, кружи, стреми неистово,
В родимый возвращаясь хмель!

⟨1912⟩

245. ЧЕРНИЦА

Опять мне снился этот город,
И башенки, и купола.
И был безудержно я молод,
А ты такой, как есть, была.

С косой, раскинутой, как ночи
Раскинуто вверху крыло,
Что даже звездам вечным очи
Закрыть бы тьмой своей могло.

С руками лебединой шеи
Белей, нежнее и стройней,
И с поступью летуньи-феи
Или заоблачных теней.

Я под окном печальной кельи
В улыбке огневой стоял,
И страсти первое похмелье,
Как первый поцелуй, вдыхал.

Вставало солнце, и деревья
Дрожали вешнею листвой,
А сила солнечная, девья,
Всё узывала в трепет свой.

Уж ты не раз мне прошептала:
«Прощай, нежданный! Уходи», —
И строгою такою стала,
Как у иконы на груди,

Когда в молитве жемчуг ризы
Лобзаешь с детской верой ты,
А голубь ласковый и сизый
Благословляет с высоты.

Но локон длинный, локон темный,
Спускающийся из окна,
Я целовал — и чаше томной,
Вину весны, не ведал дна.

Уж соловьи встречали утро,
И пели снова купола,
А ты с улыбкой тайномудрой
И не пускала, и гнала...

Я просыпался — ночь, лампада,
Тоска последнего письма:
«Я ухожу — прощай, не надо! —
Пока могу уйти сама».

⟨1912⟩

246. ШАРМАНЩИЦА

Я итальянка... Не забыла я
Отчизну теплую свою.
Поет шарманка заунывная,
И я без устали пою.

Криклив мой голос, и надорван он,
А в песне жалкая мольба,
Как будто жадным черным вороном
Моя заклевана судьба.

Желто́ лицо, и веки тянутся
Печальные глаза закрыть.
Ведь если с родиной расстанутся,
Не могут люди долго жить.

С собой дочурку загорелую
Плясать под пенье привезла.
Зима своей метелью белою
Без жалости ее смела.

Да и сама я дни унылые
Докоротаю как-нибудь,
И лишней взгорбится могилою
Чужой земли немая грудь.

⟨1912⟩

247. ГАДАЛЬЩИЦА

«Воску щедро натоплю,
Гляну, вспомню и пролью.

Сердце правду скажет мне,
Воск покажет на стене.

Коль остынет островком,
Жить у моря с рыбаком.

Коли выльется конем,
С милым кочевать на нем.

Коли выну птицу я,
Улетит судьба моя».

Воску щедро натопив,
Смотрит в воду на разлив.

Счастье вынула свое:
Остров, конь и птица — всё!

Как же так? Судьба молчит.
Бабка с печки говорит:

«Будет рыбарь и ездок —
Воля сердца не порок.

Будешь птицей ты сама —
Жизнь на свете не тюрьма».

(1912)

248. ВЕДРИНОЧКА

М. А. Ведринской

Я в вёдро родилась — любите, люди,
    Меня, весеннюю меня.
Я знаю сказку о веселом чуде,
    О стрелке солнечного дня.

В клубочек маленький свернувшись юрко,
    Под снегом беленьким — вот так:
Как будто беличьей накрывшись шкуркой,
    Дремала я в печальных снах.

Меня баюкали — «Бай-бай!» — метели,
    И вьюги пели: «Баю-бай!»
А где-то птицы вешние летели
    Из дальних стран в родимый край.

И вдруг я чувствую: чуть-чуть кольнуло
    В сердечко, будто бы иглой,
И что-то тоненькое проблеснуло.
    «Ты что?» — «Я лучик золотой».

«Чего ж ты колешься так очень больно?»
    — «А ты не спи, когда весна!»
Слезинки брызнули из глаз невольно:
    Ведь не поймешь всего со сна!

В слезинках ясных вся земля сияет,
    И шкурки нет на мне как нет,
И всюду шкурка беленькая тает,
    И яркий, яркий льется свет.

«Весна, весна! Так вот она какая!» —
Вскричала я — и родилась.
И вот, очей весенних не смыкая,
Я с вами, люди, понеслась.

⟨1910⟩

249. ПОЛОНЯНКА

Ночевал ушкуйник в заозерье,
Натыкал на остры стрелы перья.

Полонянка на песке лежала,
Под жгутами язвы ныли ало.

Под бровями голубели тучи,
Над лицом туман стоял плакучий.

«Уж скорей кончай меня, ушкуйник,
Будь убивец, будь ты поцелуйник!»

За осокой звонко звякнут стрелы,
Дерганет дергач из дали белой,

И опять лишь слезы да проклятья:
«Далеко ж вы, милы мать и братья!»

Проходил монах на богомолье
Во скиты, в дремучее раздолье.

«Уж пойдем, красавица, со мною
В свет Ерусалим под тьмой лесною!

Ты бросай, ушкуйник, стрелы, перья,
Чай, замков-то нет над райской дверью!»

Тут возрадовалась полонянка.
Загрустил ушкуйник спозаранка:

«Рано б во́ клеть силам необорным,
Всё ж пойду с тобою, спасом черным».

И пошли ушкуйник да девица
За монахом, как за птицей птица.

Солнце к утру всходит в тучах сизых,
Будто образ светлый в древних ризах.

Как и стал ушкуйник тосковати:
«Погубил тебя я, воля-мати!»

Ухватил рукою сук дубовый:
«Вот Ерусалим монаху новый!»

Стукнул бой лесам на поруганье,
Пал ушкуйник — божье наказанье!

Залилась слезами свет девица,
Как новорожденная вдовица.

«Уж пойдем, красавица, со мною,
Утешись утехой неземною!»

И с пути святого не свернули,
Только очи злобой сверкану@.

Проходили лесом, высью, логом,
Оба одаль и в молчанье строгом.

Пробирались гатью по низине,
И завяз монах по грудь в трясине.

Уж и как вдова захохотала:
Толканула ладно — видно, мало!

«Вот теперь ты, миленький, по плечи,
Скоро облик спрячешь человечий.

Уж тогда вернусь к нему стрелою
Да наплачусь всласть над долей злою!»

⟨*1912*⟩

250. СКАЗКА

Сват земли беспечный —
А погост в лесу —
У косящей вечно
Попросил косу.

Дело летом было.
Месяц плыл изок.
Вкруг любой могилы
Сенокос высок.

Выкосил опушки —
Выросли грибы.
Поутру старушки
Не идут в гробы.

Первая — зеленых
Всех поганок мать, —
Мало слов мудреных,
Чтоб ее назвать.

А вторая — белых
С голубой ногой.
Третья — желтотелых
С синей головой.

Нет им всем названья.
А пожить хотят!
Всякие даянья
Косарю сулят.

Хочешь бабью челюсть
Или череп чей?
Ведь работа — прелесть! —
Токарей-червей.

Или позумента
Краюшек какой?
Мертвый локон с лентой
Или зуб сухой?

Соблазнился косарь
И пустил пожить:
Видно, сердце просырь
Принялась мягчить!

Начала сначала
Первая житье.
Всё зеленым стало
От грибов ее.

Вдруг заголубело,
Зажелтело вдруг.
Сердце обомлело,
Придавил испуг.

Весь грибьем поганым
Зарастет погост!
Что же с божьим станом
Деет этот рост?

Пуще лихоманки
Косаря трясет.
Стал косить поганки —
Их еще растет.

По крестам могильным,
По немым буграм,
По тропинкам пыльным,
По живым стволам.

Бело-голубое,
С желтизною синь, —
Распростись с судьбою!
Тут всему аминь!

Рухнул косарь наземь.
Охнуть не дала,
Как единым разом
Погань обросла.

Скрылась человечья
Старая краса.

Только у заплечья
Высится коса.

Пляшут три старухи
По грибам своим.
Нету обирухи
Ни грибью, ни им.

Та, что косит вечно,
Тихо подошла
И с улыбкой вечной
Косу унесла.

⟨1912⟩

251

Послушай море:
Услышишь сердце
Глубин морских.

Послушай сердце:
Услышишь море
Страстей людских.

⟨1912⟩

ВЛАГА ЛЕСНАЯ

252. УТРО

Рожок пастуший,
И птичий крик
Заре дрожащей,
И солнцелик,
Светло всходящий,
Печали рушат.

За краем кручи
Живой костер
Из стрел гремящих

И в стрелах взор
Очей родящих
Восторгам учат.

И в синем своде
Косматый конь —
Душа движений,
Всех сил огонь —
От песнопений
На жизнь уводит.

1909

253. ВЕЧЕР

Крылатый, лохматый,
С буй-молотом тяжким,
Как полдень заплакал
И в чащах пропал, —
Закованный в латы,
По рвам и овражкам,
По травам и злакам
Кузнец прискакал.

Не дрогнули сосны,
Бессмертные девы,
На быстрой дороге
Увидев коня.
И сумерек росных
Бесшумные зевы
На берег отлогий
Качнулись, темня.

Кузнец размахнулся
И золотом старым
Стволы вековые,
Смеясь, оковал.
И с первым ударом
От корня до выи
Весь лес содрогнулся,
Как жар запылал.

Сверкучие искры
На тонкую хвою
В кипучую зелень
Снопами летят.
Смеется им быстрый,
Своей огневою
Работою хмелен,
Реснитчатый взгляд.

⟨1912⟩

254. СОСНОВАЯ ДРЕВЕНИЦА

Под сосенкой молоденькой до вечера лежу,
В песке кружок вокруг себя ногою обвожу.

И жарко мне, сомлела я, и весело одной.
Я розовая, белая, с пушистою спиной.

С кукушкою тоскующей вдруг ссору заведу,
У сосенки плодящейся все шишки украду.

Мальчонку человечьего про счастье поспрошу,
Вихры приглажу ласково и грудью задушу.

Как с неба глаз пронырливый закатится во мглу
И зарево последнее упрячется в золу,

В большом лесу, притихнувши, прильнет сосна к сосне
В полуночном, просмоленном, душистом полусне, —

Я выскочу, да выкрикну, да в пляс пущусь одна,
Сама своя забавница, сама собой хмельна.

⟨1912⟩

255. ШЕПОТ СОСЕНКИ

Милый, слышишь, что шепчу?
Лес трепещет — я молчу,
Лес смолкает — я шепчу.
Милый, слышишь, слышишь, чу!

Это я шуршу, не хвоя.
Это я наверх взлечу,
Ямы в купах сосен роя,
И опять внизу журчу,
И колю тебя иглою,
И рукой своей ночною
Волоса твои мечу,
И влеку тебя за мною,
Сыплю хвою, хохочу,
Над тобой склонясь, шепчу:
Милый, слышишь? Я с тобою.
Милый, слышишь, что шепчу?

Июль 1907

256. ПОЦЕЛУЙНЯ

В соснах алых полдень шалый
Распылался, изомлел...
Сладкий слышен вздох усталый
Средь сосновых жарких тел.

Будто веточка сломилась,
Иль шмыгнула в хвою мышь,
Или шишка обвалилась, —
Поцелуй разрушил тишь.

Это, верно, с шерстью нежной
К милой, тоненькой приник
Нераздумчивый, безгрешный,
Охмелевший древеник.

⟨*1908*⟩

257. ВЕСНЯНКА

(Липовая)

Под липовою сенью,
Под сетчатою тенью,
Дрожащей на ветру,
Я стала поутру
На берегу реки.

Цвела невеста-липа,
И ветер щедро сыпал
Лепестки.

Невинен так и сладок
Медвяной липы запах!
В слетающих цветах
Я стала и молюсь,
Кому — назвать боюсь.
А жаворонок плачет
И светлый плач свой прячет
В небесах.

Минуй меня, суровый!
А тихий — слушай зовы!
Кто с черным сердцем — мимо
Пройди, пройди незримо,
А нежный — оглянись!
Чтоб в цвете липы милой
Дни жизни буйнокрылой
Пронеслись.

⟨1912⟩

258—261. *ПОЛУДЕННЫЕ ПЕСНИ*

1

Где спят поваленные ели,
И мхи причудливо цветут,
На хворост лишаи ползут,
Где дебри силой осмелели, —
Мой заповеданный уют.

Тут и затишье и свобода.
А древле непогодь была,
Стволы валила и влекла
В объятья хвойного урода
Березок белые тела.

Тут звуков за́води и взрывы —
И всё же, всё же тишина

Ненарушима и ясна,
Как будто дремлет бог сонливый,
А тварь его не хочет сна.

2

Вечерний свет в избе на бревнах —
Как алые платки.
В полях безветренных и ровных
Росистые цветки.

Нацеловались в зной-полудень
Наивные уста,
И жаром поздний вечер скуден,
И страстью — высота.

Над речкой тополи привстали
Глядеться в глубину.
Ресницы вздрагивать устали,
Раскрыли тишину.

И прячется в очах невинных
Стыдливая любовь,
Как в тучах синепаутинных
Младенческая кровь.

Люблю полудниц яротелых
В сиянье наготы
И на воде кувшинок белых
Сомкнутые цветы.

3

Ленивей летняя вода,
И дерева сонливей.
А в сердце алая руда
И жарче и гневливей.

Не подходи! Иль подойди
И будь совсем покорной,

С цветком невинным на груди,
В глазах с зарницей черной.

Уютней логово всех лож,
И лучше всех навесов,
Что на темницы не похож,
Родной навес Велесов.

Немые губы навостри,
Ресницы крепко спутай!
До первых возблесков зари
Томись истомой лютой.

Кричи — и голос твой поймут
Полуденные дебри:
Тут голоса ничьи не лгут,
Все крики правдой крепли.

4

Кричит мой полдень наверху,
И в зное реки стонут,
И нимфу в заросли влеку,
Чей стон никем не тронут.

Засохнет глушь березняка
Под тенью старцев хвойных,
И пожелтеют пущи мха
От поцелуев знойных.

Ты будешь плакать, если рус
Запутанный твой волос.
Я наплету брусничных бус,
И станет песней голос.

Смеяться будешь, если черн
Твой волос буйнокудрый,
Вовью в венок колючий тёрн,
И смех не вскрикнет мудрый.

Еще ни разу в этот зной
Не видел нимфы рыжей.
Бегут стремглав передо мной
К родным болотам ближе.

‹*1912*›

262. ЗИМНЯЯ ПОТЕХА

Мех на шапке рыжий,
Солнце — волоса.
Стану я на лыжи,
Убегу в леса.

Там у Белоснежки
Дикая краса,
Серебромережки,
Свистоголоса.

Вьюгопоцелуи
И Катай-гора,
Ледяные струи,
Холодожара!

‹*1912*›

263—268. *БЕРЕЗКА*

1

Лес был темный, вечер близкий.
Мне по пояс ельник низкий.

Сосны кра́сны, сосны ста́ры.
В небесах опять пожары.

Я один иду без песен.
Мир неведом, сумрак тесен.

Вдруг на зелени сосновой
Цвет зеленый, но уж новый —

Словно к лесу день вернулся,
Словно сумрак улыбнулся,

Словно ландыш вышел белый!
Я стою оцепенелый.

Лес недвижим. Светят зори.
Весь я, весь в молящем взоре.

Как свеча, березка светит.
Что мне, что она ответит?

2

Ты березкой когда-то была,
В чистом поле на горке стояла
И плакучие ветки роняла,
Высока, и стройна, и бела —
Ты когда-то березкой была.

Но из жизни зеленой ушла,
И подругой мне ласковой стала,
И людскую судьбу увидала.
Ты березкой когда-то была,
Но из жизни зеленой ушла.

И лесная любовь расцвела,
Как береза весной расцветала.
Вешней радостью жизнь моя стала,
Ты из жизни зеленой ушла,
И людская любовь расцвела.

Ты когда-то березкой была!
Оттого так любовь пронизала,
И такой ты любимою стала:
Так нежна, так стройна, так бела —
Ведь когда-то березкой была.

3

Как узнал, что ты — она же, белоствольная, не знаю.
Но ведь знаю, что она.
Я очей своих орлиных, полюбив, не затемняю,
Жизнь мне всякая ясна.

Надо мной зеленых веток ты склоняла ожерелье,
Знойной негой охмелив.
Но теперь тебе иное смутно грезится веселье,
Я тобой, иною, жив.

Помнишь, нежная березка, белый ствол ты выпрямляла,
Целовал я белизну.
Вот теперь надменно-стройной, гордой девушкою стала,
Я опять к тебе прильну.

Тонкий стан твой неустанен, и, любовью расцветая,
Ты зовешь в родной свой лес.
И с улыбкой ухожу я за тобой, о ней мечтая,
Слыша благовест чудес.

4

Ты была смела, бела и высока,
А теперь тиха, горда, но так робка.

Там в листве оставила зеленый сон.
Дикой девушкой глядишь на небосклон,

Где в лазури синей свой весенний цвет
Ты раскидывала пышно в дреме лет.

Там, в земле, твой белый корень спит.
Вниз посмотришь — и смуглеет белизна ланит.

5

Мир — он в нас двоих единый.
Ты не бойся подойти,
Ты не бойся заглядеться
И с полночной песней спеться,
Ты не бойся в лес уйти.

Чтоб родные половины
Стали целым и одним,
Третьим, новым и великим,
Безначальным и безликим,
Чтобы был исчерпан им

В нас двоих уединенный,
Нами взятый целый мир,
Полуночный, звездоокий,
Этот вольный и широкий,
Этот вечный божий пир,

Нашей кровью искупленный,
Проливаемой в лесу,
Загорающейся свято,
Так любовно и богато
Прославляющей красу.

6

От облака до облака, от тучи до ручья
Блуждает жизнь вселенская, и с ней печаль моя.

Какое воплощение какой душе найти,
И как из тела, радуясь, в иное перейти?

Как временные грани бытия переступать,
Чтоб новой жизнь прошедшая была родная мать?

Куда девать напрасную гордыню бытия,
Когда, засохнув вереском, змеей родился я?

И как смиреньем мудрости сознанье утолить,
Когда, погибнув голубем, стал ящерицей жить?

Блуждает жизнь вселенская, невидима, пока
Не выльется в плен берега привольная река.

Всё ищет плена, вольная, чтоб как-нибудь пожить
И хоть на миг единственный свое лицо явить.

И путь душе блуждающей нигде-то не закрыт:
Была березкой беленькой — вот девушкой стоит.

И видятся за девушкой былые чудеса:
Как ветки руки гибкие и слезы как роса.

От облака до облака, от тучи до ручья
Блуждает жизнь вселенская, и с ней любовь моя.

1907
Лесной

ЗОРИ НЕТЛЕННЫЕ

269—275. *НАЯДА*

1

С морских глубин, где тишина
  Веками голубела,
Ты в жизнь мою пришла, грустна
  Тоской земного дела.

И платье скрыло красоту,
  И гребни смяли косы.
Но взор морскую сжал мечту,
  Далекий, чуть раскосый.

И в тесных комнатах живем,
  Творим земное дело,
И тратим, щедрые, вдвоем
  Один и дух и тело.

И показалось бы слепым,
Что ты совсем забыла
Морскую мглу, и пены дым,
И всё, что в море было.

Но я не слеп и вижу взор,
И волю в нем, и море,
И нестихающий укор,
И нежной твари горе.

2

Дома как горы, и заря
Как море мутно-алое.
В полузабытые моря
Льешь сердце ты усталое.

К стеклу прильнула и глядишь
За ветки, в небо сизое.
Свою нетронутую тишь
Колеблешь верхней ризою.

И зыбь в зрачки твои плывет:
Ты видишь дно родимое,
Людских невзгод, людских забот
Тоской не опалимое.

В плену, в плену, в плену, в плену,
В слезах наяда пленная!
Целу́ю солную волну,
Не плачь: дрожит вселенная.

От слез наяды на земле
Земная жизнь шатается.
И небо с тучей на челе
Тоскливо нагибается.

Иду, бегу... И город весь,
И мир — позор бывания,
И горы здесь, и море здесь
Ненужного страдания.

8

Ветер носит, завивая,
Клочья тьмы.
Кто ж, наяда вихревая,
Кто же мы?

Ветер с моря, где ладьею
Принята,
Целовала ты с мольбою
Мне уста,

Чтоб в людском с тобою мире
Жизнь прожить,
А не в волнах, не в эфире
Круг скружить.

Нагота твоя печальна
И строга.
Память жизни изначальной —
Жемчуга.

Знаешь ты слова людские
И людей,
Но мученья заклятые
Всё лютей.

Нет возврата в глубь морскую
Никогда.
Тщетно пену рвет, тоскуя,
Там вода.

Тщетно в небо над пучиной,
В пляску мглы
Рвутся с песней лебединой
Там валы.

4

Как ранняя весна, тревожит тишину
Забывшейся моей глуши
Ночная зыбь твоей души
И острый лик на белом полотне,
Ресницы, смятые во сне.

Я чую, бодрствуя, как раннюю весну,
Волну в морской твоей глуби́,
И сердце в ночь: «Не погуби
Красу земную, дикий взлет» —
Молитву робкую поет.

Сойдут снега, и сбросит поле седину.
Я уведу тебя в поля,
Цветы взрастит тебе земля.
И я взращу тебе цветы
Тобой взволнованной мечты.

И талый снег, стекая реками, волну
Подымет в море по весне,
Поющем песнь: «Вернись ко мне».
Ответ и память о тебе
Покинутой тобой судьбе.

5

Заря в печальные звонит колокола.
Ты, тихая, на грудь мне прилегла.

Ласкаю волосы. О, молодость моя!
А под окном призывный гул ручья.

Я проходил сегодня далью голубой
С тобой в огне моем, с тобой.

Я за деревьями, сияющий, стоял,
И роковой во мне вздымался вал.

Быть яростным, как солнечный огонь,
И жизнь умчать, не убоясь погонь.

И жизнь вознесть, как солнечную дань...
Ты, близкая, очей росою не туман ь.

Я руку маленькую сжал твою,
Как рукоять меча, — и верю острию!

Пусть верно просечет оно сквозь тьму
Дорогу к солнцу, моему и твоему!

6

За березами заря уходит в терема.
Под заборами прошла, сера, хрома —
Кто прошла — ты сразу поняла:
Ведьма сумерек прошла,
Три цветка завядших пронесла:
Цветик правды, цветик счастья и красы,
И земля прижалась к нам в слезах росы.
Вострым плечиком прижалась ты ко мне,
В страшном мире мы с тобой наедине.

7

Вечер тихий, вечер кроткий
Льнет к зыбучей нашей лодке.
В чьей мы зыбке? А крючок —
Белый, острый месяцок.

Не печалься: плачут росы.
Опустила в воду косы.
Рядом светлый след поплыл.
Кто с тобою кротким был?

Жизнь тебя стегала плеткой,
Смерть тебя петлей брала.
Чьей же ты души ждала
И ласкающей и кроткой?

Ты еще не знаешь? Знают
Эти милые уста,
Чья улыбка так чиста,
Но молву любви скрывают.

Пусть скрывают: речка реет,
Месяцовый серп светлеет.
И немая их молва
Лучше молвит, чем слова.

1909—1912
Симеиз — Васильсурск

В СЕРДЦЕ РЕБЕНКА

276—279. *ВСПЛЕСКИ ХАОСА НОЧНОГО*

1

Всплески хаоса ночного
Над пустынным камнем.
И замученное слово
В чарованье давнем.

Вот сказать — и ужас минет,
Но уста сомкнуты,
И ничто не отодвинет
Роковой минуты.

Тело девичье на муку
Очередь выносит.
И палач слепую руку,
Торопясь, заносит.

Вкруг шаги стучат людские
На камнях пустынных.
И сверкают — о, какие! —
Слезы глаз невинных.

2

Опять бежал, смятенный,
Дорогой, как стрела.
Плыл город многостенный,
Заря закаты жгла.

Навстречу плыли лица —
О, лица ли? Лишь раз
Блеснула мне зарница
Из темных-темных глаз.

И женщины навстречу —
О, женщины ли? — шли.
Мне всё казалось: встречу
Средь них и смерть земли.

На масках правда муки
И жалкий, смятый смех —
И связанные руки
У всех, у всех, у всех!

3

Звенит трамвай, огни лучатся.
Ты приколола алый ток.
Потемки синие ложатся
На твой затоптанный порог.

Горит на лестнице крутéнькой
В коптелке сонной керосин.
Бежит ступенька за ступенькой,
И книзу путь один, один.

На дне двора ты тихо стала,
И тихо очи подняла,
И в небо глянула устало.
Молитву, может быть, прочла.

О детстве дальнем, беззаботном,
О первой девичьей любви.
И скрылась в зеве подворотном,
Там, в желтой уличной крови.

4

Дала зарок веселой быть.
Уж слезы выплаканы были,
И в пряжу тьмы седую нить
Старухи белые всучили.

Уж за окном сплетался день,
А за стеной давно молчали.
И в зеркале густую тень
Просветы робкие пронзали.

Ты телом белым в темноте
Светилась нежно и надменно.
А я всё корчился в мечте
О целомудренной вселенной.

⟨1912⟩

280. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Смолкли в дальной детской звуки
Песни колыбельной,
Но не смолкли в сердце муки
Скорби беспредельной.

Спит ребенок. Ангел снится
С белыми крылами.
Только снится! Не стремится
Пролететь над нами.

Ах, давно, давно певали
Мне над колыбелью!
Снились сны и обещали
Счастье и веселье.

Я лежал, сложивши руки,
Тихий и счастливый...
А теперь какие муки,
Тьмы какие взвивы!

⟨1912⟩

281—285. *ПЫТАЯ ЖИЗНЬ*

1

Пытая жизнь, я лют и светел;
Но руки трепетны мои:
Никто доныне не ответил
Мне правды всей о бытии.

Ничто доныне не сказало,
Какой последний из концов,
Который мир — господь миров
И где всего первоначало.

В глазах людей и крыльях птицы,
И в тихом шелесте травы,
И в крике вспугнутой совы,
И в блеске вспыхнувшей зарницы

Одна и та ж, одна и та же
Неутомимая тоска:
Когда и как и кто расскажет,
О чем безмолвствуют века?

2

Разгадана яви людской
Нелепая злая ловушка.

Вл. Пяст

В сумерках дня, но не в сумерках духа
Мир испытует упорная мысль.
Всё же, о всё же шевелится глухо
В сердце явлений сверкучая быль.

Вот умирают. Копаем могилы.
Сонно приемлет владычество смерть.
Колокол плачет, и дух приунылый
Чувствует: втиснут в позорную клеть.

Дни ослепленные с болью и горем
Дальше — о, дальше! — влачат эту жизнь.
Вдруг из теснин, над сияющим морем
Крикнуто смерти: «Унывльница, сгинь!»

Есть у природы такие прорывы
В море, в свободу, в божественный вихрь,
Где громогласен закон горделивый:
Люди, пред вами вселенская ширь.

3

Я один над морем, небо надо мной,
Письмена Медведиц, белые валы...
Отлучен от власти тяжести земной,
Весь во власти легкой, первозданной мглы.

Улетели чайки. Смелые, куда?
Укатилось солнце в сердце облаков.
И надменно плещет темная вода,
Искажая блески огневых миров.

Маленькая зыбка на руках безумных
Матери безумной, матери-воды...

Но в темно́тах тихих, но в теснинах шумных
Мы своим грядущим живы и горды.

4

Заслышать, как молчит земля,
Как лес безмолвствует и дышит,
Как ветер светлый облак движет
И дремлют в колосе поля;

Продлить в богатой тишине
Свои дрожащие мгновенья
И, будто в омут сновиденья
Низринувшись, сиять во сне;

Нагим, блаженным, возвращенным
В невидимую благодать
Себя почувствовать опять —
Небременившим, нерожденным.

Среди цветов невестой мудрой
Свою увидеть в девах мать,
Неощутимо с ней летать,
Глубокоокой, темнокудрой;

Внимать с незримой высоты
Её безгрешному волненью,
Ее задумчивому пенью,
В ее руках лобзать цветы.

Вот лучезарной смерти звенья.

5

Заголосить в лесу при лунном оке,
Огромном и немом,
И омут увидать безумноокий
В себе самом.

Совы услышать крик смятенный —
Единственный ответ,
И потонуть в разымчивый и тленный
Несветлый свет.

Не верить дню, ушедшему в пустыню,
Распавшемуся в прах,
И насмехаться над грядущим ныне
В дневных мирах.

Всю человеческую власть отринуть
И волю всю отдать,
Чтоб эту и́ззелена-злую тину
Самозабвенно ткать.

И, задыхаясь, длить свои мгновенья,
Пока не пал, —
Вот звенья темного лунослуженья,
Вот цепь раба.

‹1912›

286. ТУМАННИЦА

Родись в тумане тихом,
Прихлынь волною белой
И жутко обойми,
Чтоб я сроднился с лихом,
Бесплотной отдал тело,
Покинутый людьми.

Какие станут губы
Мои уста земные
Томительно лобзать —
Слова людей смешные
И тяжелы и грубы
Об этом рассказать.

Какие выпьют ласки
Всю кровь мою рудую
И душу всю мою,
Коль чары древней сказки
На мир я наколдую,
Они о том спoют.

Но я не наколдую.
Но я один взываю:
«Туманница, прихлынь!»
В ночах еще скрываю
Тоску мою святую,
Красу моих пустынь.

‹1912›

287—295. *СКОРБЯЩАЯ ВЕСНА*

1

Затомила весна, заневолила,
А на сердце темным-темнота.
Под замком и глаза и уста.
Я ли вешнюю песню не холила?

На смерть вешнюю песню я нежила!
И негаданно смерть ей пришла.
Навалилась, дохнуть не дала,
Паутиной своей замережила.

Ох, глаза мои — светлое озеро!
А под светом темным-темнота.
А на сердце тоска-маета
От весеннего первого вечера.

В синеве темно-алые облаки.
Золотые горят купола.
Птица песню в раю завела,
По садам распевают зяблики.

Пасть на землю, сырую и теплую,
И рыдать, и рыдать, и рыдать,
Причитаньями, кликами, воплями
Молодые уста отмыкать.

2

Земля, тяжелая и темная,
Ручьями снежными омытая
И вся ложбинами изрытая,
А на рожденье неутомная,
Полуприкрытым оком глянула
В раздолье нá небе весеннее,
Где и сверкание и пение,
И духом сумрачным воспрянула.

Стекайте, воды, в реки мощные!
Иссечена я вся, изранена,

Пахучим паром отуманена,
Раскрыла лона непорочные
И корни цветикам взлелеяла.
Сейчас подснежник первый выглянет,
А небо ночью звездку выронит,
Чтоб и она меня засеяла.

8

Полно рученьки заламывать,
Слезы солные выранивать.
Зимний хлеб пора доламывать,
Скатерть вешнюю выравнивать.

В сундуке иль в рундуке,
Иль в полавочье лежала —
Вынимай! — белее стала —
Расстилай по всей доске!

Не ручьи в полях взыгралися,
Не в камнях вода застукала,
Кони в беге разоржалися:
Едет князь — весна порукою.

С полотенец петухи
Полным горлом раскричались,
Очи с горем распрощались,
Стали пылки и сухи.

Петли за зиму заржáвели,
Ой, скрипят ворота старые.
У! В печи квашне с опарою
Дрожжи норову подбавили.

4

За домами, как за скалами,
Ждет весенняя заря.
И лучами злато-алыми
Жизнь пронзается моя.

Я иду, жених твой сумрачный,
И приду к тебе, приду
В терем светлый и заоблачный.
Сяду в песенном саду.

Ты отрешь с лица усталого
Пот и пепел, что в пути
Отблеск света небывалого
Всё старались замести.

Отомкнешь запечатленные,
Но певучие уста,
И сказать слова нетленные
Доля станет мне проста.

И когда мне в очи синие
Глянешь, вечная заря,
Я пойму, куда пустынею
Шел, стеная и горя.

5

Два озера в лесу задумались,
А как задумались, так помутилися,
Туманом трепетным окутались,
С пресветлой радостью простилися.

А ничего на свете не было
Ясней их вод прозрачно-солнечных,
Что в тишине своей неслыханной
Одну волну вздымали полночью.

Вот прилетают птицы вешние,
Вот облака слетают нá землю,
И ангелы, мои сердешные,
Оперившись, сияют издали.

Вот и ручьи в холмах заспорили,
И корни снегом омываются.
В колокола скиты ударили:
Монахини святые каются.

Но не яснеют воды темные,
Страшнее глубь их неизвестная.
И черные ключи укромные
Бурлят у дна, как му́ка страстная.

6

Опечаленной весна
Из берлоги в поле всходит,
Снежной лапкою проводит
По ланитам и очам.
Как полночь, земля темна,
Словно ржа, земля рыжа,
По оврагам и ярам
Гул и лепет, гул и гам.

Ты, весна, глядишь скорбящей.
Ты такою не гляди!
По земле ты походи,
Плодоносной и родящей,
От снегов сырой и пьяной,
И от зорь нетленных рдяной,
И соленой с горьких слез,
Словно на море утес.

7

Заломила руки вешняя береза,
Опустила до земли ресницы,
Закачалась в яростной печали.
«Как расти мне в поле одинокой,
Как стоять одной, зеленоокой!
Мужики зимою приходили
В кожухах, тулупах, полушубках,
Всё кругом на избы порубили,
Будут жить теперь в пахучих срубах»
Ты не плачь, не плачь, моя береза!
Много добрых одиноко жили!
Вот летят к тебе певуньи-птицы,
Как насядут говорливой тучей,

Да займут все ветки, веточки и сучья,
А в корнях весеннее заиграет зелье,
По тебе зачнется зелень-рукоделье,
Во скорбях узнаешь тихое веселье.

8

Дикий ворон каркнул в поле
На дремучем валуне.
Зори крыльями взмахнули
И сгорели в стороне.

Вышел я в ночное поле —
Звезды вешние летят.
Кобылицы рыщут в горе:
Потеряли жеребят.

Грузно рухнул на колени,
Поднял новь земли сырой
И к пахучей черной ране
Пал горячею щекой.

Я хочу, земля, услышать
Первый твой весенний вздох.
Скоро всю тебя распашет
Древний шаг крестьянских сох.

Ты подымешь яровые,
Молоком зерно вспоишь,
Золотой ржаной молвою
В знойный полдень прошумишь.

Ты напой, земля, богато
На восходе раннем дня
До зари, холмами скрытой,
И, бессчастного, меня.

Я такое же, как в злаках,
Что засеяны давно,
Я твое — прозяб до срока —
Буйновсхожее зерно.

9

Коли помер он, так спляши по нем,
На холму на том, на золе живой.
Ой, взмахни, взмахни
Рукавом!
Ой, сверкни, сверкни
Оком ввысь!
Размахнись, пройдись,
В пляс пустись
Огневой!

Коль сожгли дотла, насади тут рай,
На холму на том, на живой золе.
Песни в том раю
Заиграй!
Про любовь свою
Повести!
Алый цвет цвести
Напусти
По земле.

Сечень 1911

ЦВЕТУЩИЙ ПОСОХ

Вереница восьмистиший

296

Посох мой цветущий,
Друг печальных дней,
Вдаль на свет ведущий
Вечных звезд верней!

Ты омочен в росах,
Ты привык к труду.
Мой цветущий посох!
Я с тобой иду.

(1912)

СЕБЕ

С какою тихою красою
Минуты детства протекли...
Но всё прошло и скрылось
в темну даль —
Свобода, радость, восхищенье.

М. И.

297

Хлеб перемолот, жернова остыли,
И мельник тихо дремлет у дверей.
И отруби ржаные в даль уплыли
Небесных огнедышащих морей.

Оплакавши истерзанные зерна
И всходы новые благословив,
Учусь я жизни, кротко и упорно,
У матерей смиренномудрых — нив.

1912

298

Люблю я женственную воду,
Огонь, как юноша, живой,
Камней надменную породу
И землю с нежною травой.

Люблю разгул пространства мрачный
И звездных вихрей торжество,
Но воздух наш, земной, прозрачный,
Люблю я более всего.

1912

299

Ночь, прощай! Я день свой встретил,
Тьму родную разлюбил.
Что узнал в ее ответе,
Ей в молчанье возвратил.

Пусть хранит, пускай колышет
Волны злого ведовства.
Воздух ясен. Дух мой дышит.
Просветляются слова.

⟨1913⟩

300

Невыразимых слов движенье
Дыхание стесняет мне.
Я жизни чувствую волненье
И в бледной мертвенно весне.

Налет неуловимой ночи,
Двух зорь таинственная страсть
Мне двуединый плен пророчит,
А музыке и девам — власть.

⟨1913⟩

301

Мне стали сниться страны, земли,
Дороги, дали и пути,
Меня желание объемлет
В уединение уйти.

Услышать птиц, увидеть снова,
Как зори утра хороши,
И властью радостною слова
Творить чудесное в тиши.

1912

302

В диком лесу на валун вековой
Сел, отмахнув пелену снеговую.
Полнится лес стокапельной молвой,
Из снегу дея весну огневую.

Падают пышные хлопья с ветвей,
Лезет на свет молодой можжевельник.
Всяких людских зачинатель затей,
В диком лесу я сижу, как бездельник.

1912

303

Какие-то песни в душе отзвучали,
И с чем-то проститься настала пора,
Как будто окончилась в жизни игра,
И слышится шелест вечерней печали.

Она незнакома, закутана в облак,
Но крылья ее — как у вешней зари.
Я тихо ей молвил: «Иди, говори!
Прекрасен и странен твой вкрадчивый облик»

1912

304

Должно быть, жизнь переломилась,
И полпути уж пройденó,
Ведь то, что было, с тем, что снилось,
Соединилося в одно.

Но словно отблеск предрассветный
На вешних маковках ракит,
Какой-то свет, едва заметный,
На жизни будущей лежит.

⟨1913⟩

305

Счастливый смех над лунною водою...
Благословенны слитые уста!
Прекрасны вы, неведомые двое,
Земная нерушима красота.

В мученьях духа, с песней одинокой,
Я мимо прохожу и, слыша счастья смех,
Молюсь земле, ее луне высокой,
Молюсь, как в детстве, — всем о счастье всех

1912

306

Я быть жестоким не умею,
Но с тем, кто ласков, смерть дружит.
Вот жизнь моя меня кружит,
И вьюсь я, вьюсь, подобно змею.

И уж забыл я, что́ улыбка
И что́ жестокость на земле,
И не страшит меня ошибка,
Взлетая к свету, сгинуть в мгле.

⟨1913⟩

307

Вечерних рек надменное молчанье
И напряженный лик седой луны
Сулят мне скорое с земли изгнанье,
Мгновенности иной чужие сны.

Но с матерью несносно разлучаться
В тревожный час раздумья в полпути.
Я буду вещей тьме сопротивляться,
Я буду дальше по земле идти.

⟨1913⟩

308

Знамена взвеяли, и в бой,
Сыны несчастий, мы помчались.
Сражались мы, но с кем сражались —
С врагом людским или судьбой?

Одолеваем мы врага,
Хоть будь он многоглавым змеем.
Но пред судьбой своей немеем,
Как наши мертвые снега.

⟨1913⟩

309

В душную улицу липовым цветом
Сладко повеяло. Нищий мой друг!
Есть ведь деревья, цветущие где-то,
Девы и дети, покой и досуг.

Ты ль не измучен? Но трудную долю
Разве не сам, как хозяин, ты взял?
Молча великий творит свою волю,
Стонет лишь тот, кто ничтожен иль мал.

1912

310

Торжественная пляска будней,
Пустынных дней позорный ряд
Безумных женщин безрассудней
Мне о прекрасном говорят.

И в каждом жесте, в каждой маске
Убитых пошлостью людей
Читаю призрачные сказки
О красоте грядущих дней.

1913

311

Мне опять захотелось губить,
Алый девичий цвет приминать,
К хмелю новому впьянь приникать,
В тихом воздухе вихри испить,

Тишину к небесам на поля
Отогнать от земли навсегда:
Пусть мерцает любая звезда,
Но земля не звезда, а земля!

⟨1913⟩

312

Меланхолия зимнего дня —
Белоснежных пушинок слетанье —
Овевает чудесно меня,
Как больного в бреду умиранье.

Ни забот, ни тоски, ни кручин.
Только ласки звенящих снежинок
И чуть слышная мысль: ты один,
Ты окончил с собой поединок.

1912

НИМФЕ

> О, как мучительно тобою счастлив я!
>
> *А. Пушкин*

313

В томленье вешнем уста с устами,
И тело с телом, и с духом дух.
И двуединый сливает слух
Клик колокольный под куполами,

Звон ледоломный под берегами,
Плач возвращенья счастливых птиц...
Нет, кто не двое, поникни ниц,
Моли праматерь, пои слезами!

1912

314

Я прожил несколько тяжелых жизней,
На дыбе я, наверно, умирал,
В костре на вражеской победной тризне,
Привязан к дереву, живой сгорал.

Но всех былых мучений нестерпимей,
Поверь, я муку ощущаю ту,
Когда с глазами детскими своими
Ты от меня уходишь в темноту.

1912

315

Ты начернила брови милые
И губы ярко подвела,
И в этой маске, темной силою
Вся опахнувшись, ожила.

И я влюблен любовью новою,
Не благодарной и простой,
А беспощадной и суровою,
В твой облик, страшный и чужой.

⟨*1914*⟩

316

Словно к небу, ночному, безвестному,
На тебя поднимаю глаза.
На земле ты не веришь чудесному,
Но в раю ты страшна, как слеза.

Непонятное разуму нравится,
И в молитвах есть яд забытья.
Я молюсь на тебя. Да исправится
Роковая молитва моя.

⟨*1914*⟩

317

Непостижима ты, и всё непостижимо,
Когда тобою, темной, проникаюсь я.
И кажется тогда: все тайны бытия
Скрываются в одной тебе, моей любимой.

Без жалости я детское оставил знанье.
Без страха ухожу в твою ночную даль.
И терпкая, как запах трав степных, печаль,
И жадное, как поцелуй, со мной страданье.

⟨*1914*⟩

318

Как волны моря у скалы,
Зелено-черные у белой.
Гремят с тоскою озверелой, —
Так темной ярости валы

У красоты твоей холодной,
Взлетая, гибнут без числа.
И всё густеет в недрах мгла,
Как в тьме беззвездья первородной.

1913

319

Я обречен твоей спокойной,
Как мрамор Греции, красе,
И все, кто жаждут жаждой знойной,
Не для меня, родная, все.

Я не тоскую, не врываюсь
В твои снега с своим огнем,
Я лишь устами прикасаюсь
К земле, где ты прошла в мой дом.

⟨1914⟩

320

Над морем лежу, на скале распростертый.
Луна поднялась, пол-лица утаив.
Волшебно, как Лядов, ночные аккорды
Струит мне серебряный лунный прилив.

И я вспоминаю весенние ночи.
И музыки сладостной мощный прибой,
И Нимфы влюбленной косящие очи,
И в окнах рассвет, как волна, голубой.

1913

321

В соседней комнате шаги...
Она пуста, и пуст весь дом.
Дожди давно уж за окном
Звенят мечами, как враги.

Кто там пришел? Кто ходит там?
Не бойся, появись, войди...
И с сожаленьем погляди:
Как тень, как призрак стал я сам.

⟨1914⟩

322

Моя печаль всегда со мною,
Мои огни всегда в тебе.
Как бы под снежной белизною
Земле подобен я в судьбе:

Неметь, и стынуть, и таиться,
И с первым ласковым лучом
Зеленой ярью всколоситься,
Свой напрягая чернозем.

⟨1914⟩

323

Я быстро напиваюсь пьяным,
Когда ты вдруг меня не любишь
И жизнь сияющую губишь
С отчаяньем, как пламя, рьяным.

Ты мне дыханье, ты мне воздух,
Ты мне мгновенье, ты мне вечность,
Ведь ты единственный мой отдых,
Ведь вся в тебе моя беспечность.

⟨1914⟩

324

Мне нравится владеть судьбою
Прекрасных, беззаветных дев,
И странно слышать над собою
Твой непонятный женский гнев.

Ты хочешь мстить, сама в сиянье
Девической своей красы
Мне роковое дав лобзанье
И расплетя конец косы?

⟨1914⟩

ДРУЗЬЯМ

Иные ему изменили.
М. Лермонтов

325

Матери

Шестидесятница родная!
Как счастлив я, что ты мне мать!
Люблю, когда, припоминая,
О прошлом ты начнешь мечтать,

Как в честь тебя седоволосый
Тургенев молвил комплимент,
Как ты, отрезав диво-косы,
Очки надела вместо лент.

1914

326

Льву Толстому

Счастливый путь, родимый наш, великий,
Краса веков и сила наших дней!
Средь всех ты был как светоч тихий
Зажженных в человечестве огней.

Всю жизнь ты шел. И путь последний здешний
Был к матери-земле на грудь,
Чтоб, с ней вздохнув вольней и безмятежней,
Уйти в бессмертный свет. Счастливый путь!

1910

327

Поэту

Он страшен мудростью змеиной
И накипью бесстрастных глаз;
За тонкотканной паутиной
Он холоднее, чем алмаз.

Но в миг единый, в миг нежданный
Вдруг сердце вспыхивает в нем
И озаряет мир туманный
Всечеловеческим огнем.

⟨1914⟩

328

Владимиру Пясту

С какой тоскою величавой
Ты иго тяжкое свое
Несешь, вымаливая право
Сквозь жизнь провидеть бытие!

Уж символы отходят в бредни,
И воздух песен снова чист,
Но ты упорствуешь, последний,
Закоренелый символист.

⟨1913⟩

329

Т. Л. Щепкиной-Куперник

В сердце дверь всегда открыта
У того, кто сердцем чист...
Тлела осень, падал лист,
Море пенилось сердито.

Хвойный лес шумел тревожно,
Мы пришли в твой нежный сад.
Вот и всё. Ужели можно
От тебя уйти назад?

1914

330

О. Э. Мандельштаму

Он верит в вес, он чтит пространство,
Он нежно любит матерьял.
Он вещества не укорял
За медленность и постоянство.

Строфы послушную квадригу
Он любит — буйно разогнав —
Остановить. И в том он прав,
Что в вечности покорен мигу.

⟨1913⟩

331

Анне Ахматовой

В начале века профиль странный
(Исто́нчен он и горделив)
Возник у лиры. Звук желанный
Раздался, остро воплотив

Обиды, горечь и смятенье
Сердец, видавших острие,
Где в неизбежном столкновенье
Два века бились за свое.

⟨1913⟩

332

С мороза алая, нежданная,
Пришла, взглянула и ушла.
Как яблоня благоуханная,
Душа скупая расцвела.

И опадают ало-белые,
Как снег вечерний, лепестки.
Хранит ладонь осиротелая
Лишь холодок ее руки.

⟨1913⟩

333

Женщине

Ты в этот час, когда белеет небо,
И полдень недвижим в бесцветном сне,
И сохнут зерна скошенного хлеба,
Ты в этот час тоскуешь обо мне.

Там, в небесах, далеких и пустынных,
Иль на земле еще, в людском огне,
Но знаю — в сумерках своих глубинных
Ты в этот час тоскуешь обо мне.

⟨1914⟩

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД

834. ВОЗДУШНЫЙ ВИТЯЗЬ

Памяти П. Н. Нестерова

Он взлетел, как в родную стихию,
В голубую воздушную высь,
Защищать нашу матерь Россию, —
Там враги в поднебесье неслись.

Он один был, воитель крылатый,
А врагов было три корабля,
Но отвагой и гневом объятый,
Он догнал их. Притихла земля.

И над первым врагом, быстр и светел,
Он вознесся, паря, как орел.
Как орел, свою жертву наметил
И стремительно в битву пошел.

В этот миг он, наверное, ведал
Над бессильным врагом торжество,
И крылатая дева Победа
Любовалась полетом его.

Воевала земля, но впервые
Небеса охватила война.
Как удары грозы огневые,
Был бесстрашен удар летуна.

И низринулся враг побежденный!..
Но нашел в том же лютом бою,

Победитель, судьбой пораженный,
Молодую могилу свою.

Победителю вечная слава!
Слава витязям синих высот!
Ими русская крепнет держава,
Ими русская сила растет.

Их орлиной бессмертной отвагой
Пробивается воинству след,
Добывается русское благо,
Начинается песня побед.

Слава войску крылатому, слава!
Слава всем удальцам-летунам!
Слава битве средь туч величавой!
Слава русским воздушным бойцам!

⟨1914⟩

835. МОЛИТВА ВОИНА

Не меня храни, родная,
    В роковом бою,
Ты храни, не покидая,
    Родину мою.

Дай ей славу, дай ей силу —
    Вот моя мольба.
Я ж без ропота в могилу
    Лягу, коль судьба.

⟨1914⟩

836. ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА

Во тьме еще гремели пушки,
Как слишком долгий, страшный гром.
Толпою тесной у опушки
Они стояли под дождем.

Во тьме ночной их было много, —
С восхода солнца длился бой, —
И крыши станции убогой
Их не вместили под собой.

И стало небо им палатой,
А койкой мокрая земля!
Солдат поддерживал солдата,
И все смотрели на поля, —

Там должен поезд показаться...
Он их возьмет, он их умчит...
Уж там шрапнель не будет рваться,
Тяжелый грохот замолчит...

Их там обсушат, перевяжут,
Там будет и тепло и свет.
Там слово ласковое скажут...
А поезда всё нет и нет.

И терпеливо, как святые
Терпели муки от врагов,
Всё, всё для матери России
Перенести солдат готов.

Хоть ноют раны, хоть от жажды,
От жара изнывает грудь,
Но каждому стремится каждый
Помочь, а сам уж как-нибудь!

Кто перекрестится три раза,
Кто что-то выкрикнет в мечте, —
И вдруг спасительных три глаза
Горят, сияют в темноте.

Подходит поезд. Ближе, ближе...
Снопами искр усеял тьму,
Колесами всё тише движет,
Остановился. Все к нему.

Выходят сестры из вагонов,
Пред ними факелы несут.
И кажется: средь мук и стонов
Сонм ангелов спустился тут.

⟨1914⟩

337. БУЙ-РОМАН

Буйнолик и чернокудр,
Грозен оком и румян,
А умом хитер и мудр
Был могучий князь Роман.

Коли верить звону струн,
Коли правду пел Боян,
Был кудесник и колдун
Велемудрый князь Роман.

Соберет свои войска,
Даст в лесу укрыться им,
И летит под облака
Черным вороном лихим.

Зорко выследит врагов
И взыграет на дубу.
Вои знают княжий зов,
Знают добрую волшбу.

И гремит победный клик,
И рассеян вражий стан.
И опять свой ясный лик
Принимает князь Роман.

А бывало и не то!
Рыщет, смотрит княжий полк —
Нет Романа! Верст за сто
Мчится полем серый волк.

Мчится он стрелы верней,
Не по-волчьему удал.
В стойлах вражьих у коней
Глотки вырвал — и пропал.

А еще бывало так:
От своих летучих стай
Отобьется князь. И в мрак
Пробегает горностай.

Средь полночной синевы
Он к врагу изыщет ход
И у луков тетивы,
Острозубый, изгрызет.

Лев и тур, орел и рысь,
Все цари зверей земных,
С ним равняться собрались
В песнях Нестора седых.

И когда в лихом бою
Вражья рать в него впилась,
Встретил смехом смерть свою
Буй-Роман, колдун и князь.

⟨*1914*⟩

338. СТРОИТЕЛЬ ДАНИИЛ

На галицком червонном троне
Сидел со славой Даниил.
Он был вторым по Соломоне,
Как летописец говорил.

Роман был мудр на волхвованья,
А он хитер был в красоте.
Какие сказочные зданья
Воздвиглись по его мечте!

Бывало, мимо проходили
Слепцы-певцы иль мастера,
Таких людей при Данииле
Не упускали со двора.

Художник знаменитый Авдий —
Иль, по-тогдашнему, хитрец —
Служить всей хитростью по правде
Был приглашен в его дворец.

Он храм построил величавый
На дивных четырех столпах.
А на столпах — людские главы,
А своды — в звездах и лучах.

Увы нам! Ныне неизвестно,
Как Авдий стены расписал.
Но в этом храме было тесно —
Народ толпился и вздыхал.

Князь Даниил любил затеи:
Там вежу ставил до небес
И рыл колодец перед нею,
Там сад садил, что райский лес.

Затейник мирный, был он в войнах
Великодушен и суров,
И тучей войск давил разбойных
Мир нарушающих врагов.

«Будь беспощаден к рати вражьей,
Не трогай мирных поселян!» —
Так он учил и славу нажил
Своей стране средь дальних стран.

«Корону на себя наденьте,
Король великий, Даниил!» —
Так римский папа Иннокентий
Его в неметчину манил.

Но Даниил был русским князем,
Могучим, гордым и святым.
Он в летописном мудром сказе
По Соломоне слыл вторым.

⟨*1914*⟩

АНГЕЛ АРМЕНИИ

ОВАНЕСУ ТУМАНЯНУ

---

339. АРМЕНИЯ

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью,
Друг другу двери сердца отворить!
Армения, звенящая огнем и кровью,
Армения, тебя готов я полюбить.

Я голову пред древностью твоей склоняю
И красоту твою целую в алые уста.
Как странно мне, что я тебя еще не знаю.
Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта!

Иду к тебе! Я сердцем скорый.
Я оком быстрый. Вот горят твои венцы
Жемчужные, от долгих бед седые горы.
Я к ним иду. Иду во все твои концы.

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью
И воскресенья весть услышать над тобой,
Армения, звенящая огнем и кровью,
Армения, не побежденная судьбой!

13 апреля 1916

340. АРЧАК

С каждым утром тополя
Расцветают краше.
О армянская земля,
Мученица наша!

Вот опять идет весна.
Где же дети, девы?
Гладь озерная ясна.
Где, армяне, где вы?

Горе озеро таит,
Кости в поле тлеют.
Хлеб несобранный лежит,
Новый хлеб не сеют.

Там, где был приют красы,
Сельской жизни счастье,
Бродят сумрачные псы
С одичавшей пастью.

С церкви сорвана глава,
У могил разрытых
Плачут кроткие слова
На могильных плитах.

И кукушка меж садов
Носится, рыдает.
На развалинах домов
Кость шакал глодает.

Две старухи под стеной
Прячутся в отрёпья.
Мечет ветер ледяной
Седины их хлопья.

Далеко стоит Сипан,
Укрываясь в тучи.
В буре битв сгорел вулкан
И потух, могучий.

Кровью к небу вопиет
Сердце Айастана.
Но и вечный небосвод
Весь в слезах тумана.

Июнь — июль 1916
Арчак

341. ВАН

Душа, огромная, как море,
Дыша, как ветер над вулканом,
Вдыхает огненное горе
Над разоренным раем, Ваном.

Какое жертвенное счастье,
Какое сладкое мученье
В народной гибели участье,
С тенями скорбными общенье!

Еще я мог пробыть с живыми
При свете солнца, в полдень знойный.
Но над садами горевыми
Поднялся лик луны спокойный.

Непобедимое сиянье,
И неподвижные руины.
Развалин жуткое зиянье,
И свист немолчный соловьиный.

Луна лавины света рушит.
В садах от лепестков дремотных
Исходит ладан, душу душит.
Среди цветов — толпа бесплотных.

Они проходят вереницей,
И каждый в дом былой заходит,
Как узник, связанный с темницей,
Меж стен обуглившихся бродит.

Их, лучезарных, много-много,
Что звезд ночных под небесами.
Иной присядет у порога,
Иной прильнет к нему устами.

Рыданья сердца заглушая,
Хожу я с ними, между ними.
Душа, как звездный свод большая,
Поет народа скорби имя.

Май — июнь 1916
Ван

342. ПУТНИЦА

Я дал ей меду и над медом
Шепнул, чтоб слаще жизнь была,
Чтоб над растерзанным народом
Померкнуло созвездье зла.

Она рукой темно-янтарной
Коснулася моей руки,
Блеснув зарницей благодарной
Из глаз, исполненных тоски,

И тихо села на пороге,
Блаженством сна озарена.
А в голубой пыли дороги
Всё шли такие ж, как она.

Май — июнь 1916
Ван

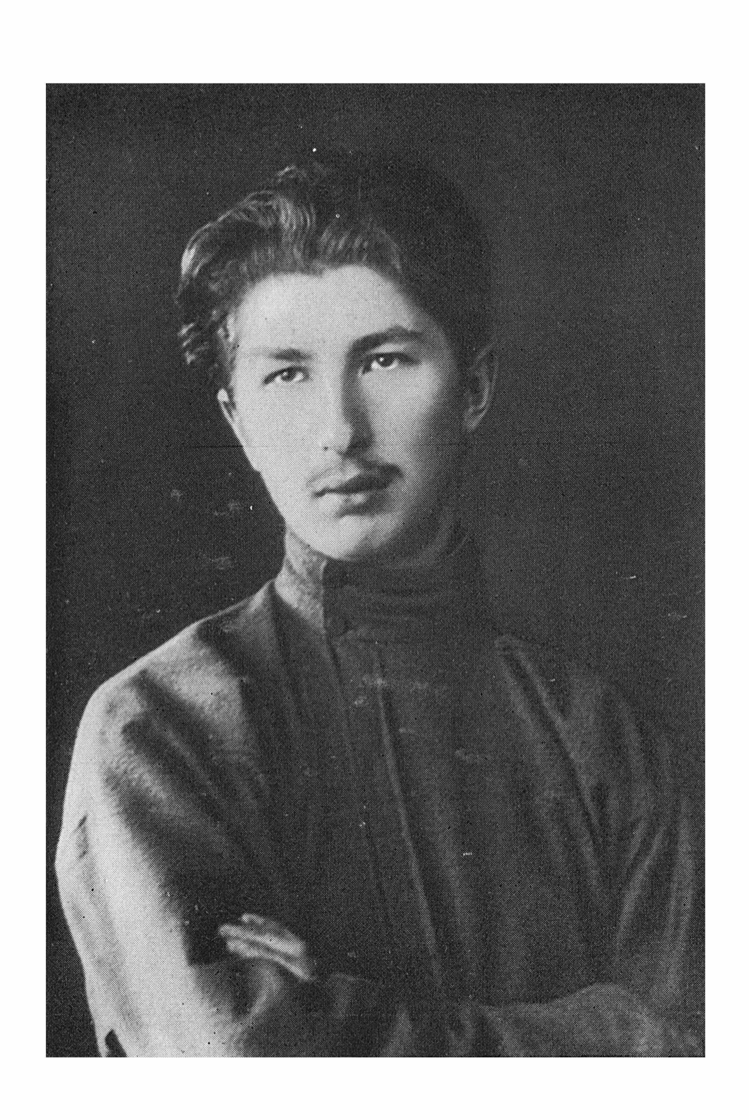
343. САД

Сад весенний, сад цветущий,
Страшно мне
Под твои спускаться кущи
В тишине.

Здесь любили, целовались, —
Их уж нет.
Вот деревья вновь убрались
В белый цвет.

Что мне делать? Не могу я,
Нету сил
Всех вернуть сюда, ликуя,
Кто здесь жил.

Из колодца векового
Не достать
У родного павших крова
Дочь и мать.





Не придут со дна ущелья
Сын с отцом.
Жутко вешнее веселье —
Смерть кругом.

Я не знал вас, дети муки,
Но люблю.
И хожу, ломая руки,
И пою.

Но из пламени той песни,
Из костра,
Вдруг шепчу, молю: «Воскресни,
Брат, сестра!»

Ветвь беру я снеговую
С высоты
И в слезах цветы целую.
Их цветы.

Май — июнь 1916
Ван

344. РУКИ ДЕВЫ

Она упала у двери дома —
Руками к саду, где тишь и дрёма.

Над нею курды друг друга били.
Над ней глумились. Ее убили.

Погибнул город в пожаре алом.
Укрылся пеплом. Уснул устало.

Но жизнь земная непобедима.
Весна напала на смерть незримо,

Ее убила цветами рая,
Лучами солнца в цветах играя.

В саду жемчужном иду во мраке
И чую жизни угасшей знаки,

И вижу руки давно убитой,
В саду зарытой, давно забытой.

Сияют руки в цветенье белом,
Меня на помощь зовут несмело.

Я к ним бросаюсь, их зóву внемлю —
Они, сияя, уходят в землю.

К земле склоняюсь — трава ночная
Молчит сурово, росу роняя.

Май — июнь 1916
Ван

345. ЦВЕТЕНЬЕ СМЕРТИ

Вишенье, яблонье, алое, белое,
Скорбно стоит, как во сне онемелое.

В этом весеннем, цветущем саду
Жарко сказала невеста: «Приду!»

Полувенцами цветенье склоняется,
Тихо качается, не улыбается.

В этом саду подарила она
Свой поцелуй, молодая жена.

Запахом нежным, душистым дыханьем
Сад затомил и замучил молчаньем.

Здесь она с томной улыбкою шла,
Древнее семя стыдливо несла.

В цветики белые, в домики нежные
Пчелы за медом влетают прилежные.

Помните, ветки, счастливую мать?
Здесь она сына любила качать.

Где они, сад мой цветущий, сияющий,
Где они, рай, в жемчугах замирающий?

Где же хозяин заботливый твой,
Мать молодая, ребенок живой?

Мать, и отец, и ребенок с глазенками,
Словно две вишни, с ладонями звонкими?

Все лепестки тише смерти молчат.
Сад мой жемчужный, печальный мой сад!

Май — июнь 1916

346. РЕБЕНОК

Она лежит. Ее глазенки
Как две агатовых звезды.
И в ней, сияющем ребенке,
Не видно боли и вражды.

Ей девять лет. Она, играя
Ручонкой — смуглым стебельком, —
Напоминает облик рая,
В цветах увиденный тайком.

Она глядит, как за окошком
Сияет вишня и айва,
И длиннохвостым шепчет кошкам
Кошачьи милые слова.

И кажется, она для шутки
Легла в постель... Вот побежит!
Но стены белые так жутки.
Нет, почему она лежит?

Нет, почему она в больнице?
И почему у синих глаз
На чернобархатной реснице
Вдруг светится большой алмаз?

И отчего от брови к брови
Вдруг пролегает тонкий след?

Откуда в губках очерк вдовий,
Печать неисправимых бед?

О чем глухонемая дума
На темно-розовом челе?
Откуда страх шагов и шума
И крики в сумеречной мгле?

Насилье исказило землю!
Как страшно правду понимать!
Ответу бедственному внемлю:
Ребенок — будущая мать.

1916
Ван

347. ПРОЩАНЬЕ

Прощайте, печальные тени,
Цветов онемелые губы.
Пусть ваши весенние сени
Ни вихрь, ни гроза не погубит.

Я с вами томился и плакал,
Я с вами упился цветеньем,
И зарностью алого мака,
И яблонь жемчужным лученьем.

Когда же плоды наливные
Созреют на ветках счастливых,
Вы вспомните, тени родные,
О песнях моих молчаливых,

О вере моей громогласной,
Что жизнь торжествует победно,
Что смерти зиянье напрасно,
Что люди не гибнут бесследно.

Май — июнь 1916
Ван

348. АНГЕЛ АРМЕНИИ

Он мне явился в блеске алых риз
Над той страной, что всех несчастней стран.
Одним крылом он осенял Масис,
Другим — седой от горьких слез Сипан.

Под ним, как тучи, темен и тяжел,
Сбираясь по долинам голубым,
С испепеленных, разоренных сел
Струился молчаливый, душный дым.

Под ним на дне ущелий, в бездне гор,
В ненарушимой тишине полян,
Как сотканный из жемчугов ковер,
Сияли кости белые армян.

И где-то по тропиночке брели
Измученной, истерзанной толпой
Последние наследники земли
В тоске изнеможения слепой.

Был гневен ангел. Взор его пылал,
Как молнии неудержимых гроз.
И словно пламень, замкнутый в опал,
Металось сердце в нем, алее роз.

И высоко в руках богатыря
Держал он радугу семи цветов.
Его чело светилось, как заря,
Уста струили водопады слов:

«Восстань, страна, из праха и руин!
Своих сынов рассеянных сомкни
В несокрушимый круг восторженных дружин!
Я возвещаю новой жизни дни.

Истлеет марево враждебных чар,
И цепи ржавые спадут, как сон.
Заветный Ван и синий Ахтамар
В тебе вернутся из былых времен.

Восстань, страна! Воскресни, Айастан!
Вот радугу я поднял над тобой.
Ты всех земных была несчастней стран,
Теперь счастливой осенись судьбой!»

Январь 1918

СЕРП

Двенадцатая книга стихов

349

О, как радостно и молодо
Под рабочим взмахом молота!
Ослепляет до слепá
Блеск крестьянского серпа.
Расцвести красно и зелено
Миру волей нашей велено.
На столетия просéка
Пролегла для человека.
Серп и молот всем несут
Небывалый праздник — труд.

⟨1921⟩

350. МЕТАЛЛЫ

В грозовом твоем ударе,
Пролетарий,
Вспыхнул алый хоровод
Всех свобод.
Из Октябрьского мгновенья
Всем векам
Светит серп освобожденья,
Как прожектор морякам.

Голубые океаны,
Обезлюдевшие страны,

Городов бетонных гнезда —
Все к свободе валом мощным,
Валом грозным
Ввысь
С Петербургом полунощным
Поднялись.

И согбенная природа
Под махиной капитала
В темных недрах застонала
И восстала
С тем же знаменем: свобода!

Золото, золото!
Гибкое, ковкое!
На животах ты висело веревкою,
В галстук мещанский ты было заколото,
Жирные пальцы и шеи индюшьи,
Пудреной груди бездушье
Ты с отвращеньем ласкало.
Гордое, яркое, в недрах нагретое,
Было ты подлой монетою.
Именем чистым твоим
Купля-продажа владела всем шаром земным.
Вот ты свободно!
Гений рабочего скажет, на что ты пригодно!

Медь!
Сгусток земной сокровеннейшей крови!
Алого пламени сплав!
Ты с монастырских раздувшихся кровель,
Веча погибель давно отрыдав,
Долго должна была людям звенеть,
По миру смерть разнося.
Вся
Ты исходила рыданьем надгробным,
К хищным и злобным
Попам двуутробным
Сгоняя людей
Пугалом желтых мощей.
Войн непомерное жёрло,

Пушек смертельное горло —
Вот куда шел твой металл благородный!
Вот ты свободна!
Гений рабочего скажет, на что ты пригодна.
Железо!

Лапы кровавые крезов
Тебя у труда воровали,
В цепи сплавляли,
Тленом насилья тебя оплели,
Лучшего друга земли!
Ты тосковало на фабриках пленных,
Плакало воем огромных колес,
С грохотом горя по рельсам неслось;
В рабстве у самых презренных
Силой волшебной твоей
Долго давили людей.
Вот ты свободно!
Гений рабочего скажет, на что ты пригодно.

Алой молнией ударил
Пролетарий
В города,
И земля раскрыла щедро
Все сокровища, все недра
Для свободного труда.

1921

351. ОРФЕЯМ СЕВЕРА

Голосом огненным горы раздвину,
Кину
Ярому Северу слово любовное.
Здравствуй, могучее, единокровное
Племя певцов!
Крик твой нов,
Звук твой дик,
Твой язык —
Зык колоколов.

Мир обнищалый,
Влажный от сукрови алой,

Притих,
Вздрогнуть готовый от песен твоих.

Эй вы, Орфеи сермяжные,
Соловьища лесные, овражные,
Черных полей голытьба!
Песней натужьте лохматую грудь!

Подступила судьба
Сладко, привольно, как Волга, вздохнуть
Всеми мехами груди миллионов,
Намозоленной бременем стонов.

Эй вы, Орфеи рогожные!
Грохнули двери острожные,
Цепи разверзлись, и вышел Боян,
Юн, лучеок, кучеряв и румян.
Крик его нов.
Звук его дик.
Язык —
Зык колоколов.

Средь колокольчиков, нежных бубенчиков,
Иверней-птенчиков,
Малых малиновок,
Тепленьких иволог
Он милей милого,
Он синей синего,
Пахнет он небом,
Медом и хлебом
Из жарких печей.

Песня свободная, лейся звончей!

1 февраля 1919
Баку

352. ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

От станка и от машины,
От ремней, ревущих глухо,
Путь прямой вам на вершины
Человеческого духа.

Там, на фабриках могучих,
В вихре вспышек и биений
Вы, как трепет молний в тучах,
Мировой хранили гений.

И давно машин моторы
Пели гибель мертвым лирам
И шептали приговоры
Над кровавым старым миром.

Час настал для новых музык.
Сердце громом бьется в блузы.
Жизни огненные зерна
Под певучий бросьте жернов

И ржаного слова хлебом
Под высоким русским небом
Всласть насытьте океан
Пролетариев всех стран!

1920

353. ЛЕСА

Леса, леса!
Кудрявые, зеленые,
Дремучие, таежные,
Краса и рай, хваленые
Могучими былинами
И песенною славою,
Под бурями тревожные,
Весной прозрачно-нежные,
С долинами цветущими,
С пахучими полянами,
С румяными рябинами,
Зимою снежнокудрые,
Премудрые, седые
Хранители России!

Веками, многоствольные,
Раздольные, шумливые,
Росли вы, землю тешили,

И лешие в вас прятались,
Где окна тиной пенятся,
И сватались к древе́ницам
Пригожие лесничие,
Когда ручьи погожие
Будили птичье пение,
Звенение весеннее.

На свадьбу к ним прикатывало,
Усевшись на сохатого,
Само красно́е солнышко,
Детенышей баюкало
И стукало по стволикам
Лучами желто-алыми,
Удалых зайцев стаями
Гоняло по опушкам
И белок с горностаями,
Зверями крепкомехими,
Сзывало грызть орехи.
И сам медведь, дед-лакомка,
Ломился в чащу лапами.

За вашими затворами,
За горами, за дебрями,
Скиты таились древние.
Крамольные раскольники,
Закованы в вериги,
Читали книги старые,
Радели богу ярому,
И девушка ядреная
Без мук рожала дитятко,
Младенца потаенного.

А в сухмень и в бездождие
Горели вы пожарами
И заревом тревожили
Полярных льдов стояние.
Стадами звери бегали
В чащобу недоступную,
И мерил летней радугой
И зимними Стожарами
Костер ваш ветер севера...

Ну что ж вы пригорюнились
И струны веток тянете,
Рыдаете, печальные?
Довольно вам невеститься!
В вас сто Европ поместится!
Довольно сна тягучего!
Пускай из дебрей радостных
Таежных ваших зарослей
Несется русский благовест,
Тепло, и свет, и зарево
Зовущего грядущего.

30 января 1920
Баку

354. «ОКАЯННЫЙ»

Не туманы зарю —
Седина оплела медный лик.
Он старинный старик,
Моховик.
Ни земному царю,
Ни небесному
Не клонил он ни лба,
Ни горба
И всю жизнь свою жил по-чудесному.

Про такое житье
Только песней певалось былинною:
Что мое, то твое,
Что твое, то общинное.

В голода, в холода
Двери настежь всегда,
Нет замка у ворот,
Печь лепешки печет:
Приходи, подкормись, обогреешься,
Не обманешься, если надеешься!

Солнце миру пример,
Это враг изувер
Полосами всю пахоту выкроил:

А земля-океан
Мечет хлеб и бурьян,
Словно рыбина многоикрая.

Всё для всех, всякий всем,
Не ходить в Вифлеем
За звездой, — она вот она!
Бороной и серпом,
А не частым крестом
Заработана.

Воля ходит в миру,
Как медведя в бору
Ломит ворога дикого.
Весел праздник труда,
Лишний пот не беда
Для житья кругового великого.

За такой разумóк недремáнный
Дед прозванье носил «Окаянный».
За душевную ширь
Повидал он Сибирь.
Жар тюремных плетей
Прогревал до костей.
В непогоду нога подволакивает,
А в ушах будто цепь перезвякивает.

Не сломить дуба буре!
Всё стерпел, не отрекся от дури,
И теперь, как в репейнике мед,
За усами колючими радость цветет,
Улыбается.

Хоть и мается дед,
А лепешки печет, угощает всех:
Всем еда и привет!
Сердцем солнцу сосед,
Разевает глаза свои детские
На порядки советские.
Всё, чем жил он один, на авось,
Всё сбылось!

1921

355. ВОСКРЕСНИК

Откуда, откуда идут эти люди?
Как факелы лица,
Глаза — маяков вереницы,
И счастьем взволнованы груди
Глубоко,
Как реки у синих истоков,
Так празднично новы.
Товарищи, кто вы?
Веселый, здоровый,
Сияющий, кто ты?

Мы идем домой с работы,
Ненаёмной, неостројкной,
Дружной, общей, неплатежной.
Мы трудом свободным юны,
Мы — работники коммуны.
Под родные наши песни
Мы справляли свой воскресник,
Мы с разрухой воевали,
Землю влажную копали,
И пилили мы поленья,
Распрощавшись с рабской ленью.
По столярным, по слесарным —
За коммуну трудовую —
Батальоном шли ударным
На разруху мировую.

Мы трудом свободным юны,
Мы — работники коммуны!
Мы сегодня шли толпою,
Завтра полчищем придем,
Станут хлебом и крупою
Наши песни за трудом.
Нету сметы нашим силам,
Мы как пчелы на яру.
Всем унылым свет стал милым
От работы на миру.
Нет страшней и хуже казни
Вам, владыки-господа,

Чем великий красный праздник
Добровольного труда.
От страданий, долгой боли,
Из войны и нищеты
Мы идем к счастливой доле
И к истокам красоты.
Оттого с победной песней
Мы приходим на воскресник.
Оттого светлы и юны
Мы — работники коммуны!

28 июня 1920
Нижний-Новгород

356. ВОЛГА

Волга-воложка ржаная,
Разливные рукава!
Воли жила коренная,
Ты бороться здорова.

Окаянного врага
Грозовые берега,
Буреломные яры
Принимали в топоры.

Бремя битвы небывалой
Ты взяла на волока,
За себя ты постояла,
Стеньки Разина река.

В осередках затаив
Буйства братского разлив,
Красной вольницы бойцов
Собрала со всех концов.

Волны ярые нахмурив,
По-былинному смела,
Под распев осенней бури
Ты Казань свою взяла.

Загремели берега,
Как на пушках у врага,

Подойдя с ночной реки,
Краснофлотец снял замки.

За раздолье перекатов
Под девятый черный вал
Хлебовитый встал Саратов
И, не дрогнув, устоял.

От налета белых вьюг
Защищая волжский юг,
Деревенька Черный Яр
Зажигала свой пожар.

Зажирев рабочей кровью,
Самолетами рыча,
Астраханское низовье
Окружила саранча.

Но, привыкнув побеждать,
Не сдалась речная рать.
Волга, в битвах не устав,
Песней вспенила уста.

Волга-воложка ржаная,
Разливные рукава!
Воронье с себя сгоняя,
Ты работать здоровá.

В глыбких баржах день и ночь
Начала ты нефть волочь,
На субботник вечный свой
Мир сзывая трудовой.

Июнь 1920

357. АМБАЛЫ

Могучее тело, но как же иссохло!
В глазах само небо, но смотрят как стекла.

Для мыслей свободных чела очертанья,
Но врезаны резко морщины страданья.

Слова словно стрелы: в них слышится битва
И голода голос: «Дай хлеба, не сыт я!»

И целыми днями, подобно животным,
Лежат они стадом на береге потном.

Один, и другой, и десятки — повсюду
Свалились амбалы в покорную груду.

То дремлют, то вшей на рванье своем крошат
И ждут, отупев, чтоб досталась им ноша.

Подходит хозяин. Вскочили толпою,
Бранятся, дерутся со злобой слепою,

Потом по-верблюжьи пригнутся и спину
Подставят под тяжесть, веревку закинув.

И рабская радость по пыльной дороге
Потащит за хлебом голодные ноги.

Довольно позора! Свергайте насилье!
Всё ваше полей и садов изобилье!

Для вас благовонием пенятся розы
И никнут под тяжкими гроздьями лозы.

Для вас корабли, и дворцы, и верблюды,
И моря щедроты, и горные руды.

И песни Хайяма, и нега кальяна.
Усталые ноги достойны сафьяна.

Сорвите лохмотья! Шелка Кашемира —
Вот ваша одежда, властители мира!

1920
Баку

858. ВОСТОЧНЫЙ КРЕСТЬЯНИН

Весь от солнца темно-рыжий,
Весь иссохший с рук до ног,
Он стоит в болотной жиже,
Он от зноя изнемог.

Сверху жжет, а снизу мочит,
Спину мокрую согнув,
Он с рассвета вплоть до ночи
Рис сажает по зерну.

Тяжесть в членах онемелых,
Задурманил пар воды,
Но от зерен этих белых
Будут новые пуды.

За двенадцатичасовый
Нестерпимый этот труд
Недоваренного плова
В полдень горсть ему дадут.

И стаканчик чаю малый
Самоварщик полевой
Даст устам его усталым,
Сам от зноя чуть живой.

По садам сверкают розы,
Зацветают миндали,
Ветер запахом мимозы
Веет где-то там, вдали.

Ты ж опять в свое болото
Из-под плетки торопись,
Чтоб смертельною работой
Добывать для сытых рис.

Рису много! Зорким оком
Не окинешь всех полян!
Но — велик аллах с пророком! —
Всей землей владеет хан!

Он насыплет рис в коробки,
И навьюченный амбал,
Как верблюд, немой и робкий,
В порт, согнувшись, побежал.

Там на черном клюве-кране,
Неприступен и угрюм,
Рис поднимет англичанин
И опустит в жадный трюм.

Кто-то новые мильоны
Занесет себе в доход,
И опять в свой пар зеленый
Раб с проклятьями бредет.

Но в горах, в долинах сонных,
Как ручей, бежит молва:
У народов угнетенных
Есть отечество — Москва.

1920

359. САБУНЧИ

Таинственны заросли вышек,
Набухли смолой Сабунчи,
Земля извергает излишек,
Грохочет богатством в ночи

И прямо созвездиям в очи
Хохочет, собою горда.
И тут же, в домишках, рабочий
Бледнеет от злого труда.

Войди в эти капища нищих,
Толкни эту хмурую дверь:
Нору себе лучше отыщет
Погоней затравленный зверь.

Ни солнца, ни воздуха! Дети —
Как в темном подвале ростки.
Не жить им счастливо на свете,
Пока не умрут пауки!

У женщин вся молодость в стонах
Погасла, весны не узнав,
Писать на старинных иконах
С них мучениц мог бы зограф.

И эти в цепях великаны,
Владыки грядущих эпох!
Какой в них туберкул румяный!
Как долог тяжелый их вздох!

Рабочий, когда же, когда же
Твой разум, твой новый закон
Узлы паутины развяжет
И рабства развеется сон?

Когда же земное богатство
Достанется истым живым
И ветер свободы и братства
Разгонит удушливый дым?

20 декабря 1919
Баку

360. ПРОМЫСЛА

Пирамиды в чахотке —
Вышки вытянул к небу
Изнуренный и кроткий
Данник черствому хлебу.

И клокочут вулканы
Сквозь песок утомленный:
Это дьявола страны,
Это рай искаженный.

Звездный край полотенца
Ночь склоняет в истоме,
Чтобы слезы младенца
Утереть в нищем доме.

Шлют проклятье избытку
Молодые илоты

За бесцельную пытку
Непосильной работы.

И, как нефть под песками,
Накипает желанье
Стать под красное знамя
Мирового восстанья.

22 декабря 1919
Баку

361. ГОРОД НА ЗАРЕ

Молчат огромные дома
О том, что этот мир — тюрьма.

И вывески кричат о том,
Что этот мир — публичный дом,

Где продается каждый сон,
А кто не продан, тот смешон.

Железных фабрик силуэт
Кричит о том, что воли нет,

Что эти кубы из камней
Сдавили бешенство огней.

Заре запели петухи.
Порозовели стен верхи.

Не отрываясь от земли,
Качнулись в море корабли.

Вспорхнул и замер легкий шквал,
Седой газетчик пробежал,

Вонзая в сонный мозг людей
Пустые вести площадей.

Валы согбенные сплотив,
Грохочет утренний прилив.

В ущелья улиц, под дома
Бежит испуганная тьма.

И, как бушующий народ,
Из алых волн встает восход.

Мильоны огненных знамен
Вздымает в зыбь ночную он.

И, как трибун перед толпой,
С последней речью боевой,

С могучим лозунгом: «Живи!» —
Выходит солнце, всё в крови.

11 декабря 1919
Баку

362. КОФЕ

Тебя сбирала девушка нагая
По зарослям благоуханной Явы.
Как ящерицу, дико обжигая,
Ей кожу рыжей сделал луч кудрявый.

Замучена полуденной работой,
К любовнику, такому же нагому,
Она бежала в лунное болото,
К сплетенному из вешних прутьев дому.

И там кричали, радуясь, как дети,
Что труд прошел, а ночь еще продлится,
Показывая на жемчужном свете
Блестящие от долгой ласки лица.

С утра голландец с ремешковой плеткой
На пристани следил за упаковкой
Клейменых ящиков — и кровью кроткой
Окрашивал тугую плетку ловко.

Потом с валов могучих океана
Корабль срезал бунтующую пену,

Пока в каюте мягкой капитана
Купцы высчитывали вес и цену.

До пристани, закутанной в туманы,
Томились, гордо засыпая, зерна.
А там, на Яве, кровяные раны
На девушке горели рыже-черной...

Любуешься порою, как в фарфоре
Кипит с отливом золотистым кофе,
И вдруг в мозгу встает желаний море,
И кровь томит тоска по катастрофе:

Долой насилье! Снять с дикарской воли
Бесстыдство злое купли и продажи!
Плетей не надо для цветов магнолий!
Не надо солнцу океана стражи.

Отмстить за бешенство бичей ременных!
Пусть хищники в туман уйдут кровавый!
Да здравствует свобода угнетенных
Во всех краях и на болотах Явы!

13 декабря 1919
Баку

МИРОЛОМ

Тринадцатая книга стихов

363. ПОСВЯЩЕНИЕ

ПОД КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНОЙ

Я вас не видел, вас не знаю,
Но вы легли здесь в грозный час,
Когда срывал народ, стоная,
Седое иго палача.

И вашей крови отблеск вечный
Я вижу в каждом, кто живет:
И в детской радости беспечной,
И в смелой песне красных рот,

В летящем с севера до юга
Колосьев голосе ржаном,
И под стопой электроплуга
На черноземе молодом.

И чем чудесней жизнь воскреснет,
Тем ярче ваша кровь горит,
И даже в звуках этой песни
Сияет свет ее зари.

1922

ИССТАРЬ

364. РУСЬ

Медведя на цепи водила,
Сама сидела на цепи
И в голову себе гвоздила
Одно проклятое: «Терпи!»

Гнила в пещерах и колодах,
Крутила мощи, в срубах жглась,
И род от рода, год от года
Сносила темноту и грязь.

Мечтая о небесном рае,
В смердящем у́жилась гробу.
В бунтах бессмысленных сгорая,
Бояр носила на горбу.

Петлю затягивая туже,
Сама тащилась на убой
И бубенцом цветистых дужек
Бранилась с ведьмою-судьбой.

А всё, что было молодого
И дерзкого — огонь мирской —
В срамное всучивала слово,
Душила пьяною тоской.

О, ведь и я любил так слепо
Колоколов вечерний звон,
Монастыря седую крепость,
Черницы поясной поклон!

И ладан сказок несуразных,
И тлен непротивленья злу,
И пенье нищих безобразных,
И сон угодника в углу.

Как много сил распалось прахом
Растлилось, высохло в труху:
Довольно кланялись мы плахам,
Иконостасу и греху!

Пусть с кровью мы сдираем ветошь,
Но мы сдерем ее с себя!
В алмаз густеют искры света,
Стекляшку молоты дробят.

В провалах страшного распада
Восстали вихри новых звезд.
Ушедшая под землю падаль
Пророчит богатырский рост.

Раздвинуты границы мира,
Былое небылью ушло,
О, ведь и мне жилось так сиро, —
Теперь так буйно и светло!

22 сентября 1921

365. РУСЬ

Пьяный Солнышко Владимир
Пригвоздил тебя к кресту.
Княжий род до корня вымер,
А кресты еще растут.

В чистоту твоих раздолий,
В красоту твоих жнивей,
Чтоб не думала о воле,
Понатыкали церквей.

И поставили примером
Под напуганный твой взор
Крест с распятым боговером,
Словно к рабству приговор.

Сотни лет ты, Русь, молилась
Страшной жертве палача
И сама взойти стремилась
На Голгофу каждый час.

И в отчаянье рабыни
Родила ты мудрецов,
Воспевавших рай пустыни,
Радость жертвенных венцов.

Что ж, ты думала, бедняга,
Так и будет до конца?
И земли кровавой влага
Не родит тебе бойца?

Он пришел в огне и песнях,
С жалом разума в устах
И разгневанным: «Воскресни!» —
Звал тебя сойти с креста.

Ты, как ветер с перевала,
Выла: «Прочь уйди, злодей!»
Бесновалась, отбивалась,
Чтоб не вынул он гвоздей.

Но, могучий, алозвездный,
Вестник будущего дня,
Срезал путы, вынул гвозди
И с креста тебя он снял.

От бессильной, темной злобы
Притворилась мертвой ты.
Намела метель сугробы —
Подняла весна цветы.

Раны зажили. В ладони
Прялку сонно ты взяла.
Но былое в сердце стонет,
Застилает очи мгла.

Шепчешь ты еще проклятья
Доле песен и труда,
Но на рабское распятье
Не вернешься никогда.

И в путях борьбы и славы
Стыд за крестные года,
Русь, не раз тебе отравит
Радость мирную труда.

1920

366. КРАСНОМОСКОВЬЕ

Замусоленные церковёнки
И игрушечные терема
О народе-рабе, о ребенке
Шепчут слезные сказки впотьмах.

Искривились кудрявые крыши
Тихой болью о старых порах.
В куполах, как летучие мыши,
Виснет серенький, слепенький страх.

Особняк в снеговой кацавейке
Вздохом сорванных ставней хрипит
О калачиках по три копейки,
О хранителе-псе на цепи.

На колоннах облупленных бродит
Мертвой барыни лунная тень.
И скрипит в упраздненном приходе
Панихидным напевом ступень.

По лабазам, застылым и лысым,
Забиваясь в пустые углы,
Обозленные голодом крысы
Прославляют хозяев былых.

Сорвалась запьянцовская тройка
В непролазный овраг с крутизны,
И тоскует сивушная стойка
По мерзавчикам златохмельным.

Ты пропала, Москва богатеев,
В мех укутанных бородачей.
Кутежа на поту не затеет
Воротила цыганских ночей.

И другая, другая, другая,
Трудовою росою жива,
Золотые столицы пугая,
Вырастает над миром Москва.

За громадами дремлющих башен,
За седыми зубцами Кремля
Всходит солнце вселюдное наше
И вселенская светит заря!

Вы искали ее по часовням,
В дыме ладана, в лязге вериг,
А она — раю вашему ровня —
Загремела из огненных книг.

Вы гадали о ней по созвездьям,
По лампадам в иконных углах,
А она алоцветом возмездья
Из рабочего пота взошла.

Руки мира! Наручник дробите,
Шея мира! Вылазь из ярма.
Вот, глядите: какая обитель
Сорвала свои цепи сама!

Упоенная рабскою кровью,
Родила трудовая земля
Всерабочее Красномосковье
За вселенской твердыней Кремля.

1921

367. ПИТЕР

По каналам, по каналам,
Где вечерняя вода
Смерть богатых отстонала
И умолкла навсегда, —

Где к гранитным изголовьям
Каждый вечер меж дворцов
Огневой струится кровью
Память вечная борцов, —

Где скользит над водной тишью
У поломанных перил
Барыня летучей мышью
Без когтистых рук, без крыл, —

Где на входах буквы стерты,
Кто здесь жил и кто владел,
Где матрос проходит к порту
С песней солнцу и звезде, —

Где тоска былого виснет
В распростертых лапах лип,
Где дома о прошлой жизни
Погребальный свет зажгли, —

По каналам, по каналам,
Где проклятый мир утих,
Где былое отстонало,
Как мне весело идти!

1922

НЕ БЕЛЫ СНЕГИ

368. СЫТОМУ

В час, когда огни потушат
Там, где сытые поели,
Ты послушай, ты послушай
Голоса ночной метели.

Вот вскрутился снежный вихорь
И упал плашмя в сугробы —
Смертью белой, смертью тихой,
Как на Волге люд безгробый.

Посмотри: рукой страдальцев
Ветер шарит в каждой яме
И бессчетных белых пальцев
Гнет концы над колеями.

Ищут, ищут, всюду ищут,
Волжским ветром камень режут,
Хоть какую-нибудь пищу,
Хоть какую-нибудь е́жу.

Вот упали безнадежно —
Хоть последний стон послушай!
Вот утихли в буре снежной,
В белых далях равнодушья.

Льдинки колются в метели,
Как соломы мерзлой остья.
Вьюга мелет, мучкой стелет
Человеческие кости.

И опять, намчавшись тучей,
С гневным плачем вьюга машет
Сотней судорожных ручек,
Детских, тонких, с Волги нашей.

И зовет, зовет... Ты слышишь?
И стучится в окна долго,
И стучится тщетно в крыши
Горем Волги, всею Волгой.

Ты послушай, ты послушай, —
Смерть людьми повсюду стелет, —
Может быть, твой сон нарушат
Голоса ночной метели.

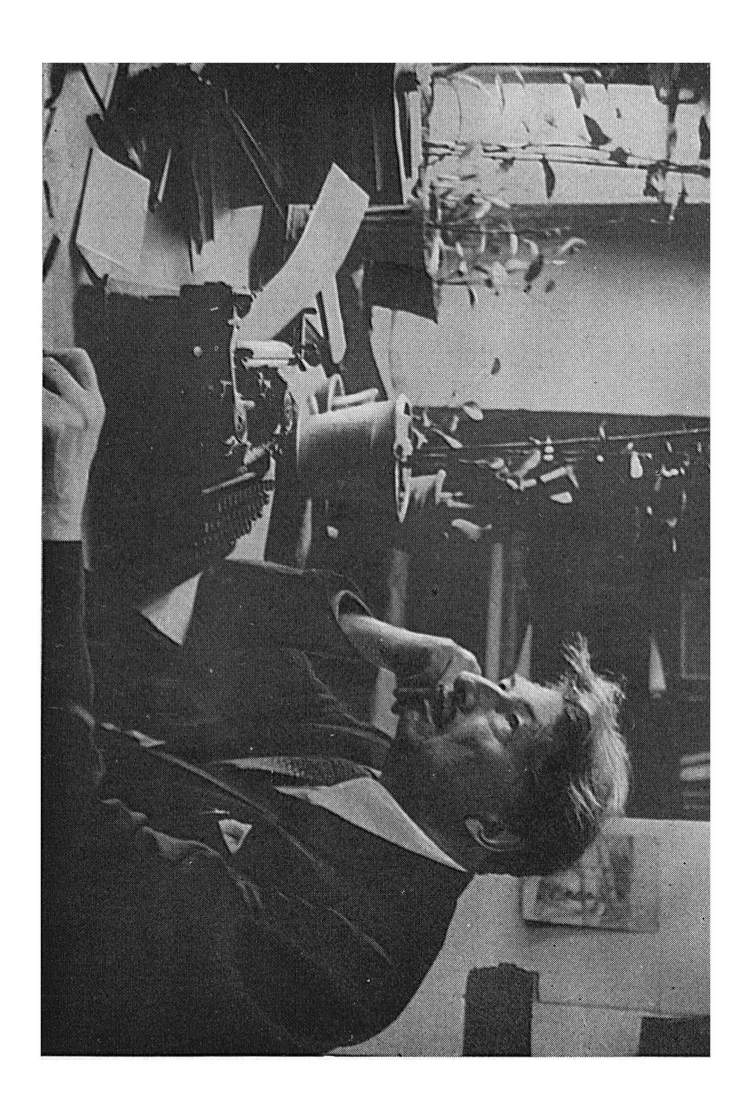
1922

369. ГОЛОД НА ВОЛГЕ

Вот я вижу, вот я слышу —
И ничем не заглушить, —
Как на Волге дети дышат
В умирающей тиши.
Снег одел их: съели крышу.
Мышь под печкой не шуршит.

Гложет хилую ручонку
Семилетний старичок.
Он прижал к себе сестренку
На костлявое плечо.





Не подобен он ребенку,
Этот высохший стручок.

На его лобишке малом
Голод четко написал,
Как, родимая, устала
Черноземная краса,
Как ногами генерала
Белый бес на ней плясал.

Как в столетьях-лихолетьях
Рабство сéкло спину ей,
Как неслась она под плетью,
Под упряжкой богачей,
Как упал под черной клетью
Неоглядный мир полей.

Все, кого войной убило,
Детским взглядом шлют нам весть.
В этом личике застылом,
В этом плаче: «Дайте есть» —
Всё написано, что было,
Только разве вам прочесть?

И в пустой тиши избенок
Так сидит и няньки ждет,
Скорбью старческих глазенок
Избяные бревна жжет,
Так сидит старик-ребенок,
Няньки-смерти тихо ждет.

Тихо нянька поглядела.
Замахнулась... Чьей рукой?
Потрошат ребячье тело.
Чьей рукою и какой?..
А тебе какое дело? —
Материнскою рукой!

Ты живешь, и ешь, и дышишь.
Смертный час свой веселишь.

И в проеденные крыши
Не твоя глядится тишь.
Не твои исчезли мыши,
И не твой убит малыш.

Наш он! Наш! И к нам, усталым,
Крик его издалека
Долетел, и детям малым
От рабочего станка
Встала помощь мощным валом
Из последнего куска.

Что ж, бросайте подлый камень,
От бессилия рыча.
Золочеными клыками
Изнуренных рвите нас.
Смертной Волге жить веками.
Вашей жизни только час.

Март 1922
Москва

870. ПОВЕСТЬ

Рассказать вам праздничную повесть?
Вот она:
Мужик, голодными метелями обмотанный,
На базар вынес совесть —
Не для того, чтобы торговать,
А чтоб даром ее раздавать.
Много ль вынес, иль мало —
На всех бы сытых достало.

Белоперая метелица
Мягким пухом стелется.
Товары торопятся
В корзины угробиться.
Толпой богатеи
Покупают, потеют.
Мужик в печали великой
Стоит да выкликивает:

«Совести, совести,
Кому надо совести,
Кому надо совести,
Простой человеческой совести?

Берите, прохожие,
Девушки пригожие,
Толстосумы-купцы,
Бумажные молодцы.
Пройди всем базаром —
Ничего не возьмешь даром.
А я о цене не говорю,
Даром даю.
Совести, совести,
Кому надо совести?
Возьмите хоть кусочек для праздника...»

«А что с ней делать, дяденька?»
— «Даром товар, даром и совет.
Берешь иль нет?
У тебя что к сочельнику зарумянено:
Свинина иль баранина?
Полгуся?
Иль весь порося?
Прежде чем сесть
Да без оглядки есть,
Кусочек совести, с зернышко,
Положи себе в горлышко».

«Это вместо соли,
Что ли?»
— «Нет, дитятко, нет,
Дослушай совет:
Нужна соль в избе,
А совесть — в тебе.
А в праздничный ужин
Мой товарец особенно нужен.
Без совести как?
Тебе кусок, а Волге песок.
А с совестью так:
Тебе кусок — и Волге кусок.
Понял, дитятко? Да где ж ты, милый?

Ишь, как ножом его отхватило.
Сгинул, пропал,
Как про Волгу услыхал.
Совести, совести,
Кому надо совести,
Простой человеческой совести?..»

Отшумел базар,
Свернулись лотки,
Расхватали товар
Богачи-едоки.
Стоит мужик голодный,
Метелью обмотанный.
Сытым не нужна совесть.
Вот она,
Праздничная повесть.

1921

871. ПОЛНОЧЬ

Какая осенняя ночь,
Какая полночная осень!
Всё это уж было давно.
И так же был сумрак несносен.

И так же кричал на камнях
Ребенок, голодный, холодный,
Из судорог страшного дня
Заброшенный в мрак безысходный.

И так же сквозь девичий смех
По скверам гнусавила похоть.
И так же легко было тьме,
И так же, и так же мне плохо.

И те же вбивали часы
Двенадцать мертвящих ударов
В пожары созвездий косых,
В огонь этих дальних пожаров.

Но гневно простерлась у стен
Могила того великана,
Который грозой проблестел
И в славу бессмертную канул.

И пела со стоном стена
Не рабскую песню «Коль славен» —
Свободный «Интернационал», —
Тревожа полуночный саван.

И слышал призыв великан:
«Вставай!» И цветы на кургане
Дыханьем своим колыхал.
«Я встану, — шептал он. — Мы встанем».

1922

МИРОЛОМ

372. ЕВРОПА

По ночам из углов, из подвалов,
Из беззубых оскалов домов
Ярче алых каприйских кораллов
Смотрят язвы живых мертвецов.

И кто может, безрукий иль хро́мый,
Гадом ползать по лику земли,
Покидает расселины до́ма,
Вылезает из смрадной щели.

Грузно тащит распухшее тело,
Волочит искаженный сустав,
Всё, чем сердце здоровое рдело,
В безнадежной тоске отрыдав.

Волос ершится, грязный и дыбкий,
На ладонях мозоли и прах.
Не сыскать человечьей улыбки
В искривленных от злобы устах.

Ни добра, ни участья не надо.
Путь единственный — ниже упасть.
И страшна, как воро́тища ада,
От ругательств сгоревшая пасть.

В это время богатые люди,
Кто разряжен, и сыт, и румян,
Как плоды наливные на блюде,
В кузовах пролетают в туман.

В этот час к освещенным квартирам
В белых ту́флях, в чулочках сквозных
Мчатся Евы, не чуя над миром
Полусгнивших бунтующий вздых.

Стонет в залах оркестр, бьют рояли,
И с лилейных, как снег, скатертей
Запах масла, барана, кефали
Льется в ноздри ползущих смертей.

И тогда поднимаются трупы
На обрубки колен, на живот.
Ярче рампы сияют их струпы,
Громче хора их голос орет:

«Эй, довольно! Мы тоже владыки!
Электричество нужно и нам!
Пусть для всех распахнется великий
Иль разрушится празднества храм.

Пусть для всех будет радость и счастье,
Вспыхнет солнце на каждом челе,
Иль своею бездонною пастью
Ночь пожрет всё, что есть на земле».

1919

373. ИНДИЯ

Ветер весенний ворвался в осенние окна,
Мчится, летит, призывает: «Идите все, кто к нам!»
С ним лепестков абрикосовых, розовых тучи
Самому слабому шепчут: «Иди! Ты могучий!»

Ветер поет: «Я из снега, из северной дали
К вам прилетел, чтоб вы лучшую долю узнали!»
К нищим, убогим, забитым рабам по оконцам
Звонко стучит: «Выходи! Цепи рви! Ты под солнцем!

В стуже, в крови, мы на севере дальнем и белом
Стали свободны — и вам, под плетьми оробелым,
Вам, терпеливо несущим позорную муку,
Вам подаем молодую содружную руку!»

Тонут миндалин испуганных крупные зерна
В черных ресницах. Скрываясь в одеждах узорных,
Девушки ветер весенний как счастие слышат.
Холст белоснежный сердца молодые колышат.

Там, в тростниках, из уютной отцовской лодчонки,
Смотрит старик в синеву, в высоту. Ветер звонкий
Слышит за всех, кто в земле, кто упал, землю бросил.
Радость в морщинах — как солнце под взмахами
весел.

1922

ИЗ ТЬМЫ К СВЕТУ

Деревенские были

374. КЛИЧ

По дворам, деревням,
По крестьянским полям,
В глушь дремучих лесов
Полетел красный зов:

«Озаряйтесь, крестьяне,
Ильичевым огнем!
Солнце знанья румянит
Села радостным днем!»

Клич и прежде бывал:
Как царь лбы забривал,
Не забыть до сих пор,
Как звал барин на двор,
Чтобы свистом плетей
Проучить до костей.
С колоколенки поп
В церковь звал крестить лоб.
Знал урядник, как звать,
Чтобы по́дать сбирать.
Посередке села
Всех казенка звала.
Много кличей слыхал
Тот, кто землю пахал.
Ну, а этакий зов
И неслыхан и нов:

«Озаряйтесь, крестьяне,
Ильичевым огнем!
Солнце знанья румянит
Села радостным днем!»

В темноте зимних хат
Звездоглазых ребят
Разбудил красный зов,
Растревожил отцов,
Матерей, сильных жниц,
Всколыхнул, словно птиц.
И пошел говор, гул,
Деда с печки стянул.
Вдоль по улицам сёл
Шум веселый расцвел.
Мыслей радостный гуд
Вьется в сонном мозгу.
Вширь беседа идет,
По дорогам бредет,
Клич зовет и кричит,
Смело в избы стучит:

«Озаряйтесь, крестьяне,
Ильичевым огнем!
Солнце знанья румянит
Села радостным днем!»

На реке, вдалеке,
Стук работ на песке,
И плотина гудит,
И машина стучит,
И под сеть проводов
Из темничных годов
Стать готов каждый двор,
Каждый дом и забор.
Свет лучин, керосин,
Вместе с грузом кручин,
Потускнел, отошел.
Будет жить хорошо
С Ильичевым огнем
Каждый двор, каждый дом.

«Озаряйтесь, крестьяне,
Ильичевым огнем!
Солнце знанья румянит
Села радостным днем!»

1925

375. КРАСНЫЙ ПЕТУХ

Над синей речкою парною
Луга ползут на косогор.
Ребята с лошадьми в ночное
Пришли и развели костер.
Таща опутанные ноги,
Кругом лошадки разбрелись.
Пыль не клубится на дороге,
И звездами пестреет высь.
Трещат в костре кора и ельник.
Кукушка кончила свой счет.
Огонь, веселый рукодельник,
Из дыма кружево плетет.
«Да, здесь теперь луга пустые! —
Сказал седой пастух Пахом. —
А в годы, помнится, былые
Здесь был большой господский дом.
Тому назад всего лет двадцать
Тогдашний барин наш тут жил».
— «Куда же мог тот дом деваться?»
— «А ну-ка, дедко, расскажи!»
— «Куда девался? Мы спалили!
Уж очень барин нас допек!
Мы б и его тогда прибили,
Да он пустился наутек.
Одна была в крестьянах сила —
Вот этот красный наш петух!
Деревня барина спалила,
Да скоро наш огонь потух.
Пришли с нагайками отряды,
Пороли, били — всех подряд.
Забить до смерти были б рады,
Да не под силу им наш брат!

Теперь бы ел наш барин сенце
Иль в батраках мозоли тер!..
А ну, подбрось еще поленце,
Чтоб не потух у нас костер!»

1925

376. ДЕЛЕГАТКА

Бабка ей над колыбелью
Пела тихий плач обид.
Под японскою шрапнелью
Был отец ее убит.

Брат ее таскал солому
Жечь усадьбы в Пятый год.
Труп его в кровавый омут
Уволок казачий взвод.

Нищета была ей школой,
Горе было букварем,
Гнула к одури тяжелой
Церковь богом и царем.

И когда на немцев гнали
Молодежь ее села,
Не по воле, а с печали
За седого замуж шла.

Жизнь ее сомкнулась клеткой,
Нет ей выхода нигде.
И хотелось ей нередко
Утопить себя в пруде.

Билась, маялась три года,
Смертью веяло с полей.
И когда пришла свобода,
Не поверила и ей.

Но с околицы в окошко
Песня новая земли
К ней рвалась, когда с гармошкой
С фронта рваные пришли.

И пошла большая склока...
Свет пошел от темноты.
Забрался голяк высоко
В комитетах бедноты.

Усмехалась, не поверив,
Вспоминала Пятый год.
Налетят опять, как звери,
И затопчут алый всход.

Звери вправду налетели,
Но деревня в лес ушла.
Спят на огненной постели
Белых черные тела.

И она пошла со стайкой
Одичалою крестьян
И была в лесу хозяйкой
У отважных партизан.

Шаг за шагом гнали белых,
Стало строиться село.
С лавок изб осиротелых
Племя новое пошло.

Лютый спор занялся в хатах:
Есть букварь, а бога нет,
Загорелся на девчатах
Комсомола маков цвет.

Ильича сбылась догадка,
Озимь буйно в рост пошла:
На трибуне — делегатка,
Выборная от села.

Робко ей, но в сердце буря.
Ни жива и ни мертва,
Собирает, лоб нахмуря,
Непокорные слова.

Но за каждым словом опыт,
Сельской правды зоркий глаз
И веков счастливых топот,
Что летят уже на нас.

1925

377. ЯСЛИ

«Чтоб ребенок наш был счастлив, —
Марья с ходу речь вела, —
Нужно нам устроить ясли
Для всего как есть села».
— «Верно! Правильно! Устроим! —
Загудел, как улей, сход. —
Где ребят, примерно, трое,
Там помеха для работ!»
— «Так пускай, — учила Марья, —
Каждый что-нибудь дает!
С самогонной вашей гарью
Больше сносите расход!»
— «Мы дадим!» — село сказало.
И, когда давать пришлось,
Нанесли вещей немало,
Потихоньку, каждый врозь.
Приносили шито-крыто
Драгоценное добро:
Кто — дырявое корыто,
Кто — пробитое ведро.
Два яйца, иль клок овчины,
Иль надтреснутый горшок,
И непроданной холстины
Кто — аршин, а кто — вершок.
А ребят простоволосых
Натащили клад большой —
Синеглазых и курносых,
И с чесоткой, и с паршой.
Закаталась сыром в масле
Марья с этаких хлопот!
И открыла Марья ясли,
И опять собрался сход.

Марья очень деловито
Начала читать доклад:
Мол, дырявое корыто
Дал старательный Панкрат,
От Ивана Кузьмичева
Поступило... — Гул пошел:
«Не читай! Мы верим слову!
Всё ведешь ты хорошо!
Мы еще дадим! Наладим!
Только нас ты не срами!
Спрячь скорей свои тетради!
Всем поделимся с детьми!»
— «Надо ж, граждане, с отчетом
Познакомиться моим!»
— «Мы знакомы! Ну да что там!
Мы сейчас же всё дадим!»
И всем сходом потащили
Кто подушку, кто кровать,
Кто муку. И ясли были
Вскоре слажены на ять.

1925

378. УБИЙСТВО СЕЛЬКОРА

Это там, в заозерных трясинах,
Это там, в соловьиных лесах.
Это в наших, родимых и синих
От простора и снов, полосах.
Это там, в хороводе избушек,
Под соломенной крышей веков,
Где с песчаной дороги-горбуши
Разручьинилась Русь широко.
Это там
наползала
шершавая
ночь.
По кустам,
по лозам
прошуршала —
и прочь.

И рассвет,
как удар
топора
вдоль виска,
Алый свет,
как пожар,
распластал
в облаках.
Там, на дороге, дождями омытый,
Руки раскинув, простерся убитый.
В горе застыла жена молодая.
Плачет ребенок, отца пробуждая.
Нет. Он не встанет. Он лег навсегда.
Грузно легла на деревню беда.
Тем, кто боролся за правду и свет,
Древняя дурь отдала свой ответ.
В землю уходит из тела тепло.
Вот каким севом земле повезло!
Эх ты, деревня, кого ты убила!
Юный селькор — твоя лучшая сила!

Будет бессмертною память
Павших в безлюдье глухом.
Выше газетное знамя!
Правда сверкает на нем!

1925

ГРАНЬ

Лирика

1918—1928

РОГНЕДЕ РЕТИ

379

Отдыхай всей грудью,
Смотри в этот сумрак,
Слушай эту ночь!
Что было — не будет.
Тому, что ты умер,
Ничем не помочь.

Утро из сумерек,
Радость из бедствий,
Из чернозема рожь —
Не только ты умер,
Но ты и воскрес ведь,
И новым живешь.

⟨*1929*⟩

ОДИН В ПУСТЫНЕ

380. ТРЕВОГА

Напрасно ищешь тишины:
В живой природе нет покоя.
Цветенье трав и смерть героя,
Восторг грозы и вой луны,

Туч электронных табуны,
Из улья вешний вылет роя,
Вулкана взрыв и всплеск прибоя
В себе таинственно равны.

Нирваны нет. Везде тревога!
Ревет у твоего порога
Полночных хаосов прилив.

Не бойся никакой Голгофы.
Весь мир плененной бурей жив,
Как твоего сонета строфы.

Июнь 1918
Тифлис

881. АРФА

Из хрусталя незримого фиала
Струя ручьи пленительных элегий,
Как лилия надменная, стояла
Ты, арфа, вестница тоски и неги.

Но мысль творцов преград еще не знала
На вековом пути от альфы до омеги.
И черный гроб воздвигнут в бездне зала
С отливом лунно-синим, как у Веги.

Погребена в нем арфа золотая.
Но не бессмертна гробная печаль:
Из каждой гибели есть воскресенье.

В озера снов бросая гроз горенье,
В гирлянды грома лепет волн вплетая,
Могущественный зазвучал рояль.

24 октября 1918
Тифлис

382. ПОДРУГА

Уста в уста, смугла и горяча,
Не расстаюсь с тобой среди скитаний.
Под душным шелком от моих лобзаний
Трепещет тело алого луча.

И где б я ни был, иго дней влача,
Без жалобы, без плача, без стенаний,
Горишь и гаснешь от моих вздыханий,
Как жертва под руками палача, —

Ты, ставшая давно моей рабыней,
С кольцом на шее тоненькой стальным,
В безумной бездне дня, пустой и синей,

Под звездно вытканным шатром ночным, —
Всегда со мной, как верная голубка,
Моя, в мечтах прокуренная, трубка.

1918
Тифлис

383. ВЕЧЕР

От гор ложатся тени
В пурпурный город мой.
Незримые ступени
Проходит час немой.

И звон соборов важных
Струится в вышину,
Как шепот лилий влажных,
Клонящихся ко сну.

И тихо тают дымы
Согревшихся жилищ.
И месяц пилигримом
Выходит, наг и нищ.

Птенцов скликают птицы
И матери — детей.

Вот вспыхнут звезд ресницы
Потоками лучей.

Вот вздрогнет близкой ночи
Уютное крыло,
Чтоб всем, кто одиночит,
От сердца отлегло.

12 ноября 1918

384. НОЧЬ

О как больно вспомнить мне
В этой звездной тишине
Всё, что было, что прошло,
Всё, что сам я сделал зло.

Ничего не изменить.
Только тоненькая нить
Не дает мне ввысь уйти
С запоздалого пути.

В темноте один иду.
В чьем-то радостном саду,
За высокою стеной,
Меж деревьев шум ночной.

И доносятся едва
Незабвенные слова,
Что забыли жизнь мою:
«Милый... Милая... Люблю...»

8 июля 1917
Тифлис

385

Налегла и дышать не дает
Эта злобная, зимняя ночь.
Мне ее ни с земли, ни с высот
Не согнать, не стащить, не сволóчь.

Есть для глаз пара медных грошей,
Лихо пляшет по телу озноб.
Мчится в крыльях летучих мышей
Мимо окон измерзнувший гроб.

Золотой чешуею звеня
И шипя издыхающим ртом,
Гаснет в мокрой печи головня,
Холод барином входит в мой дом.

Не стянуть отсыревших сапог
И пальтишком костей не согреть.
Но весны нарастающей рог
Мне трубит, что нельзя умереть.

1919
Тифлис

386. ЧЕРЕПА

Я боюсь получасов
Одинокого удара.
В них отмстительная кара,
Гнусный шепот мертвецов.

Их медлительность тупа,
И звучат они по дому
Ужасом всему живому,
Как пустые черепа.

Утром подвиг, днем мечта,
Ночью алая пучина.
В каждом часе есть личина,
В получасе — нагота.

Он бесстыден и безлик,
Безобразно одинаков.
Нет страшней у смерти знаков.
Чем беззубый этот крик.

И когда, друзья, средь нас,
Издевающийся, хилый,
Как со дна гнилой могилы,
Раздается получас —

Знайте: кончен жизни сон,
Если сердце ненароком,
Иль обманутое роком,
С ним ударит в унисон.

2 февраля 1919
Тифлис

387. РЕШЕНИЕ

Ужели умереть вдали
Единопламенных вулканов
И в недра темные земли
Уйти с лицом необожженным?

Нет, я из гроба убегу,
Свой саван выброшу кровавый
В лицо огромному врагу,
Как зарево моей свободы.

Холодный ветер снежных гор
И двух озер кавказских буря
Забросят в северную степь
Раскаты песенного грома.

И миллионами сердец
Со мной созвучная Россия
Сплетет из гроз своих венок
На череп мой, сгоревший в грезах.

21 января 1920
Баку

388. НЕНАВИСТЬ

Я все ношу в себе отравы,
Что Русь рабов хотела дать,
Чтобы ни радости, ни славы
Мне не изведать никогда.

Но я могу вас, молодые,
Едва блеснувшие лучи,
Провесть сквозь сумраки седые
И ненависти научить.

Что́ нам любить, что́ ненавидеть,
О, если б знал я, если б знал,
Когда сжигал я силы, идя,
Куда слепая шла весна!

Когда искал я по болотам
Какой-то неземной красы,
Беснуясь: «Китеж, вот он, вот он!» —
С толпой безруких и косых.

Когда я падал в лес полночный
Сухого трепетней листа
И сладострастья плен порочный
Священным таинством считал.

Когда хотелось мне истаять,
В немой природе изойти,
Когда любая птичья стая
Была мне знаменем пути...

Не выплатить былому дани...
Но груз былого сброшу с плеч,
Чтобы болотища блужданий
Пожаром ненависти сжечь.

1922
Москва

СТИХИ УШЕДШИМ

389. Н. Е. ЖУКОВСКОМУ

В проулочках, где Чистые пруды,
Где цел еще былой уют московский,
Он жил, в седые погружен труды,
Наш Николай Егорович Жуковский.

Во дворике старинный особняк
Не рушится наперекор Ньютону,
Хоть в щелях стен давно свистит сквозняк
И все оконушки давно уж стонут.

В светелках тесных мир и тишина.
А в кабинете — просто умиленье.
Здесь жизнь числа вселенского слышна,
Здесь в сердце формул спрятано движенье.

Всегда скромны обители идей:
Большой диван, столы, шкафы и книги.
Всё простенько, как у простых людей.
Но вечность здесь разложена на миги.

Отсюда на бескрайние края,
Где движутся небесные светила,
В незримые глубины бытия
Владычной мысли простиралась сила.

Отсюда не страшна пространства тьма
И времени поток (часы без боя!).
Здесь смерти нет: она ушла сама.
Здесь шуткой кажется борьба с судьбою.

Быть может, комната еще одна
Найдется средь людских уединений,
Таких же дерзких замыслов полна, —
Та комната, где жил полярный гений.

О крыльях, о круженье вихревом,
О беге волн, о натиске заносов,
О малом и большом, о всем, о всем
Так думал лишь Михайло Ломоносов.

Вечерний час. Уж подан самовар
И песенку старинную заводит.
Душистый запах меда носит пар.
Вот Николай Егорович выходит.

Огромный лоб. Могучие виски.
(Но где резец великого скульпто́ра?)
И бороды библейской завитки,
И глубина задумчивого взора.

Напоминает всё какой-то лик родной,
Всем близкого, премудрого пророка.
Отец Адам? Иль корабельщик Ной?
Или иной противоборец рока?

Заговорил... И мысли острие
Простую цифру видит в каждом чуде.
Как стройно в числах наше бытие!
Как хорошо, что есть такие люди!

13 марта 1916

390. ВЛАДИМИРУ ЮНГЕРУ

И вечер сегодня дымился и плакал,
И ты за плечами стоял в тишине.
Закат рассыпался кошницами мака,
Про дальнее детство рассказывал мне.

Как «Мальву» читали, и бегали лесом,
И сфинксов ловили, играли в лапту,
И в поле дождливом, под финским навесом,
То к Ницше, то к Марксу гоняли мечту.

Влюблялись, друг другу читали поэмы
И красками бурно пятнали картон.
Над Иматрой пенной, смущенно и немо,
Грядущего слушали бешеный звон.

Зачем же ушел ты, как будто обманом,
И в маске оставил улыбку тоски,
Свой звук недопетый развеяв туманом
Над гипсовой тенью красивой руки?

В задумчивой комнате, в сукнах зеленых,
Не встретимся больше для долгих бесед.
Но светит в извивах ума отдаленных
Потерянной дружбы ласкающий след.

1921
Москва

391—392. *АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ*

1

Увенчан терном горькой славы,
Властитель ритмов дней багряных
Ушел в печали величавой,
В недугах и кровавых ранах.

И пусто лесу у опушки,
И полю в цвете милом убыль.
Ушел туда, где светит Пушкин,
Ушел туда, где грезит Врубель.

И ранит небо грудь лебяжью,
Закатами кровавит дали.
Болотный попик в глубь овражью
Бежит, заплакан и печален.

Фабричных улиц перекрестки,
Ушедшим солнцем озаряясь,
Затеплились слезою блесткой,
И чахлых веток никнет завязь.

А на мосту, вся в черном, черном,
Рыдает тихо Незнакомка
О сне, минувшем неповторно,
О счастье молнийном и ломком.

Ушел любимый. Как же голос
Неизъяснимый не услышим,
Когда на сердце станет голо,
Когда захочется быть выше?

1921
Баку

2

Вчера, на вьюге, средь жемчужной
Снежинок радостной возни,
С улыбкой нежной и недужной
Со мною рядом он возник.

Всё та же русская дорога
Ухабами вздымала даль.
Ямщик над клячей злился: «Трогай!» —
И взвизгивали провода.

Метели пьяная охапка
В ногах крутилась колесом.
Его барашковая шапка,
Чуть сдвинутая на висок.

Перчатки, поступь, голос, облик —
Всё, всё как прежде, как всегда.
И только взор лучами облил,
Каких я в жизни не видал.

Обычное рукопожатье,
Литературный разговор.
«Опять предательствуют братья
И критики стрекочут вздор».

Лудили острые пылинки
Околыш шапки в серебро.
«Ну, как понравились поминки?»
— «Могила славе нашей впрок».

«Ты знаешь, переводит турок
Мамед Эмин твои стихи».
— «Да, но у нас литература
Еще в плену годов глухих».

«Но знаешь ты, что зреют зерна,
Тобой посеянные в нас,
И песней новой и просторной
В стихах провеяла весна?»

«Всегда ты прытким оптимистом
Был. . .» Вихрем взвизгнула метель.
И он прислушался лучисто,
Что спела вьюжная свирель.

И недопетых песен гнетом
Болезненно нагрузнул лоб.
А в голос бури, к снежным нотам,
Звучанье солнца протекло.

Полночный вихрь в лицо летел нам,
Но пламя чудилось за ним.
К кремлевским подошли мы стенам,
К могилам мертвых ледяным.

Он шапку снял. «Прощай. Пора мне».
Сжег губы братский поцелуй.
И за высоким черным камнем
Укрылся в снеговую мглу.

И тотчас от реки зарею,
Ручьями, солнцем, синевой
Забунтовало под горою
Весны внезапной торжество.

И поднялось, и налетело
Счастливей звезд, страшнее сна,
Как будто дух свой, песню, тело
Всё отдал он, любимый, нам.

1923
Москва

393. БОРИСУ ВЕРХОУСТИНСКОМУ

Ушел. И песня недопета.
И улыбаешься в земле
Улыбкой мудрою скелета
Сгоревших грез седой золе.

И мучит мозг воспоминанье:
«Кресты». Угрюмый каземат.
Ключа в большом замке бряцанье
И рядом ты, нежданный брат.

Ты в триста восемьдесят пятой,
Я по соседству был в шестой.
Но пламя юности распятой
Тюрьму взрывало красотой.

Всю ночь сквозь стенку разговоры
С кувшином-рупором в руке,
Под шаг тюремщика нескорый,
Под взором каменным в глазке.

Потом проклятою дорожкой
Прогулка будто на цепи.
Два слова, брошенных сторожко,
И очи — как цветы в степи.

Ты был бездумный и веселый,
Как звон весеннего дождя,
И маловишерские села
Тебя любили, как вождя.

Барахтались мы вместе в лапах
Литературных пауков
И Волхова мятежный запах
Ловили вместе буйством слов.

Бывало, вместе голодали
И вместе пели за вином...
Как безнадежны эти дали,
Где ты пустым окован сном!

Какая боль, что в этом счастье,
В грозе восторга, в песне сил,
В творящем нашем советвластье
Ты далеко в лесу могил.

⟨1920⟩

394. ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ

В те годы, в страшные те годы,
Когда в провале двух эпох
Мерцали мертвые эподы
Кошмарами Эдгара По, —

Когда свирелями Верлена
Звенел в поэтовой молве
Закон губительный: из плена
Лети, лети! — Au vent mauvais! [1]

Когда как мертвых листьев шорох
Был слог, был звук, был лепет слов,
Зануженных в шаманьих шорах, —
Свое он начал ремесло.

Да. Помним. Заласкать мещане
Хотели бронзу, сталь и медь,
Чтобы от их проржавых тщаний
Гортани гневной онеметь.

Но Врубелем в тончайший контур,
Собой — в законченный портрет
Навеки впаян, — горизонту
Ночному был он строгий свет.

Кругом на отмели и рифы
Бросались в гибель корабли,
И клювами когтили грифы
Мыс Прометеевой земли.

Кликуши плакали и выли,
Освистывали пьедестал
И злобой харкали — не вы ли,
Кто нынче в гроб ему рыдал?

Он устоял, шальному тропу
Подковой мягкий рот стеснив,

[1] На злом ветру (франц.). — *Ред.*

Валун Рутении в Европу
Перегранил — Бореем с нив.

И стал над безднами провала,
На грани берегов иных,
На догоранье карнавала
Смотрел с презреньем седины.

И первым смелым из былого
Вошел в огонь, в грозу, в Октябрь,
Свое взыскующее слово
С багряной бурею скрестя.

1924
Москва

395. ВЕЛИМИРУ ХЛЕБНИКОВУ

За взлетом розовых фламинго,
За синью рисовых полей
Всё дальше Персия манила
Руками старых миндалей.

И он ушел, пытливо-косный,
Как мысли в заумь, заверстав
Насмешку глаз — в ржаные космы,
Осанку денди — в два холста.

Томился синий сумрак высью,
В удушье роз заглох простор,
Когда ко мне он ловкой рысью
Перемахнул через забор.

На подоконник сел. Молчали.
Быть может, час, быть может, миг.
А в звездах знаки слов качались,
Еще не понятых людьми.

Прорежет воздух криком птичьим,
И снова шорох моря нем.

А мы ушли в косноязычье
Филологических проблем.

Вопрос был в том, вздымать ли корни,
Иль можно так же суффикс гнуть.
И Велимир, быка упорней,
Тянулся в звуковую муть.

Ч — череп, чаша, черевики.
В — ветер, вьюга, верея.
Вмещался зверь и ум великий
В его лохматые края.

Заря лимонно-рыжим шелком
Над бархатной вспахнулась тьмой,
Когда в луче он скрылся колком,
Всё рассказав — и всё ж немой.

И лист его, в былом пожухлый,
Передо мной давно лежит.
Круглеют бисерные буквы
И сумрачные чертежи.

Урус-дервиш, поэт-бродяга
По странам мысли и земли!
Как без тебя в поэтах наго!
Как нагло звук твой расплели!

Ты умер смертью всех бездомных.
Ты, предземшара, в шар свой взят.
И клочья дум твоих огромных,
Как листья, по свету летят.

Но почему не быть в изъяне!
Когда-нибудь в будой людьбе
Родятся всё же будетляне
И возвратят тебя в себе.

1925
Москва

396. СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Ты был мне сыном. Нет, не другом.
И ты покинул отчий дом,
Чтоб кончить жизнь пустым испугом
Перед весенним в реках льдом.

Ты выпил всё, что было в доме,
И старый мед и древний яд,
Струя запутанный в соломе,
Улыбчивый и хитрый взгляд.

И я бездумно любовался
Твоей веселою весной
И без тревоги расставался
С тобой над самой крутизной.

А под горой, в реке, в теснинах,
Уже вставали дыбом льды,
Отец с винтовкой шел на сына,
Под пули внуков шли деды.

Былое падало в овраги,
И будущее в жизнь рвалось.
На мир надежды и отваги
Враги накаливали злость.

И разгорался бой упорный,
Винтовка приросла к рукам.
А ты скитался, беспризорный,
По заунывным кабакам.

Ты лебедем из грязи к славе
Рванулся дерзко. И повис.
Ты навсегда мой дом оставил,
И в нем другие родились.

Река несла под крутизною
Испуганный ребячий труп.
Ладонь обуглилась от зноя,
Сломались брови на ветру.

1927

397. ДМИТРИЮ ФУРМАНОВУ

В какой-то щели Госиздата,
Средь вороха бумажных дел,
Я повстречал такого брата,
Каких по крови не имел.

Он обласкал огромным взглядом,
Обмолвясь: «Только не кури!»
И вдруг в беседе, близко, рядом,
Я увидал крыло зари —

Той, что, бесстрашием вскипая,
Гнала в пустыню Иргаша,
Той, для которой пал Чапаев,
Той, что до солнца хороша.

И часто после, неутомно
По лестницам стихи влача,
Я в маске труженика скромной
Лицо героя различал.

И сплелся я лучом незримым
С улыбкою его зари,
Когда о книгах, о любимых,
Со мной он грустно говорил:

Что вот нельзя. Что много дела.
А то бы сколько написал...
И вдруг — могила мхом одела
Бессмертной бури голоса.

1927

ОСВОБОЖДЕНИЕ

398. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Напрягая последние силы,
Я ушел, обезумев весной,
Из огромной братской могилы,
Где почил мир, когда-то родной.

И под свист весенней метели,
Пробираясь ввысь по тропам,
Не смотрел я, как милые тлели,
Как глаза их ушли в черепа.

Забывал, сколько чувств и мыслей
Я оставил там, за собой.
Ведь вселенная на коромысле
Закачалась, гремя борьбой.

И вознесся я с нею в пламя
Небывалого бытия.
О века грядущие, с вами,
Навсегда теперь с вами я!

В новый мир за трудом веселым,
Не сгибаясь под грузом гроз,
Я богатым пришел новоселом,
Я так много с собой принес!

Но бывает, что в час унылый
Я боюсь быть один с тишиной.
И бегут родные могилы,
Кивая крестами, за мной.

1926

399. ПРАБАБКА

Рогнеде Г⟨ородецкой⟩

Обветренною босоножкой,
Смела, смешлива и смугла,
Она под барское окошко
Сплясать и погадать пришла.

Монисто на груди блестело,
Струились косы в два ручья,
И темное дышало тело
Из разноцветного тряпья.

Сердитый прадед был в халате,
В ермолке, с длинным чубуком,
И злился, что шутя истратил
Деньжонки за орловский дом.

Но всё ж, вооружась лорнетом,
Он на цыганку поглядел —
И вздрогнул. Дело было летом.
Цвели кувшинки на пруде.

Смеясь, к цыганке прадед вышел,
И жадный взор холостяка
По ней узор горячий вышил,
И по груди и по щекам.

И буйно вспыхнуло здоровье
В крови его набухших жил.
С своей упрямостью воловьей
Он жребий свой и мой решил.

Засел с бурмистром в кабинете,
На счетах щелкал и кричал:
«Купить сейчас же! Иль в ответе
Ты будешь с пятки до плеча».

С деньгами было очень слабо,
Иль дом закладывать опять?
Всю ночь галдел под садом табор:
Берет женой или гулять?

Уж прадед звал бурмистра высечь,
И солнце искрилось в росе,
Когда решили: сорок тысяч,
Законный брак и пир для всех.

Согласен! И с гортанным пеньем
Цыгане ринулись к вину,
Ценой последнего именья
Помещик приобрел жену.

И в дом вошла цыганка павой,
Моей прабабушкой вошла.
Соседи вкруг охальной славой
Звонят во все колокола:

«Скандал! Жениться? Что за бредня?
Купил, так потихоньку жри!»
И лутовиновская ведьма
Топорщилась: «Quelle sauvagerie!» [1]

Но, крепок нравом неминучим,
Веселый от своей судьбы,
На свадьбе всех споил Анучин
От парадиза до избы.

Кутили всласть. Плясали пары.
И прадед слушал визготню.
Потом спустил борзых поджарых
На охмелевшую родню.

И разметалась в изголовье
Цыганских кос густая тень.
Спасибо, прадед! Дикой кровью
Ты сбил с меня дворянства лень.

И я люблю коней, и пляску,
И пыль дорог, и дым костров.
Цыганки полевую ласку
Вы пьете из моих стихов.

1926

400. ВЕРБЛЮД

За простой человеческой лаской
Я блуждаю по всем этажам,
И восточной мне кажется сказкой
Этот путь мой по мертвым глазам.

---

[1] Какая дикость! (Франц.). — *Ред.*

За конторки, в столы и диваны
Вы засунулись, высунув лбы;
А в пустынях бредут караваны
За миражем песков голубых.

Восковые вы куклы иль люди?
За стекляшками глаз — ничего!
Я мечтаю о рыжем верблюде,
О глазах человечьих его.

Изможденный, усталый, нелепый,
Переход совершая большой,
Он однажды в старинные склепы,
Умирая от жажды, зашел.

Чинно в склепе сидели скелеты.
Каждый важно смотрел пустотой.
Перед каждым мечи и браслеты.
Перед каждым кувшин золотой.

С виду тоже как будто и люди,
Но без жажды, хоть бешеный зной.
Было мало терпенья в верблюде.
Плюнул в них он последней слюной.

За простой человеческой лаской
Я блуждаю по всем этажам,
И восточной мне кажется сказкой
Этот путь мой по мертвым глазам.

1926
Москва

401. МОЙ САД

Мне выпала печальная услада
Устами юных рассказать свое.
Я широко раскрыл ворота сада,
Где сам засеял песен забытье.

Мой заповедный сад, мой потаенный!
Ты весь, мой сад, пошел на семена,
И я смотрю, как дуб уединенный,
На всхоженные мною племена.

Я вы́ходил березе белотелой
Стыд девичий и слезы, злей людских,
Чтобы ее печалью оробелой
Звенел рязанского страдальца стих.

Я звонницу построил в куще сосен,
Чтоб застонали ввысь колокола
И синева онежских древних весен
Слепым певцам пригрезиться могла.

Я Волги зачерпнул ковшом созвездья
И корни вволю буйством напоил,
Чтоб по увеям леса вольной вестью
Ширяевские пели соловьи.

Мой вешний сад, как ты богато вырос!
Как широко гудит зеленый звон!
Ни вихорья времен, ни крови сырость
Не тронули твоих высоких крон.

И речь идет по певчему народу,
Что мне пора, давно уже пора
Свалить себе на смертную колоду
Хороший ствол ударом топора.

Но мне еще не хочется под дерен.
Я сруб рублю. А в сад старинный мой
По вечерам, работою заморен,
Хожу дышать животворящей тьмой.

И по́росли так веселы, так свежи,
Теснятся, тянутся избытком сил,
Как будто бы они всё те же, те же,
Которые когда-то я садил.

1926

402. СОЛНЦЕ

Утро синее. Солнце в окно.
Жизнь намчалась, как галочья стая.
Всё былое во мне сожжено,
И грядущее жжет, вырастая.

И откуда такая мне синь?
И откуда такая мне радость?
Я пришел из кровавых пустынь,
Из-за проволок тесной ограды.

Были — помню как будто в бреду —
Трупы втоптаны в липкую землю.
Под луной я в ущелье иду,
И вокруг меня мертвые дремлют.

И вокруг меня волки стоят,
Над скелетами плачут шакалы,
Что людей пожирает снаряд,
Что достанется мяса им мало.

Очень просто был мир поделен:
Были только живые и трупы.
Было трудно с мирских похорон
В жизнь ногою обмотанной хлюпать.

Но пришел я, себя волоча,
Рядовым в огневые колонны,
И горело древко у плеча,
Подымая плакат раскаленный.

В ногу с юностью! В ногу с тобой,
Молодое, веселое племя!
Отпугни пионерской трубой
Гроба раннего легкое бремя!

Всё, что знаю, — скажу. Всё отдам,
Что скопил за тяжелые годы,
Этим жадным бессчетным глазам,
В эти ярые первые всходы.

Солнце юности! Стало быть, ты
Подарило мне смелую силу
Путь найти из-за мертвой черты
И забыть помогло про могилу.

Чтобы мог я понять лишь одно,
Что пою, из себя вырастая:
«Утро синее! Солнце в окно!
Жизнь намчалась, как галочья стая».

Апрель 1926

403. ПЕРЕД СТИХАМИ

Нет, не белый взлет метелей
Над землей необозримой.
Нет, не судорога в теле
Неразгаданной любимой.

Нет, не шаг ночных прохожих
В тихий дом, к теплу и свету.
Нет, не гул весенней дрожи
В горных льдах, летящих к лету.

Это тише шума листьев,
Рвущих почки. Легче звука.
Это зимних звезд лучистей.
Это радостная мука.

Это в самых малых по́рах
Сердца, жаждущего биться.
Это шелест слов, в которых
Мысль моя сейчас родится.

1926

404. НАД КОМПЛЕКТОМ ГАЗЕТЫ

О. С. Литовскому

Шуршат пожухлые страницы,
Бумага желтая бледна.
Но сквозь заглавных букв ресницы
Какие смотрят времена!

С какой товарищеской лаской
В себя впивали новый мир
И этот корпус с блеклой краской,
И этот стертый эльзевир!

Наборные старели кассы,
Сбивались армии шрифтов,
Но бороной в людские массы
Врезались полчища листов.

И невозможно без волненья
Держать седой комплект в руках, —
Истории сердцебиенье
Я слышу в буквенных рядах.

Я помню: мерзнули чернила,
В шинели мерзнул журналист, —
Но даль грядущего манила
Всего себя влить в этот лист.

И мысль, исхлестанная болью
Гражданских бедствий и войны,
Рвалась со всей людскою голью
На ленинские крутизны.

И вот мы год за годом крепнем,
Неукротимо мы растем.
И если шаг наш старым щебнем
Замедлен — щебень разметем.

И если час случится хмурый,
Устанет мозг от маеты,
Милей нам всей литературы
Вот эти желтые листы.

1927

405. В ПУТИ

Вся под фатой хрустящей снега,
Земля невестится, стыдясь.
Мороза огненная нега
Под сердце ей подобралась.

Ручей в овраге стынет льдиной,
Рогатый дуб над ним — как лось,
Огромной ягодой-рябиной
Над лесом солнце налилось.

И сколько тут ты ни проедешь,
За плечи сколько верст ни кинь,
Всё будут ластиться соседи —
Снега земли и неба синь.

Ребенком, в розвальнях, как в зыбке,
Баючусь в угол из угла.
Земля-невеста по ошибке
Меня до свадьбы родила.

1927
Казань

406. ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Устал. И кровь слабеет алая,
Под сердце накатив нагрузку.
Жжет голову подушка впалая,
Бессильно стонет каждый мускул.

Свинцом листовым давят простыни,
Просвет окна — ожог для глаза.
И пульсами виски исхлестаны,
Ускоренными до отказа.

Еще вчера какими планами
Извилин молнии блестели!
И вот болезнь руками пьяными
Меня свалила в гроб постели!

Какое мне уничижение!
Надменности какая проба!
Я — поле дикого сражения
Между мильярдами микробов.

Я слышу: кровяные шарики
Шрапнелью острой рвет плазмодий —
И гибнут красные ударники,
Бойцы слабеют в каждом взводе.

Я погибаю. В тяжком выпоте,
В невыносимых муках бреда
Мой мозг напрасно хочет выпытать,
Где выхлестнет моя победа.

И я — не я. И мне уж кажется,
Что плоть моя растет в равнину,
Где интервент сейчас отважится
Свободе вырвать горловину.

Где Врангелю Колчак над Волгою
Кровавую сквозь версты руку
Протягивает, плеткой щелкая
По мокнущему трупов туку.

Что вот сейчас всё будет кончено
Под круговым наплывом полчищ —
Меня не будет в яви солнечной,
Республики не будет больше!

Не может быть! Сопротивление!
Я не хочу! Все в узел нервы!
Бросаю я в огонь сражения
Свои последние резервы.

Схватились. Пытка неповторная.
Сейчас сознание отступит.
Но смутно слышу: море Черное
Качает вражеские трупы.

Метель в тайге бежит за белыми.
Крепчают красные становья.
И мускулами оробелыми
Крадется первый вздох здоровья.

Я победил! В окошко пятнами
Косится луч зари отлогой.
Какое утро необъятное!
Как ярок свет! Как жизни много!

1927

407. ЯМБЫ

Там, в старине, я вашим там был.
И я вас бросил. И опять
Вы на меня напали, ямбы,
Чтоб песню берегом обнять.

Всё, всё, что было в страшном мире,
Где задыхались старики,
Послушно строилось в четыре
Такие ж тесные строки.

Но мир ямбических поэтов
Огнем и кровью обновлен.
Я средь обугленных скелетов,
Упавших храмов и колонн.

А из развалин, из равнины
Встает несметный топот толп.
Они несут, как исполины,
Для новых зданий первый столп.

Старинный ямб, ты стал мне тесен!
Загрохотавшее борьбой,
Во мне, дрожа от новых песен,
Переменило сердце бой.

Я ритмы рвал. Был звук мой молод,
Как не звучавший никогда.
Я брал с постройки грузный молот.
Дробилось слово, как руда.

И вот, среди ударов грома,
Опять настала тишина.
К крыльцу построенного дома
Пришла счастливая страна.

Ямбы

Там, в старине, я важным там был
И я вас бросил! И опять
Вы на меня напали, ямбы,
Чтоб песню берегом обнять.

Вот в эти ритмы, в эти стопы
Вонзали мысль еще вчера
Российской Азии, Европы
Властительные мастера.

Томил их образов избыток,
И, как архитектура, нем,
Из сумрака блаженных пыток
Вздымался сводами поэм.

И все, что было, в странном мире,
Где задыхались старики,
Послушно рушилось в четыре
Такие ж тесные строки.

Но мир ямбических поэтов
Огнем и кровью обновлен.
А средь обугленных скелетов
Упавших храмов и колонн:

А из развалин, из равнин
Встает несметный топот толп.
Они несут, как исполины
Для новых зданий первый столп.

Они гремят, поют и строят
И все идут, идут, идут.
И вся земля дрожит порою,
Века сжимая в тысячу минут.

Там, в буре дней, чужим я вам был,
Немые ямбы! И опять
Вы на меня напали, ямбы,
Чтоб песню берегом обнять.

Сдаюсь. Ведь даже бури ропот
Вошел в глухие берега.
Пускай ямбические стопы
Скуют недавнего врага.

Весь этот гул годов багровых
Берите в тесный свой квадрат,
Пока раскаты взрывов новых
Его опять не раздробят.

1925
Москва

408. НАКАЗ

Прорвись огнем ума сквозь грохот,
Сосредоточься и пойми:
Настала новая эпоха,
Ты стал последним меж людьми.

И всё, что знал ты, что проведал
Сквозь шум мечты и дебри книг,
Лежит едва заметным следом
И жалко просит: зачеркни!

Немногое лишь пригодится,
И многое уснет в глуби.
И сам ты должен раздвоиться
И одного себя убить.

Другому же себе ребенком
Велишь ты в новый мир войти...
Как больно в этом солнце звонком
Глазам, ослепшим взаперти!

1928

409. РАССВЕТ

Опять рассвет. Из-под сознанья,
Как бы впервые наяву,
Деревья за окном, и зданья,
И молньеносное: живу!

И в форточку вздох ветерковый
Сквозь перламутровую мглу,
Такой волнующий и новый,
Как в губы первый поцелуй.

И первый скрип колес трамвая,
И тяжкий хруст грузовика.
И мозг трепещет, оживая,
И к стило́ тянется рука.

Поймать развеянные строки,
За ночь назревшие везде —
И в трепетном электротоке,
И в угасающей звезде.

И всем, кто в утреннем движенье
Былые растоптал года,
Вот это юное волненье,
Вот эту радость передать.

1928

ДУМЫ

Из семнадцатой книги стихов

410. 22—VI—41

Выходит в бой страна моя родная,
В столетьях закаленная борьбой.
Наполеона участь и Мамая
Ждет всех, кто вызывает нас на бой.

За что мы боремся? За то, чтоб люди
Могли свободно и спокойно жить,
В краю родном дышать свободной грудью,
Трудиться вольно, радостно творить.

За то, чтоб человеческая сила
Всю красоту, всю мощь раскрыть могла.
За то, чтобы Советская Россия
На благо всех народов расцвела.

Вы, молодежь, счастливых весен всходы,
Грядущих дней заветное зерно!
Народ растил вас в солнечные годы,
И родиною много вам дано.

На всех путях, на всех высотах новых
Вы победители и вы творцы,
На всех фронтах вы к подвигам готовы,
Упорные и дерзкие борцы.

Мы — старики. Но мы смелы по нраву,
В пороховницах старых порох есть!
Поможем защитить народа славу,
Отчизны незапятнанную честь.

В ответ на варварское злодеянье
Мы всей страной такой отпор дадим,
Что в даль веков о нас уйдет преданье
И вражья тьма рассеется, как дым.

22 июня 1941
Ленинград

411. ДРЕВНЯЯ РУСЬ

Колыбель твою качали
Волны рек, коней разбег.
В южном море, на причале,
Ветер грезил о тебе.

Пни драла ты на деревни,
И леса на север шли.
Под твоей мотыгой древней
Обнажалась грудь земли.

Молоко ее парное
В губы, мака розовей,
Ты впивала с вешним зноем,
Чтоб родить богатырей.

И под кружевом кольчужным
По́том бранным оросясь,
Шли они союзом дружным
Защищать Дунай и Сясь.

Помним отблеск лезвий ржавый,
Лязг колчанов, высвист стрел,
В стягах шум победной славы,
Вражьи трупы на костре.

Видим, как горит солома
На шестах, зовя на бой.
Бердышами по шеломам
По секирам булавой!

И в обветренных закатах,
В окровавленных снегах
Видим тенью вороватой
Отступавшего врага.

Ничего мы не забыли!
В недрах сердца мы храним
Дни, когда дубьем гвоздили
Темя недругам своим.

Славы, предками добытой,
Не утратим никогда.
Вновь волчицею подбитой
Уползет от нас беда.

1941
Москва

412. 1812 ГОД

Не метель летит — метелица
Лебединым пухом стелется.

По дороге едут всадники.
То враги иль наши ратники?

Коль враги, так встретим вилами,
Коль свои, пойдем мы с милыми.

Угостим мы наших воинов
Пенной брагой долгостойною.

Напоим в речной излучине
Боевых коней измученных.

Разведем костры багровые,
Будем слушать вести новые.

Сколько горюшка накоплено!
Напились слезами допьяна!

Вдосталь бедами насытились,
Извели народ мучители.

Но жива страна, хранимая
Силой воинства родимого.

«Это наши! Это наши!
Скачут так, что вьюга пляшет
Под копытами коней.

Стойте, стойте, дорогие!
Расскажите, что с Россией,
Не взошла ль заря над ней?»

«Мы не дали силе вражьей
Нашей родиной владеть.
Это словом не расскажешь.
Это песней надо петь.

Как по пашням, по просторам,
По лесам да по лугам
Пробирался хитрым вором
Чужеземный ворог к нам.

Как с неслыханной обузой
Под селом Бородиным
Наш расправился Кутузов
По заветам старины.

Как мы гнались за врагами,
Как им солоно пришлось,
Как метелью да снегами
Помогал нам дед-мороз.

Как на речке на Березе,
На реке Березине,
Ворог ноги обморозил,
Упокоился на дне.

Как двунадесять языков
Победила наша рать,
Как ворóну ворон кликал
Трупы ворогов клевать.

Так и всем вперед наука,
Кто посмеет грянуть к нам, —
Сыновьям врагов и внукам,
Нашим будущим врагам».

1941
Москва

413. МОСКОВСКАЯ НОЧЬ

Зоркая звездная ночь,
Грозно притихла Москва.
Родины старшая дочь
Думой одною жива.

Хочет всю землю наш враг
Кровью народов залить,
Нас, презирающих страх,
Воли и счастья лишить.

Нет, не осилить ему
Нас ни броском, ни ползком!
Варварства дикую тьму
Пламенем солнца сожжем!

Тихая звездная ночь.
Город весь стал голубым.
Родины старшая дочь
Вся напряглась для борьбы.

Гром и огонь в небесах
И ослепляющий свет.
Враг заметался в лучах,
Пойманным выхода нет.

Бей их, зенитка, коси,
Метким огнем догоняй!

Режь, пулемет, им шасси,
Коршунам крылья срезай!

Между обломков машин
Двое злодеев лежат —
Рот раскрывает один,
Веки другого дрожат.

Свастики скорченный спрут
Замер под пулей Москвы.
Так и другие умрут,
Как умираете вы!

Солнцем сменяется ночь.
День свой начнет, как всегда,
Родины старшая дочь,
Город борьбы и труда.

1941

414. РОДНОЙ ГОРОД

Ленинград, родной мой город,
Мне милее всех столиц.
Он мне близок, он мне дорог,
Весны в нем мои цвели.

Растоптав змею копытом,
Вздыбив грозного коня,
К подвигам, в бою добытым,
Всадник властно звал меня.

И под мраморами зданий,
Над опаловой Невой
Часто видел я в тумане
Призрак Пушкина живой.

И когда б и где б я ни был,
Сердцем я всегда живу
Под жемчужным влажным небом,
Заглядевшимся в Неву.

Красоты ее суровой
Не затмит снарядов град.
Жизнь отдать сыны готовы
За бессмертный Ленинград.

Пусть и эта песня мчится,
Как граната, на врагов.
Никогда не омрачится
Слава невских берегов!

Как и прежде, так и ныне
Грудью каменных громад,
Неприступною твердыней
Ты стоишь, мой Ленинград!

1941

415. ПАРТИЗАН

Не мешайте, люди-братья,
В эту ночь мне тосковать!
Враг в моей родимой хате
Истерзал отца и мать.

Внучке их со дна колодца
Больше в небо не взглянуть,
Мне она не улыбнется
И не кинется на грудь.

Я не долго потоскую!
До зари я к вам приду
И винтовку боевую
И коня себе найду.

На зверей я выйду зверем,
Наш-то лес для нас добрей!
И на деле мы проверим,
Кто сильней и кто хитрей.

Отольются волку слезы,
Попадет он в западню!
Только дайте у березы
Я родню похороню.

Не мешайте, люди-братья,
Тосковать мне в эту ночь!
Научусь я в мертвой хате
Мстить за мать, отца и дочь.

1941

416. ИВАН ИВАНОВ

В селе Лишняги Тульской области колхозник Иван Иванов завел танковый отряд немцев в лес, где они и погибли.

(Из газет)

В недавнее время в селе Лишняги
Засели у нас живодеры-враги.

Разграбили дочиста сытый колхоз,
Потоками залили крови и слез.

Вдруг надо идти им в другое село,
Да лес не пускает — пути замело.

Стоят воеводами сосны вокруг,
Пугают насупленным блеском кольчуг.

Под стать им и старый Ива́нов Иван
Глядит исподлобья на вражеский стан.

Схватили его, и грозят, и юлят,
В соседний колхоз провести их велят.

«С волками в лесах я бродить не привык!» —
С упрямой усмешкой ответил старик.

Заставили силой, погнали вперед,
И сумрачный лес их в объятья берет.

Гуськом за колхозником немцы бредут
И волоком смерть за собой волокут.

Всё у́же дорога, всё глубже снега,
Дружиной стволы обступают врага.

Зловеще блеснул и погаснул закат,
Вечерние тени нахлынуть спешат.

Чужие следы заметает метель,
И гостя не греет худая шинель.

А дед всё ведет по чащобе вперед, —
Он знает, куда и на что он идет.

Мальчонкой аукал он в этих местах,
Где елки толпою сбегают в овраг.

Свистели синицы, скрипели дрозды,
Мать пела ему голоском молодым:

«Как во лесе, лесе темном
Лихо бродит неуемно.

Лихо бродит, Лихо рыщет
Да жилья людского ищет.

По ложбинам да полянам
Смотрит глазом оловянным.

Лиху с елки свищет птичка,
Та ль синичка-невеличка:

„Зря ты, Лихо, накатилось!
Знать, ты, Лихо, заблудилось!

Никуда теперь не выйдешь,
Никого уж не обидишь...“»

Дорога с размаху сорвалась в овраг.
С машинами немцы увязли в снегах.

Закинувши голову, выпрямив стан,
Стоял перед ними Ива́нов Иван.

Широким крестом он себя осенил
И молвил: «Казните! Я вас уж казнил».

Бессильных врагов беспорядочный залп
Герою и грудь и глаза пронизал.

Земля приняла его в снег, как в постель,
И саваном чистым покрыла метель.

Карабкались немцы, но лес не пускал,
Мороз обнимал их, всё крепче ласкал.

В овраге глухом замерзали они,
И трупы торчали, как черные пни.

Поглотит их всех снеговой океан,
У нас не один он, Ивáнов Иван.

1941

417. РУССКОМУ НАРОДУ

Не раз ты в горестные годы
Стоял пред недругом своим,
Терпел смертельные невзгоды,
Но был всегда непобедим.

Свой лук натягивая туго,
Москва, и Тула, и Рязань
С гостями запада и юга
Всегда выдерживали брань.

Не раз в столетьях быстрокрылых
В лицо врагам бросал Урал
Неисчерпаемые силы
Своих могучих гор и скал.

Не раз ты гордую Европу
Спасал от дерзких дикарей
И взнуздывал их грозный топот
Рукой своих богатырей.

И вновь тебе достался жребий:
Созвав возлюбленных сынов,
На суше, в море и на небе
Бить человечества врагов.

Они хотят всё уничтожить,
Чем жизнь прекрасна и добра,
Всю радость мира подытожить
Бандитским взмахом топора.

Они ораву воспитали
Убийц, смакующих погром,
И много стран четвертовали
Кровавой свастики крюком.

И бросился в наш край коварно
Поправший совесть лиходей, —
Туда, где в доле лучезарной
Уж воплотились сны людей,

Где уж лелеяли народы
Свой быт, свой гений, свой язык,
Где каждый азбуку свободы
С ребячьих лет читать привык.

Но встал грозой неотвратимой
На озверелый дикий сброд
Ты, нашей родиной любимой
Взращенный доблестный народ.

Всё, что построил, всё, что дóбыл
В суровых битвах и трудах,
Ты бросил в бой последний, чтобы
Был до конца разгромлен враг.

Народ родной, народ мой русский,
Рассеет мрак твоя звезда!
Безумье войн и крови сгустки
С земли ты смоешь навсегда.

Несокрушимою отвагой
В огне неслыханных боев
Ты завоюешь жизни благо
Для всех народов и веков.

1941

ПЕСНЯ ДРУЖБЫ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДРУГА
И БРАТА ЯНКИ КУПАЛЫ

---

418. ЯНКЕ КУПАЛЕ

По сердцу я твой друг давнишний,
Орловский по земле сосед.
Горсть песен, вызревших, как вишни,
Дарю тебе я в год побед.

Они под грозным небом зрели
И кровью дружбы налиты.
Прими привет моей свирели
Ты, Беларусь, и, Янка, ты!

1945

419. ДЯДЬКА КОСТУСЬ

Это было в больших непочатых лесах,
Где толпится сосняк на песчаных буграх.

Средь веселых берез он о чем-то грустит,
Грозной бронзой стволов, как оружьем, блестит.

Любит срубы рубить на буграх Беларусь.
Люд такой в них живет, как наш дядька Костусь.

Жизнь он отдал на то, чтоб ребяток учить,
Их к уму и добру с малых лет прилучить.

Жить он начал давно и в тюрьме посидел,
Но душой не старел, хоть в трудах поседел.

Прежде ждал он ребят в хате с ветхим крыльцом.
Нынче школа его — белокаменный дом.

Карта мира висит на широкой стене,
Глобус важный в углу, и цветы на окне.

Минералы старик и гербарий собрал,
Знает каждый малыш, где металл, где кристалл.

Уж немало птенцов унеслось из гнезда
Строить счастье людей под напором труда.

На учебу горазд средь смышленых ребят
Был один озорник — светлоглазый Кондрат.

То мечтал он с земли долететь до луны,
То чего-то искал средь болот торфяных.

«Шире крылья расправь! Путь свободен! Не трусь!» —
Провожая птенцов, говорил им Костусь.

И улыбкой своей из-под сивых усов
Он, казалось, весь мир озарить был готов.

Так бы дело и шло. Да примчалась беда:
В Беларусь ворвалась воровская орда.

Жгла деревни дотла, убивала детей,
Застонала земля от незваных гостей.

Но кричал стар и млад: «Не боюсь! Не сдаюсь!»
В лес народ уходил. С ним ушел и Костусь.

Чистых красок своих с неба, радуга, дай,
Чтоб людей озарить, защищавших свой край!

Не последним меж них был учитель-старик.
От природы добряк, он сражаться привык.

Злую гибель врагам он уверенно нес,
Без ошибки пускал поезда под откос.

И вернуться под кровы родного села
Белорусская ночь старику помогла.

В новолунье налет был внезапен и лих:
Ни один не ушел из врагов заклятых.

«Не грозит вам теперь никакая напасть! —
Молвил с ходу Костусь: — Здесь Советская власть!

Не допустим, друзья, мы сюда немчуру!
В школу завтра с утра собирай детвору!»

Как на слете грачей, шум стоит у ребят:
Глобус в хлеве нашли. Карту сшить норовят.

Моют окна, столы и загаженный пол.
Утром в школу Костусь, как обычно, вошел.

Снял винтовку с плеча. Начал было урок.
Но к окну отошел: удержать слез не мог.

Жизнь вошла в колею. Утром школа. Потом
День, и вечер, и ночь с партизанским ружьем.

Слух пошел по лесам, как о новой звезде,
О бесстрашном селе, о советском гнезде.

За приказом приказ отдает немчура,
Но урок за уроком сдает детвора.

В штабе немцы кричат: «Разгромить! Расстрелять!»
Дважды два в школе те же четыре, не пять.

А в лесу дважды два до двух тысяч дошло.
Неприступной стеной оградилось село.

Днем не смеет — ни-ни! — враг пройти средь болот,
А с дороги свернуть и на ум не взбредет.

Посредине лесов, где сосняк снизу гол,
Есть у каждого свой облюбованный ствол.

И на нем партизан, как победную речь,
Каждый выстрел впопад не замедлит засечь.

Я зарубки побед сосчитать не возьмусь,
Но немало поставил их дядька Костусь.

И дождался он дня, голубого как лен,
И великой отрадой он был награжден.

На лужайке, где церковь углями легла,
Приземлились внезапно два стройных крыла.

И с машины, как будто с крутого крыльца,
Спрыгнул юный летун — не узнать бы лица!

Но, сердечною памятью щедр и богат,
Догадался учитель, что это Кондрат.

Озорной, шаловливый его ученик
Стал орлом! И к питомцу учитель приник.

Шелест вешних берез, дай мне ласку свою!
Шумом звонким ветвей я про встречу спою.

Лед весенний, греми, как гремел там Костусь,
Что погибнут враги, что жива Беларусь!

1942
Ташкент

420. ТОСКА ПО ЛЮБИМОЙ

Моя ненаглядная
Мне зорькой была,
В ней молодость жадная
Рассвета ждала.

Мы с ней повстречалися
В весенние дни.
Березки качалися
Над нами в сини.

О счастье мечтали мы,
О счастье большом.
За ясными далями
Свой видели дом...

Намчалась навальница
На милый наш край.
Невеста-печальница
Сказала: «Прощай!

Иди ты на ворога
По нашим лугам.
Того, что нам дорого,
И я не отдам».

Когда ее мучили —
Я знаю — гроза
Зарницами жгучими
Горела в глазах.

Я знаю: не выдала
Гнезда партизан,
И страха не видела,
Смыкая глаза.

Я знаю, что вспомнила
Она про меня,
Зрачками огромными
Отчизну обняв.

Брожу по могилам я,
Пытаю цветы:
И где же тут, милая,
Схоронена ты?

Сияют безмолвные,
Стеблями склонясь,
Цветы васильковые,
Цветы ее глаз.

1945

421. НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ

Под сводами зеленокрылыми,
Где каждая плачет сосна,
Меж братскими шли мы могилами,
Читая бойцов имена.

Торжественно шли за победой мы,
Но смерть обнажала свой счет:
Ива́нов, Петров, и неведомый,
И с ними полсотни еще.

Дождями истертые буковки,
Заботливых строк череда,
Гласили, что даже под муками
Не сдастся герой никогда.

В огромных могилах, как волоты,[1]
Навек опочили бойцы,
И солнце из чистого золота
Плело им бессмертья венцы.

Спасла их земля белорусская
Из плена в аду палачей,
К могилам тропиночка узкая
Слезами звенит, как ручей.

Они ведь, родимые, встретили
Грозы самый первый налет
И двадцать второго и третьего
Рвались на огонь, но вперед.

Гроза навалилась огромная,
Врасплох подожгла рубежи,
Вонзая в наш край вероломные
Убийственных молний ножи.

В бой бросились воинов тысячи,
Решив: «Иль умру, иль прорвусь!»
Как древле древляне и кривичи —
Мечей не ронявшая Русь.

Расправился с вражьими силами
Народ... Отгремела война...
Победа идет над могилами,
Читая бойцов имена.

1945

---

[1] Богатыри.

II

422

Подвал сырой,
Негде уснуть,
У жены больной
Отощала грудь.

Голод — мой брат,
Детям — отец.
Или назад,
Или конец ..
Стану к станку,
Выбью тоску.

«Не ходи работать,
Папа, не ходи!
Потерпи заботу,
Счастье впереди!
Я ли не задорна,
Я ль не молода?
В улицах просторно,
Много ли труда?»

«Позабыла бога?»
— «Я не знаю бога,
Знаю голод я».
— «Позабыла стыд?»
— «Нет стыда на свете,
Нет и у меня.

Голодают дети,
Печка без огня.
Не ходи работать,
Папа, не ходи!
Наше счастье впереди».

⟨1906⟩

423

Завяла жизнь. На гобелены
Похожи краски наших дней.
От гордых замков — только стены,
И алый уголь от огней.

Я не хочу, чтоб жизнь живая
Была жива умершей красотой,
Чтоб, в море сонно уплывая,
По глади стлался парус мой.

Где ветер, ветер быстрый, вольный!
Примчись! И облака примчи.
Коль ночь — так ночь. И мрак бездольный
Милей, чем серые лучи.

⟨1908⟩

424. МИКЕЛАНДЖЕЛО

Когда Матвей безумным оком
Из глыбы мрамора взглянул,
Я в строе космоса высоком
Заслышал сил дремучих гул.

Мне показалось, что колонны
Не сдержат здания: такой
Был этот взор неутоленный,
Горящий гневом и тоской.

И показалось мне: трепещут
Несотворенные сердца,
И камни молниями плещут
От мук безвыходных творца.

Вокруг Матвея горы, глыбы,
Едва початые, стоят.
Они быть радостью могли бы,
Но полонила скорбь их взгляд.

Четыре пленника, четыре
Вдруг взбунтовавшихся раба,
Почуяли, что в дольнем мире
Нечеловечья есть судьба.

Они заламывают руки
И рвутся из глухого сна,
Смертельные приемля муки
На мраморные рамена.

Один почти освободился,
И на Зевеса он похож.
Другой спиною в мрамор впился
И в мускулах почуял дрожь.

Ногами третий и руками
Уперся, чтоб свободу взять,
Но неразрывными цепями
Успела жизнь его сковать.

А женщина вся изогнулась
Невероятно, и в локте
Рука бессильно извихнулась,
Скривились губы в маете.

Из плену рвущуюся силу
Я вижу, вечный вижу спор...
Так папе римскому могилу
Украсить замышлял скульптóр.

⟨1912⟩

425. ПИЗА

На Арно каменная риза
Надета вновь. Река течет
Дугой, и призрачная Пиза
Лежит, веков забывши ход.

Пускай взволнованно толпятся
В тени колонн биржевики:
Дремучим, давним сном томятся
Седые берега реки.

Там, под стеной, в конце аллеи,
Уютный домик тихо спит.
В нем Галилео Галилеи
Родился — надпись так гласит.

Там в церкви небольшой знамена
Чуть шелестят о прежних днях,
Мечту свободы немудреной
В шелку изорванном храня.

Там поросла травою площадь,
Где мрамор с бронзою немой
Ведут рассказ библейский проще,
Чем строки Библии самой.

Там молчаливый баптистерий,
Девятый начиная век,
Всё тем же эхом звуки мерит,
Когда поет в нем человек.

Там колокольня наклонилась,
Чтоб поглядеть за край земли,
Как будто ей планета снилась,
Где виснуть тяжести могли.

Но видны только Апуаны,
Поляны, взморье, виноград,
Лениво дремлющей Тосканы
Всё тот же безмятежный сад.

1912

426. ФЛОРЕНТИЙСКИЙ РАССВЕТ

На Фьезоланские холмы
Туманы алые бредут.
О, как же одиноки тут
С тобой, возлюбленная, мы!

Зелено-млечную струю
Качает Арно в берегах
Высоких. В легких небесах
Последнюю звезду ловлю.

Ты спишь по-детски. Простыня
Родное тело облекла,
Как будто в мрамор ты легла,
Диан изваянных дразня.

Гремит телега под окном,
Возница щелкает бичом.
Стал сам себе я палачом,
Покинув северный свой дом.

О милая малютка дочь!
О замыслов любимых хор!..
За цепи невысоких гор
Бескрылая сбегает ночь.

И бег ее напомнил мне
Твой девичий скользящий бег,
Ломавший звонко-белый снег
В каком-то невозвратном дне.

4 июля 1912
Флоренция

427. ТРИУМФ СМЕРТИ И ТРИУМФ ЛЮБВИ[1]

С сокольничими кавалькада
С охоты мчалась. Легкий путь
Ей колесница преградила
На черно-матовых быках.
Косою Смерть, поживе рада,
Уж собирается взмахнуть,
И скошенное взять могила
Спешит, и к праху никнет прах.

На четырех на белоснежных,
Красиво впряженных конях

[1] К фрескам на стенах Кампо Санто в Сиене.

Амур везет влюбленных пленных,
В огне танцуя, поднял лук.
О, сладко падать смертью нежных,
Томиться в золотых цепях
И тосковать, в чертах надменных
Утаивая ярость мук!

27 июля 1912
Сиена

428. МОРЕ

Нахлынули силы
Гремучим прибоем,
С восторженным воем
Несутся, летят,
Пред сонным покоем
Чащобы унылой
О вечном смятенье
Гудят и шумят.
Я в уединенье
Лесов не спасаюсь,
Стою без движенья
Пред пеною сил
И сам себе каюсь,
Что тихо я жил.
Волна за волною,
Кипящие жизнью,
Летят предо мною
На смерть роковую,
И волю живую
Я чую в просторах,
В безудержных горах,
Друг другу на смену
Летящих стеною.
О волны! Я воин!
Мне враг, кто спокоен.
О море родное,
Крести меня пеной,
Смятеньем обрызни!

1912

429. НОЧЬ НА ЧУЖБИНЕ

Море с небом в мутный хаос,
В мглу недобрую слилось,
От земли, воздетой на ось,
Унеслось, оторвалось.

Сбился вниз звезды Полярной
Еле видимый маяк.
Ковш черпнул воды коварной
И упал в бездонный мрак.

Между морем и песками,
Между небом и землей
Колет облако рогами
Месяц, тоненький и злой.

В глубине, где — неизвестно —
Воздух реет иль вода,
Полыхает перекрестно
Жутких молний череда.

Бешено вскипает пена
На беспомощных валах.
Море мчит из бездны плена
В диких воплях старый страх.

Воет темнота: «К победе!»
И песок береговой,
Осыпаясь, бредит, бредит
Маетою вековой.

1912
Марина ди Пиза

430. ФЛОРЕНЦИЯ

Бессмертные в тени Уффиций,
В недвижных мраморных телах,
Обстали светлой вереницей
Мой движущийся смертный прах.

Вам сердце Севера! Что знали
Вы про далекую страну,
Где мы безудержно вздымали,
Как новь земли, свою весну?

Вам отворилось сердце наше
В начале самых давних дней,
И мраморный Давид стал краше,
И Боттичелли стал юней.

В язык певучий и старинный
Бессмертных Дантовых терцин
Вникаем мы душой невинной,
Не подряхлевшей от кручин.

И в схватках с тьмою очумелой
С Боккаччио смеемся мы,
Читая вольные новеллы,
Спасающие от чумы.

И легче птиц в простор и воздух
Мы с Боттичелли молодым,
Стряхая гнет, как с крыльев воду,
Чуть опечаленно летим.

О Микеланджело! Тобою
Богатыри примирены
С своей гигантскою судьбою:
Безмерным меры найдены.

Как ты неодолимый мрамор —
Могучим молотом своим,
Мы вдохновенно и упрямо
Все глыбы жизни победим.

1912
Флоренция

431. МУЧЕНИЯ СВ. ЮСТИНЫ

У негра в красном колпаке
Меч в размахнувшейся руке —
Ждет только знака господина.
Пред ним блаженная Юстина.

Она покорна, и ясна,
И воле божьей отдана.
Без гнева, без единой пени
Она упала на колени.

Уж полотно сорвали с плеч.
Неотвратим жестокий меч:
Он отсечет грудь молодую,
Нагую, нежную такую.

Так, крепче пут, тесней желез
Навеял чары Веронез.
Я долго зрителем единым
Стоял пред муками Юстины.

Хотел уйти — и всё не мог,
Мне стыд тяжелый сердце жег.
И вдруг почуял я, что учит
Меня чему-то тот, кто мучит.

Чем грудь казалась мне бледнее,
Тем меч острей сверкал над нею.
Я слышал с уст молитвы лепет
И чуял в теле жуткий трепет,

Но превозмог себя. И вдруг
Я оглянулся: жарких двух
Глаз изможденных за собою
Увидел я сверканье злое.

Высокий, темный и худой,
За мной стоял монах седой,
И, взором палача в картину
Впиваясь, мучил он Юстину.

1912
Флоренция

432. ДЖИНЕСТРИ

Веселый Джинестри,
Невестин иль сестрин,
Но девий цветок,

У пиний огромных
На веточках скромных
Зажег огонек.

Он искры острее
На иглах желтеет
И пахнет, как мед.
И к нежным забавам
И ласкам лукавым,
Сияя, зовет.

О южные девы!
Любви перепевы
Запеть в новый срок
Ужели не дивный
Учил вас призывный
Джинестри-цветок.

1912
Марина ди Пиза

433. САВОНАРОЛА

Ты исказитель Боттичелли,
Монах, мне страшный, и аскет.
Но отчего всю ночь без цели
Брожу я в горе и тоске

По площади темнопустынной
И к круглой бронзовой плите
Склоняюсь с тяжкою повинной
В неудержимой прямоте?

Как будто я костер багровый
Своей рукою разводил
Под тем, кто с яростью суровой
Любимой правде жизнь дарил.

Как будто я был с той старухой,
Которой темные уста
Из пламени кричали глухо
Слова: «Святая простота!»

О, если б мог поднять десницу
Огромный мраморный Давид
И вырвать жуткую страницу,
Что книгу бытия чернит!

Брожу в тревоге. Ум двоится.
Безумие из темноты
Грозит крылом своим склониться
И подхватить... Пусты, пусты

Полночных улиц перспективы.
И с круга бронзового в ночь
Вещает профиль горделивый:
«Гори, безумствуй и пророчь!»

1912

434. ФОНТАН

Четыре прекрасных наяды
За полные груди свои
Схватились, и держат, и рады
Приливу жемчужной струи.

Над ними Нептун величавый
Стоит, молчалив и красив,
О девах любви и забавы,
О них навсегда позабыв.

Он бог. Что же помнить о девах?
Им — счастье. Ему — не беда,
Коль в бронзовых трепетных чревах
Четыре он зачал плода.

1912
Болонья

435. РИМ

Был день тот задумчиво-хмурым,
И в облако кутался Рим,
Когда вознеслись Диоскуры
Пред медленным взором моим.

Я легкой стопой в Капитолий,
Гробницу истории, шел.
Волчица металась в неволе,
И крыльями двигал орел.

В блаженном раздумье Аврелий
Скакал на могучем коне,
И кудри его зеленели,
Как матерь-земля по весне.

Привет тебе, Рим! Величав ты
В руинах свершенной мечты!
К тебе всех веков аргонавты
Плывут за руном красоты.

И я, издалёка паломник,
Внимая полету времен,
Стою здесь, как будто припомнив
Какой-то счастливейший сон.

1912
Рим

436. СОРРЕНТО

В небо дымчатые пинии
Мощным взлетом вгнетены.
Ты скажи мне, море синее,
Что прекрасней тишины?

За примолкшими вулканами
Спит безбурная лазурь.
Я зову устами пьяными
Дни смятения и бурь.

Я на миг душой взволнованной
К тишине морской приник,
Но, плененный, но, окованный,
Только в бурях я велик.

Не для нас покой таинственный,
Созерцанье не для нас.
Извержений дым воинственный
Наш окутывает час.

⟨*1913*⟩

437. ДЕВУШКА ИЗ ПОМПЕИ

Душою северной и снежной,
Уставшей в горестях святых,
Я полюбил тебя так нежно,
Как не любил я дев земных.

Прекрасных ног твоих движенье,
Невинный контур легких ног,
Я без волшебного волненья
Ни разу созерцать не мог.

А жест, каким ты защищалась
От изумительной судьбы, —
Мне это сразу показалось —
Был жестом царственной мольбы.

В последний раз взметнулись косы,
Последний раз стеснило грудь,
И пепла жгучего заносы
Всё скрыли в темноту и жуть.

Двух тысяч лет полет спокойный
Твоей не тронул красоты,
И в сером камне стан твой стройный
Навеки обнажила ты.

Так странен этот гроб музейный,
Витрина лучшего стекла,
Когда жива ты — от лилейной
Ноги до чистого чела!

⟨*1913*⟩

438. ДУМА

Я был бесчувственным, как камень,
От горя, муки и кручин.
Но солнце вновь блаженный пламень
Во мне зажгло: я — солнца сын.

Я вновь Италией прекрасной
Средь виноградников лечу
И знаю: в жизни не напрасно
Любви и света я хочу.

Не узам темным, не веригам
Людская жизнь обречена,
А вечным взлетам, буйным мигам,
Причастью алого вина.

Весной безлиственные лозы
По осень гроздья понесут.
Безостановочные слезы
Над миром сети не сплетут.

Ведь в струях слезных многоцветней
Восстанут радуги круги,
Лишь вверься солнцу безответней,
Пред светом в темный день не лги!

⟨1913⟩

439—440. *В САДУ У РЕПИНА*

1

Какой старинной красотою
Уединенный сад цветет,
Где жизнью мудрой и простою
Художник радостно живет!

Недвижны дремлющие воды,
Красивы ивы у воды.
Содружны здесь с рукой природы
Людские мирные труды.

Там куст сиреневый посажен,
Там брошен камень-великан.
Из-под земли на много сажен
Студеный вверх летит фонтан.

А посредине сада домик —
Как будто сказка наяву —
Стоит и тянется в истоме
С земли куда-то в синеву.

Он весь стеклянный, весь узорный,
Веселый, смелый и чудной.
Его завидев, ворон черный
Летит пугливо стороной.

А певчих птиц семья цветная
Гнездится густо близ него,
Своей игрой напоминая,
Что жизнь — земное торжество!

2

Выйдет в курточке зеленой,
Поглядит на водомет,
Зачерпнет воды студеной
И с улыбкою испьет.

Светлый весь, глаза сияют,
Голубую седину
Ветер утренний ласкает,
Будто легкую волну.

Семь десятков за плечами,
А как будто ноши нет!
Детски зоркими очами
Он глядит на белый свет.

Не устал он, не измаян,
Полон силы и борьбы,
Сада яркого хозяин,
Богатырь своей судьбы.

Солнце всходит, пышет златом...
Тихо, тихо он стоит
И за облаком крылатым
Взором ласковым следит.

Может быть, он видит детство,
Молодых начало дней,
Озорное малолетство,
Вырезных своих коней?

Иль, черемуху почуяв
В легковейном ветерке,
Видит вешний свой Чугуев
В невозвратном далеке?

Июль 1914

441. АРКТУР

Когда Арктур горит над городом
Морозной ночью, в три огня,
Пьянит зима веселым холодом,
Летит земля, в снегу звеня;

И месяц юный, витязь ветреный,
Серебролатый голубь мой,
Кружась, как будто в пляске жертвенной,
Двумя мечами бьется с тьмой;

И люди, страстью порожденные,
Спешат к любимым ложам сна,
А сквозь метели утомленные
Поет грядущая весна, —

Я запеваю гимн ликующий
Земле, и людям, и тебе,
Арктур, таинственно бушующий,
Твоей трехогненной судьбе.

⟨1915⟩

442. ПОЭТ

Намчался ветер, завывая,
И мечет клочья облаков.
Меня томит тоска живая
Никем не изреченных слов.

Умчал в ладье из хоровода
Ушкуйник девушку-красу.
В моей душе кричит природа,
Как птица в девственном лесу.

Звезда скатилась, замирая
В луче серебряной луны,
Меня уносят в дали рая
Никем не виданные сны.

Ребенок дремлет в тихой зыбке
С блаженной думой на челе,
В его нечаянной улыбке
Я вижу бога на земле.

⟨1916⟩

443. В ПЕРСИИ

Ползет седая черепаха,
Заря горит желтей парчи,
У синих гор встают из праха
И носятся, крутясь, смерчи.

Затихла, в зное задыхаясь,
Страна, нежнейшая из стран.
Пыля и мерно колыхаясь,
Идет верблюдов караван.

В их взоре, ясном и послушном,
Душа красивая видна.
Сквозит в труде их добродушном
Садов Адама старина.

И странно мне, что эти звери
Не в рай проходят на покой,
Где Ева им откроет двери, —
Что это — транспорт боевой.

⟨1916⟩

444

Ты всё такая же нарядная,
Такая ж ласковая ты,
Земля России ненаглядная,
Взрастившая свои цветы.

Ромашка высыпалась снежная
В гречишно-розовый щавель,
И, робкая невеста нежная,
К бурьяну жмется повитель.

И облака над лугом носятся
И так тоскующе плывут,
Как будто сами с неба просятся
Вниз, в человеческий приют.

И вверх приветно машут мельницы —
Вскричали бы, кабы слова!
Заждались молова, бездельницы,
Позаскучали жернова.

И рожь высокая, степенная
Спокойно пестует зерно...
Земля моя благословенная,
Тебе цветенье суждено.

⟨1916⟩

445. ПУТЬ

Нимфе

Темно-розовым городом
Издалёка в твой дом
Я иду, мучим голодом
По сиянье твоем.

Над рекою коронами
Золотятся мосты.
За снегами зелеными
Далеко еще ты.

Город дышит и движется,
Снежный искрится прах.
Окна бисером нижутся
На столетних дворцах.

В этой пу́стыни каменной
Сердцу родины нет.
Но в душе ало-пламенной
Я несу тебе цвет.

Как молитва таимая,
Никому он не зрим.
Он навеки, любимая,
Будет только твоим.

24 января 1916

446—447. *ПИСЬМА С ФРОНТА*

А. А. Г⟨ородецкой⟩

1

Прости меня, когда я грешен,
Когда преступен пред тобой,
Утешь, когда я безутешен,
Согрей улыбкой молодой.

О счастье пой, когда служу я
Твоей волшебной красоте.
В раю кружись со мной, ликуя,
И бедствуй вместе в нищете.

Делись со мной огнем и кровью,
Мечтой, и горем, и трудом.
Одной мы скованы любовью
И под одним крестом идем.

Одна звезда над нами светит,
И наши сплетены пути.
Одной тебе на целом свете
Могу я вымолвить: «Прости!»

26 января 1916

2

О тебе, о тебе, о тебе
Я тоскую, мое ликованье.
Самой страшной отдамся судьбе,
Только б ты позабыла страданье.

Плачет небо слезами тоски,
Звон дождя по садам пролетает.
С яблонь снегом текут лепестки.
Скорбь моя, как огонь, вырастает.

Вот она охватила сады
И зарю у озер погасила,
Оборвала лучи у звезды,
У вечерней звезды белокрылой.

Ало-черным огнем озарен,
Страшен свод. Но, смеясь и сияя,
В высоте, как спасительный сон,
Ты стоишь надо мной, дорогая.

Я к тебе из томленья, из тьмы
Простираю безумные руки.
О, когда же увидимся мы
И сольемся, как в пении звуки?

6 мая 1916
Ван

448

Летит цветок желтее меда,
Летит лениво с куста на куст,
И блещут крылья в лазури свода,
И слышен клюва звенящий хруст.

Ах, цветик-птичка золотая!
Без песен ты, а я пою.
Летай, горя! Цвети, летая!
Люблю я милую мою.

1 мая 1916
Решт

449. ВЕТРЕНЫЙ ВЕЧЕР

Сегодня где-то всколебались горы,
Иль голубенок выпал из гнезда,
Иль вешней девушки смежились взоры,
Иль разлетелась пылью золотой звезда.

Сегодня ветер, вспоминая грозы,
Срывает с веток неокрепший плод,
И всех замученных святые слезы
Сверкают издали сквозь синий свод.

Невыносимо мне. Цветы немилы.
Болит так нестерпимо голова.
И тяжелей, чем мертвых из могилы,
Из песни сердца вызволить слова.

Что с миром сделалось? Он погибает?
Ах, нет! Увидел я: вдали, вдали
Тоска твою головку пригибает,
Ты рвешь цветы и не берешь с земли.

18 мая 1916
Ван

450. ПРОЩАНЬЕ

Последний раз при свете солнца
Ты смотришь, может быть, на мать.
Не много солнца в два оконца,
И сумеркам пора вставать.

Морщинки добрые... Тревога
В глазах. В руках усталых дрожь.

Синеет за окном дорога.
В беседе — ласковая ложь.

Всё о пустом и о ненужном...
О господи, спаси мне мать!
Побудь еще в дому недужном...
Ну, надо лампу зажигать.

1916

451. ВВЫСЬ

Я иду на высóты земли,
Предо мной расступаются горы,
Надевая, как встарь короли,
Из жемчужин седые уборы.

Старики уступают зачем,
Отчего не восстанут вулканы?
Ведь иду я, надменен и нем,
Словно царь в покоренные страны.

Только дрогнуть любому из них,
Только двинуть одною морщиной,
И средь дум заповедных своих
Я погибну под страшною льдиной.

Нет, спокойно отходят они,
Преклоняя венчанные главы,
Оттого что им дан искони
Прозорливости дар величавый.

И провидцы седые с высот
Услыхали душой голубою,
Что меж них, пламенея, идет
Человек воевать сам с собою.

Захотел я собой овладеть
И ступить на земные пределы —
Иль в бою за себя умереть,
Как боец бескорыстный и смелый.

1916

452. ГОРОДОК

Не стукнет город. Темень. Мертвечина.
Судьба забытых жизнью мертвецов.
Иззябнувши, замерзла Остречина,
Речонка-девочка, в тисках снегов.

В домах не то огонь, не то гниенье.
Но уж никак, никак не жизнь, не свет!
А может быть, такое преступленье,
Которому названья даже нет.

Чуть живы там, где купля и продажа, —
В подвальных лавочках и смрад, и грязь.
Взлетает из трубы, сгорая, сажа,
Как пьяная купчиха, разъярясь.

Безжалостно начертаны на своде
Знамена мести до седьмых колен
Всем изменившим воле и природе,
Упавшим добровольно в плен и тлен.

1916
Бежецк

453. НИЩИЙ

О, как мне холодно, грязно, невесело
В этой весенней, разнузданной слякоти!
Небо под звездами тучи развесило —
Клочья белесой растрепанной мякоти.

Мутно-зелеными вьется волокнами
Свет фонарей, темнотой искалеченных.
Где-то вверху, за блестящими окнами,
Светятся гнезда людей обеспеченных.

Нет, не обманете, комнаты-кладбища!
Много у нищего солнечной дерзости!
Смерти пристанища, пошлости пастбища,
Хуже вы, чистые, уличной мерзости!

1916

454. ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ

То не вишенье-цветенье
Вянет в холоде ночном, —
Меркнет звездное плетенье
В небосводе огневом.

У полуночи суровой,
Словно солнце за горой,
Блещет свет зарею новой,
Небывалою зарей.

Вознеслись лучи, как стрелы,
И вонзились в небеса.
Снег взрастил оледенелый
Светоносные леса.

И легчайший ветер дышит
На высокий лес лучей,
И дыханием колышет
Диво северных ночей.

Но неслышимо шуршанье
Ослепительной листвы.
Веток-молний трепетанье
Тише говора травы.

Не твоя ли здесь стихия
Дивно движется, горя, —
Свет полуночный, Россия,
Не твоя ль встает заря?

Не твое ль сиянье льется?
Не в твою ли тишину
Мир измученный спасется,
Позабыв навек войну?

Не таю заветной думы,
Не боюсь своей мечты:
Стран всемирных мрак угрюмый
Озаришь, Россия, ты!

1916

455. ПРИЗЫВ

Смелей бушующей волны,
Сорвавшей зимние оковы,
Хмельнее солнца и весны
Свободы радостные зовы.

Не бойтесь, если слишком скор,
И слишком смел, и слишком молод
Громады старых, мертвых гор
Дробящий слишком мощный молот!

Не бойтесь! Горы упадут,
Неправда рухнет вековая,
И там, где правды сердцем ждут,
Там жизнь воспрянет, расцветая!

1917
Тифлис

456. РОССИЯ

Как я любил тебя, родная,
Моя Россия, мать свобод,
Когда, под плетью изнывая,
Молчал великий твой народ.

В какой слепой и дикой вере
Ждал воскресенья твоего!
И вот всех тюрем пали двери,
Твое я вижу торжество.

Ты в праздник так же величава,
Как прежде в рабской нищете,
Когда и честь твоя и слава
Распяты были на кресте.

О вечном мире всей вселенной,
О воле, братстве и любви
Запела ты самозабвенно
Народам, гибнущим в крови.

Как солнце всходит от востока,
Так от тебя несется весть,
Что есть конец войне жестокой,
Живая правда в людях есть.

И близок день, прекрасней рая,
Когда враги, когда друзья,
Как цепи, фрóнты разрывая,
Воскликнут: «Истина твоя!»

Как я люблю тебя, Россия,
Когда над миром твой народ
Скрижали поднял огневые,
Скрижали вечные свобод.

1917

457. НОСТАЛЬГИЯ

Как к неведомому раю,
Из глуши моих ночей
Вдаль я руки простираю
К милой родине моей.

Горе метит долю нашу.
Нет на родине венца.
Но хочу испить я чашу
Вместе с нею до конца.

Кто искупит эти слезы,
Кто ответит за мечты,
И какие скроют розы
Дорогих могил кресты?

Русь окована печалью,
Но уж снятся детям сны,
Что под траурной вуалью
Светит кроткий лик весны.

1918

458. ПЕРСИЯ

В Гиляне, где в лазурь вплавляет
Свои червонцы апельсин,
Где цапля розою пылает
В просторе рисовых долин,

Где мчится дикая кобыла,
Сбивая жемчуг с миндалей,
Где жизнь еще не позабыла,
Что тишина всего милей,

Где волн синеющие четки
В пугливых пальцах тростников
Дрожат и гасят трепет кроткий
В каспийской россыпи песков,

Где под навесом туч дождливых
Лежит сонливо город Решт,
От лавок тесных и шумливых
Не подымая рыжих вежд, —

Промчалась буря по базарам,
Смерчами дервиши прошли,
Крича, что северным пожаром
Зарделся берег Энзели.

И Персия с глазами лани,
Подняв испуганно чадру,
Впилась в багряный флаг, в Гиляне
На синем веющий ветру.

1918
Решт

459. КОРАБЛЬ ГОЛУБОЙ

Только море поднимет фату —
Апельсиновый шелк над собой —
Появляется в тихом порту
Незнакомый корабль голубой.

В волны килем лучистым зарыт,
Подает он товары под кран,
И на мостике, облаком скрыт,
Неподвижно стоит капитан.

Упаковка товаров странна,
На чужом языке штемпеля,
Неизвестно, какая страна
Их дала, создала чья земля.

Индостан, иль Китай, иль сама
Атлантида морская их шлет...
Но в испуге сжимают дома
Рты немытых окóн и ворот.

Между тем, муравьино юрки,
Незаметней прозрачных медуз,
Грузчики принимают тюки,
Выгружают неведомый груз.

И на утренней пристани ввысь
Вырастает товаров гора, —
Будто это опалы срослись
С лунным заревом глыб серебра.

И товары туманом зари
Наплывают на ширь площадей,
И сквозь стекла громят янтари
Сумрак комнат печальных людей.

У ребенка в широких глазах
И у девушек между ресниц
Загораются радость и страх,
Как при первом полете у птиц.

У конторщика в дряблом мозгу,
У рабочего в тяжкой крови
Крепнет мысль огневая: «Могу!»
И гремит молодое: «Живи!»

А вдали на неведомый бой
В просыпающийся океан
Озаренный корабль голубой
Неустанно ведет капитан.

12 декабря 1919
Баку

460. ПЕРВЫЙ ШЕПОТ

Слышу первый шепот старости.
За плечами кто-то стал:
«Ты согнулся от усталости,
Ты от ярости устал.

Знаю — с ношей непосильною
Вышел ты на вешний путь,
И под насыпью могильною
Должен скоро ты уснуть.

Захотел ты слишком многого:
Счастье всем на свете дать.
Я одна тебя, убогого,
Убаюкаю, как мать.

Помню песню твою звонкую,
С хороводами весне.
Проходила я сторонкою:
Всё равно придешь ко мне!

Мир живет сердцами щедрыми,
Но мешают им цвести.
Между зорями и ветрами
Затерялся ты в пути...»

23 декабря 1919
Баку

461

Качает буря дуб кряжистый,
Ломает ветки, рвет листву;
А он стоит, старик безлистый,
С упорной думою: «Живу».

И только крепче влагу тянет,
Вбирая соль из сонных недр.
Весна хоть раз еще настанет,
Овеет раны теплый ветр.

23 декабря 1919

462. ЗЫХ[1]

Приземисты, мрачны, стоят корпуса.
Я в эти жилища вошел, словно в сон,
Ужаснее Дантова ада был он.
Всё попрано: правда, и жизнь, и краса!

Сырой коридор. С облупившихся стен
Холодные, грязные капли текут.
За что же рабочие замкнуты тут,
В бессовестный этот, безвыходный плен?

За низкими, злыми дверьми, как в тюрьме,
Угрюмые камеры. Каменный пол.
И ползают дети. А воздух тяжел.
И окна не к солнцу, а к стенам и тьме.

В лохмотьях сидит исхудалая мать.
В мангале картофель закопан в золу.
И жадный мышонок ютится в углу:
Голодным голодных не стать понимать!

Среди неподвижной, глухой тишины
Лишь с фабрики слышен машины напев,
Как будто там стонет закованный лев.
Я стал у порога. И хлынули сны.

---

[1] Один из нефтяных районов Баку.

Раздвинулись стены. Раскинулся сад.
Просторные, светлые встали дома.
Как будто решила природа сама
Построить в мгновенье невиданный град.

И кто-то подходит: «Смотри, как живем!
Вот зал. Вот читальня. Здесь школа. Здесь врач.
Котельщик и слесарь, тартальщик и ткач —
Здесь каждый обласкан народным теплом».

Вдруг сторож толкает: «Проснись, господин!»
— «И вправду, товарищ, я словно уснул...
Но слышишь ты фабрики радостный гул?
Мы скоро проснемся. И все как один!»

13 февраля 1920
Баку

463. ЖИЛАВА

В ночной тиши немой Жилавы,
В тенистых рощах и лесах
Встает с земли туман кровавый
И шепчут глухо голоса:

«Сюда! Вали! Скорей! К оврагу!..»
И скрип колес во тьме замолк.
Почуяв свежей крови влагу,
Из чащи выбегает волк.

Когда ж приходит час рассвета,
Заря струится кровью с круч,
От страха птицы рвутся с веток,
И солнце в тучах прячет луч.

Спеша к базарам утром ранним,
Весь от испуга помертвев,
Вдруг натыкается крестьянин
На труп истерзанный в траве.

И дети, выйдя за черникой
Под молодые деревца,

Бегут назад с тоскливым криком,
Увидев руки мертвеца.

Откуда этот бред кровавый
И эти мертвые тела?
Откуда смерть в леса Жилавы
Такой хозяйкою пришла?

Не знаешь? Так узнать ты должен!
Забастовали горняки,
И, тишиной дыша тревожной,
Умолкли сразу рудники.

Владельцу нужен черный уголь,
Хотя бы с кровью пополам!
И он хлестнул свинцовой вьюгой
По наступающим рядам.

Но не сдаются, не сдадутся
Шахтеры, вышедшие в бой!
Они над тюрьмами смеются
И смело жертвуют собой.

А мертвецы в лесах Жилавы,
Упав под гнетом мировым,
Мостят пути побед и славы
Живым товарищам своим.

1920

464. XI АРМИИ

Мечтой рабочего томима —
Оковы юга разломать, —
Ты к морю шла неудержимо,
Как Волга синяя сама.

С казацкой тьмою ты боролась,
С полей сметая сеть границ,
И вольно наливался колос
Тобой раскованных станиц.

Жгла, но не спутала песками
Пустыня твой победный шаг,
И вражьих станов белый камень
Перед тобой дробился в прах.

Кавказ смотрел, срывая цепи,
В твое свободное лицо,
И с болью впитывали степи
Кровь дорогих твоих бойцов.

И ты пришла грозой желанной
На зов дремучих пленных гор,
Звездой показывая бранной
Востоку трудовой простор.

Погибшим слава! Подвиг труден.
Живым и слава — и борьба,
Пока на всей земле не будет
Ни одного раба!

18 сентября 1921

465. ВТОРАЯ СКРИПКА

Вечерний ветер лапой гибкой
Ласкает улицы. Пора
Бежать в оркестр, второю скрипкой
В пивной прокуренной играть.
Кормилица в футляре рваном
Звенит струною на ходу.
За месяц песен под дурманом
Сегодня выручку дадут.
И завтра, завтра (срок не дальний,
Лишь на день ты отложишь месть!)
Купить и тушь, и готовальню,
И даже, может быть, поесть. . .
В пивном пару галдят пропойцы,
Лопочут разное вразброд.
Но мыслям хочется раздвóиться,
Лететь на десять лет вперед.

Мечта пронзает, как прожектор,
И дым и мглу хмельных гримас...
Вторая скрипка — архитектор,
Оканчивает ВХУТЕМАС.
Алаверды, господь с тобою,
Алаверды, алаверды!
Бетоном, сталью голубою
Гудят скрипичные лады.
Пригнув на деку щеку впалую,
Он про свое смычком поет,
Играет песенку удалую,
Играя вовсе не ее.
И он не здесь, не на попойке, —
Он между балок и стропил
В грядущей мировой постройке
Свой ватерпас установил.

1923

466. РАЗГОВОР С РУСЬЮ

Огни последнего трактира
Ночь подобрала под бурнус.
Дорога вырвалась из мира
В лесную тьму, в ночную Русь.

Еще вдали в селе звенели
Ребят веселых голоса.
Но с каждым шагом глуше нелюдь
И непрогляднее леса.

Ямщик смекнул: «Куда ж мы гоним?
Куда ты едешь?» — «Трусишь? Стой!»
Я слез, и укатили кони,
Укутываясь темнотой.

Один. Родимой тишиною
Лесная дышит чернота.
И высь, где звезды светом ноют,
К земле пригнулась у куста.

«Русь! Это ты? — Истомой слуха
Пытаю мать. — Ты слышишь, Русь?»
— «Да, это я. И я, старуха,
На маленьком не помирюсь.

Да где ж ты был? Да что ж ты делал?»
— «Я был с тобой. В веках. Не в тех,
Где ты под плеткою радела,
В бреду выдумывая грех».

«В каких?» — «В невиданных, в грядущих,
Где ты доныне не была,
Где всех отрады не имущих
Ты в пурпур счастья облекла».

«Да это ты из сказок вычел
Про сласть кисельных берегов
Или подслушал в песне птичьей
В туманном мареве лугов.

Как встарь, я в топях и оврагах,
Как встарь, костьми меня мостят
Пожар и мор, беда и брага,
Как встарь, соловушки мне льстят».

«А ну-ка, мать, привстань немного.
Прислушайся к себе сама! . .»
И расхлестнулась вдаль дорогой
Шуршащая лесами тьма.

Я на руках не то у ели,
Не то у матери родной.
И дышит древней силы хмелем
В лицо мне сумрак вороной.

И смотрят шире ночи очи,
Зарницы рвут ресниц покров,
И сердце влажное клокочет
За грудью в волосах лесов.

Мне жутко, и тепло мне. «Что же
Ты видишь? Что ты слышишь, мать?»
И — вихрем в слух: «На то похоже,
Что буду солнце подымать».

1923

167. В ЭТОТ ЧАС

21—I—24

В этот вечер, в этот час,
Каждый век и каждый год,
И при нас, и после нас
Остановит жизнь свой ход.

И оглянутся назад
Все, кто жизнь трудом творят,
В этот синий стихший день,
В эту вьюгу деревень,
Чтоб последний вздох опять
В мировую грудь принять.

И неведомых машин,
И неслыханных турбин
В скорби вечной смолкнет гул
В этот вечер, в этот час,
В этот миг, как он уснул,
Оставаясь между нас.

И потом,
Опять,
Сквозь тьму, —
В грохот, в гул,
В огромный труд,
Мир трудом
Поднять
К нему!
Он уснул,
Но им живут.

1924

468. МУЗЫКА НОЧИ

Ночь темнее шахты черной.
Шрифт горячий линотипа
За окном ночной наборной
Сплавы мыслей звонко сыплет.

Эта музыка нежнее,
Чем влюбленных речь шальная.
И звучит, гудит за нею
Всё, что завтра мы узнаем.

Но еще нежней жемчужный
Звук бессонный, звон антенны,
С громом влажных гранок дружный,
Всей земле прикосновенный.

Не видна она на крыше,
Но стоит она на страже.
Что она сегодня слышит?
Завтра что она расскажет?

Где уловит гневный ропот,
Где шаги колонн несметных?
Весть какая из Европы
Прилетит с листов газетных?

Пой, антенна! Слушай в мире
Новой воли каждый шорох,
На Янцзы и на Памире,
В марокканских косогорах!

Ты ведь чувствуешь, антенна,
Как под сенью старой ночи
Новый звук во всей вселенной
Ясен, радостен и прочен?

Два удара с башни тихой
Сорвались на площадь звонко.
Смолкла арфа линотипа,
Но гудит ротационка.

В этом гулком полыханье
Зарождается газета.
В этом вздыбленном дыханье
Крепнут мускулы рассвета.

1925

469. БЕСПРИЗОРНЫЙ

Звериноглазый, узколобый,
Пуглив, застенчив, угловат,
Пришел он, как мертвец безгробый,
И на дворе сел за дрова.

Его ребята отыскали
И стали зазывать в игру.
Голодный рот на них оскалив,
Он недоверчив был и груб.

Учительница, зорким глазом
Его заметив, подошла.
И он узнал впервые разом,
Что жизнь — не так глупа и зла.

Обмыла, космы причесала,
Обедать позвала за стол.
Как в сон, каких и не бывало,
В детдом питомцем он вошел.

И стал как все. Играл, учился.
Но иногда, порою, вдруг
В припадке исступленно бился,
В его глазах вставал испуг.

Из мозга клочья страшной были
Впивались в радостную жизнь, —
Как будто снова его били
Концом изорванной вожжи.

Он вспоминал отца-калеку,
Мать под отцовским сапогом,
И бабьих слез пустую реку,
И обнищавший в горе дом.

И как однажды, ночью темной,
Отец повесился в сенях,
Язык лиловый и огромный
Показывая свету дня.

Он вспоминал, как под окошком
Стоял он с матерью своей,
И всё, что выпросит в лукошко,
На самогон менял он ей.

И как потом в гнилой канаве
Она упала, чтоб не встать,
И он слезами грязь разбавил,
В которой стыла его мать.

И как пошел он по дороге
И затонул в ее пыли,
Пока крестьянки доброй дроги
Его в столицу не свезли.

Всё это ранами зияло
В его измученном мозгу,
И он, ложась под одеяло,
Кричал средь ночи: «Не могу!

Пустите! Где моя родная?
Ее сейчас я подниму! . .»
И, ничего о нем не зная,
Учительница шла к нему.

Садилась с ним на край постели,
Обняв, смотрела с ним в окно,
Где под луной поля блестели
И ветер пел веретеном.

«Ведь ты хороший, — говорила, —
Зачем же ночью ты кричишь?»
А под печуркой пол долбила
Ночная труженица — мышь.

И всё на место становилось
В его истерзанном мозгу,

И сон, тяжелой жизни милость,
Его манил, как тихий луг.

Он засыпал, ручонкой гордой
Вихрастый лобик подперев.
Под его лобной костью твердой
Стихал испуг и гаснул гнев.

Наутро радостным ребенком
Он мылся, бегал и шалил,
И резал воздух криком звонким,
И был простым цветком земли.

Мой милый! Краткие минуты
Я был с тобой, войдя в детдом, —
И вот глаза мои сомкнуты
В каком-то горе мировом.

Растите! Прошлое забудьте!
Пред вами будущего мир.
Вы в этот мир пробьетесь грудью,
И в нем вы будете людьми.

1925

470. ПЕСНЯ

Эх, растревожили песней ребята
Окаменевшее сердце во мне!
Вижу: стоит обнищалая хата,
Мать под окном в голубой седине.

Выжжены солнцем и пушками сбиты
Желтые горы турецкой страны.
Сын на коне, а быть может, убитый
В пропасть свалился с крутой вышины.

Черного хлеба засохла краюха.
Голубь голодный с окошка нейдет.
Мать голубая, родная старуха,
Всходит грозою последний твой год!

Бьется Буденный в степях на Кубани.
Диких буланых неймут повода.
Сын на коне. А быть может, он ранен,
С мертвого красная светит звезда.

Стукнет внезапно колечко дверное,
Звякнет разбитое ветром стекло.
Кончилось горе и счастье земное.
Тело родимой в гробу залегло.

Эх, растревожили песней ребята
Окаменевшее сердце во мне.
Холмик могильный сровняла лопата.
Жизнь по сугробам умчалась к весне.

1925

471. ЗЕМЛЯ

Истерзанная плугом,
Радостна земля.
Надеждой и испугом
Язвины болят.

Зерно из черной гру́ди
Тянется ростком.
Рожденья подвиг труден —
Колосу легко!

Зеленой дерна рванью
Чернозем взомлел.
Всё мало ей страданья —
Матери-земле.

«Еще б мне сердце спахтал,
Вздыбил целину
Не голубь-плуг, а трактор-
Ястреб полоснул!

Уж я бы уродила
Жирное зерно
Любимой сочной жилой,
Материнским дном!

Уж я б вздымала в остьях
    Колос-самовес,
Чтоб он желанным гостем
    В жернова полез!

Чтоб пу́ховым умолом
    Ссыпался в мешки,
Ребятам пузоголым
    Спекся в колобки!»

1926

472. СССР

С С С Р! Он весь растет,
Летит за ленинской звездою.
Не удержать его полет
Былого рваною уздою.

Лохмотья прочь! Смелей порыв!
Пусть от работы ноют плечи,
Мы одолеть должны наплыв
Неслыханных противоречий.

Взгляни на карту. Как медведь,
Ломая клеть меридианов,
Союз на полюс поглядеть
Прилег к седому океану.

И, словно горсть посéвной ржи,
Рассыпанная в пустошь мира,
Тысчонка городов лежит,
Кой-где рассеянная сиро.

Кругом бегут леса стремглав,
И воют реки по безлюдью.
Земля глядит из диких трав
Кой-где распаханною грудью.

В просторах дикой тишины
Глотают бешеные ветры
Едва родившейся страны
Несчитанные километры.

Тираны знали с давних лет:
Для трона крепче нет подножья,
Дороги к рабству лучше нет,
Чем тьмы народной бездорожье.

Но загорались очаги,
И горны молнии ковали.
Тиранства дерзкие враги
Рождались, падали и звали.

В подполье каждая доска,
В Сибири каждая тропинка
Потела кровью бедняка
Перед Октябрьским поединком.

И вот, под заревом невзгод,
Мечта и месть, огонь и злоба,
Сметая всё, что жизнь гнетет,
Россию вынули из гроба.

Взгляни на карту! Не узнать
Смиренной родины Толстого!
Бушует юная весна,
Снося развалины былого.

Слепых губерний темнота
Восстала радугами наций.
Пустынь иссохшие уста
Уже с каналами роднятся.

Сверкают дали всё густей
Огнями домны алозвездой.
И тонет в стройке областей
Тоска заплеванных уездов.

Руками врубовых машин
И жалом бурова стального
Тепло мы тянем из глубин
На стройку счастья мирового.

Мы человечество ведем
На волю из позорной клетки.

И смотрит будущим вождем
Питомец каждой семилетки.

Дружней напор! Смелей порыв!
Пусть от работы ноют плечи,
Мы одолеть должны наплыв
Неслыханных противоречий.

1928

473. ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ползла навстречу декабристам
Сибири ледяная мгла,
Когда в Саратове ветристом
Бунтарка Волга родила.

В уютном домике мечтали:
Архиереем будет сын.
Но волны с Волги бились в дали,
И кровью зорь горела синь.

Средь мертвых душ метался Гоголь,
Под пулю Пушкин шел с тоски.
Уперлась русская дорога
В безвыходные рудники.

В потемках каторжного века
Висела над страной петля.
«Особенного человека»
Звала из недр своих земля.

И осветил он эту темень
Поры шпицрутенов и розг,
И в наше огненное время
Вонзил оттуда гневный мозг.

Он мерил юными глазами
Европу, где «безумный год»
На баррикадах поднял знамя
Готовых в бой рабочих рот,

И, возвращаясь взором к Азии,
К России тюрем и плетей,
Искал среди мертвящей грязи
Едва мерцающих путей.

Он сеял бурю. Но на всходы
Ложилась вьюга пеленой, —
Ведь только первые заводы
Дымились в ночи крепостной.

«Эй, поднимайтесь из трущобы!
Скорей на вольный, белый свет!
Свобода требует учебы.
Борьба — истории завет!»

Так голос тихий громче грома
Носился в мертвой тишине.
В деревне вспыхнула солома,
В умах набат идей звенел.

И во дворец вползла тревога,
Псари почуяли беду.
Ценой подлейшего подлога
Глашатай брошен в пасть суду.

Над головой сломали шпагу.
Он вне сословий. Он один.
Он отдан весь людскому благу,
Но он в цепях сибирских льдин.

В Париже бились коммунары,
Власть вырывая у врага.
Над ним безвыходным кошмаром
Дышала мертвая тайга.

А доктор Маркс, ведя к победе,
Записывал в свою тетрадь
Российские аз-буки-веди,
Чтоб Чернышевского читать.

Уже над фабриками стóймя
Вставали трубы на дозор,

И крал прибавочную стоимость
«Промышленный антрепренер».

И, «раскрестьянившись», крестьянин
«Кошачий» покидал надел,
Чтоб в пролетарском юном стане
Навстречу выходить беде.

За поколеньем поколенье
Врастало в бой сквозь тьму и сон.
Ребенком слушал с Волги Ленин
Бурлацких песен горький стон.

Под бревнами вилюйской хаты,
На этой вечной мерзлоте,
Жил Чернышевский, ночью сжатый,
Сгорая в бешеной мечте.

Глаза лазурные зажмурив,
Он там мечтал издалека
О вас, творцы Октябрьской бури,
О вас, советские века.

1928

474. КОЛОНИАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Вечерней розовой чадрой
Окутан неподвижный сад.
Цветы густые под горой
Благоухание струят.

Но черным вороном во мгле
Среди сверкающих садов
Старинный замок на скале
Притих, безмолвен и суров.

То сладкий вздох, то поцелуй,
То переклик птенцов вдали,
И море пенным всплеском струй
Ласкает жаркий край земли.

Но, как пустыня, как скала,
Я одинок в ночном раю.
Тревога всё во мне сожгла,
Чем люди любят и поют.

Там, в казематах, в темноте,
Лежат товарищи мои.
На каждом из усталых тел
Цепей железных две змеи.

Пытают пленных палачи
И жалит ржавая змея.
Но в каждом пленном месть кричит:
«И я свободный, с ними я!»

И, будто горы мне малы,
Весь — крылья мысли, весь — полет,
Я из душистой этой мглы
Мчусь в предназначенный мне взвод.

Винтовку в руки запаяв,
Среди своих плечо к плечу,
С проклятой стаей воронья
Я в битву ринуться хочу!

И если смерть, так на посту!
И если в бой, так до конца!
Но под железную пяту
Не дам ни одного птенца!

Ни перла пены! Ни волны!
Ни звука песни! Ни цветка!
Ни камня из моей страны —
Не дам их бешеным рукам!

Я ничего им не отдам!
Я их сильней: я не один!
В последней битве навсегда
Насильников мы победим!

1929

475. НЕ ИЩИ...

Из Янки Купалы

Не ищи счастливой доли
На чужом далеком поле,
Нет, за шумным лесом-бором,
За широким синим морем
Не ищи счастливой доли.

От тебя ведь счастье близко!
Там оно, где в хате низкой,
Колыбель твою качая,
Пела мать тебе родная.
Счастье рядом! Счастье близко!

Не ищи себе ты друга
Средь чужого сердцу круга,
Между пьяных и богатых
В панских каменных палатах
Не ищи себе ты друга!

От тебя ведь друг твой близко!
Возле хаты, возле низкой,
Где ходил ты пастушонком,
Где косой звенел ты звонко, —
Там ищи, ведь друг твой близко!

Не ищи отчизны, брат мой,
С ветром, спутником превратным,
Ни на суше, ни на море,
Ни в счастливых снах, ни в горе —
Не ищи ее там, брат мой!

Ты вблизи отчизну встретишь,
Как леса встречает ветер.
Только в сердце глянь свое ты
Зорко, с ласковой заботой —
Ты вблизи отчизну встретишь!

1930

476. ПУГАЧЕВ

Сутул,
кряжист,
он в дверь вошел без стука.
Расчетвертован!
Но живой еще.
Походов пóтом,
перегаром лука
Дохнул мне в комнатную кожу щек.
Дубовой лапы цепким корневищем
Налег слегка
и раздавил плечо.
И свистнул вдруг,
как мы давно не свищем,
Чтоб мне втемяшить:
здесь, мол, Пугачев!
«Всё пишешь?»
Оглядел с ухмылкой стило
И пальцем ковырнул его большим.
«Такой стрелы гусыня не растила! —
Язвит насквозь! —
Ну что же! Пропиши!»

За окнами во мгле весенней ночи
Белел старинный годуновский дом.
В саду сирень давила кожу почек,
Чтоб к утру первым выхлестнуть листом.
Клубок антенн из неба вести выпил,
Во двор летящие со всех сторон,
И в типографии на линотипе
Они уже струили нежный звон.
С кремлевской башни светлый звук печали,
От трех ударов плача горячо,
Запел томительно:
«Вы жертвой пали. . .»
И выпрямился сразу Пугачев.
«Ты здесь живешь?
Я проживал здесь тоже.
Одну лишь ночь!
Но ведь какую ночь!

Наутро помост
стал мне смертным ложем,
От тела руки
отлетели прочь.
Я выехал в открытые ворота
С большим почетом...
В клетке, словно зверь!
Вниз,
через площадь
прямо на Болото,
Где обо мне
и знака нет теперь.
Да это что!
От смерти мало толка!
Кто в людях жив,
тот жив
и в прахе и в гробу!..»
Над пеплом смелого степного волка
Рабы воззрились на свою судьбу.

1931

477. ПОЭТ

В ямах прошлого могильных
Кем ты был, поэт, всесильный
Над звенящей влагой слов?
Бунтарем ты был бескрылым,
Каторжанином унылым
Или худшим из рабов.

Ты орлом в темнице бился,
Буревестником носился
Или чайкою рыдал.
И в ответ лишь стон бессонный
Над землей закабаленной
Клокотал: «Когда? Когда?»

Птице-песне крылья мяли,
Птице-песне горло рвали
И давили грудь пятой.

Слово чахло и ссыхалось,
Слово с мыслью расставалось,
Слово сделалось мечтой.

В горнах наших дней плавильных
Кем ты стал, поэт, бессильный
В старом мире мертвецов?
Созидателем строенья,
Дирижером вдохновенья
И товарищем творцов!

Пред тобой необозримый,
В первый раз людьми творимый,
Мир свободы и добра.
И к тебе многомильонный
Зов земли раскрепощенной
Обращен: «Пора! Пора!»

Птицы-песни взлет свободен.
Птицы-песни голос годен
И в бою и за трудом.
Слово чувством накалилось,
Слово мыслью утвердилось,
Слово стало рычагом.

1935

478. ДА БУДЕТ ДЕНЬ!

Из Христо Смирненского

Ночь непроглядная, глухая,
Ночь ледяная, словно смерть...
Земли истерзанная твердь
Кипящей кровью истекает...
Среди руин во мгле зловещей
Безглазым демоном войны
Знамена смерти взнесены,
И хищно меч о меч скрежещет.
Под беспросветной темнотою
Крест неподвижный водружен,
И тысячи слепой толпою
К нему идут со всех сторон.

Идут, гонимые бичами
Кумира золота и зла,
И всё мрачней и гуще мгла,
И двигать нет уж сил ногами.
Вздохнуть свободно жаждут груди,
Хоть искры света ждут глаза.
Мечта одна лишь, как гроза,
Горит, растет и души будит,
И, разрывая ночи тень,
Сквозь слезы и кровавый гнет
Мятежный крик кругом встает:
«Да будет день! Да будет день!»

⟨1935⟩

479. КРАСНЫЕ ЭСКАДРОНЫ

Из Христо Смирненского

На заре великой эры, сея искры новой веры,
В бой несутся эскадроны, взоры их грозой горят.
Будто хищные орлицы, бурей вспугнутые птицы,
Вниз на них летят осколки — за снарядами снаряд.

Чей-то конь заржал вдруг, вздыбясь. И тяжелой мертвой глыбой
Грохнул наземь гордый всадник, вражьей пулей поражен.
Конь на миг остановился и опять бежать пустился, —
Общей волей увлеченный, в свой вернулся эскадрон.

Вея буйной конской гривой, снова вдаль над сжатой нивой
Вихрем вслед за эскадроном пролетает эскадрон.
И над конницей всё круче пыль клубится серой тучей,
Блеском бронзовым мерцая, пламенеет горизонт.

Вдруг оттуда, где ракиты, грянул выстрел ружей скрытых,
Волны пламени и крови вмиг столкнулись и сплелись.
Хлещет буря без пощады, сталь звенит, удары градом,
Схватка краткая — и снова эскадроны понеслись.

Ах, летите, эскадроны! Взор огромный, взор мильонов
К вам надеждою прикован и огнем любви живым.
Руки крепкие сплетая, о свободе мир мечтает,
Потрясен и очарован вашим кличем боевым.

Ах, летите в бурю сечи в вихре огненной картечи,
Вы, бесстрашные предтечи новых солнечных веков!
Бурей, молнией и громом всем дворцам и всем хоромам
Возвестите наступленье пробудившихся рабов!

И когда последний камень крепостей, зажатых в пламя,
Рассыпаясь черным пеплом, обратится в пыль и прах,
Вы с коней своих слезайте, землю, нашу мать, лобзайте
И навеки утверждайте правду в мире, мир в сердцах!

1935

480. НАПРАСНАЯ БОРЬБА

Из Важа Пшавела

Ворон подрался с вороною
Из-за гнезда орлиного.
Вор и воровка клювами
Хлещут друг друга длинными.

Когти с когтями сцеплены,
Кровь струится багровая.
Страстно обоим хочется
Сесть на гнездо готовое:
Думают, что хозяина
Смерть настигла суровая!

Скрыто от них, что с клекотом
Мчится дорогой вольною,
Мчится орел на гнездо свое,
Взор его мечет молнии.

30 марта 1936

481. ЛАНДЫШ

О чем вы шепчетесь, кусты?
О бездне синей высоты?
О сумраке у ног своих,
Где ландыш беленький притих?

Уже томит его жара,
И умирать ему пора.
А лето только подошло,
Развеяв первое тепло.

Печален, кроток и красив,
Сухие чашечки склонив,
Последний раз он прозвенит,
Последний раз он опьянит

Вечерний воздух, и земля
Поглотит жемчуг со стебля
В грудь ненасытную свою.
А я ей песенку спою.

Она дала, она взяла.
Она сплела в один венок
И сладость первого тепла
И смерти горький холодок.

13 июня 1937

482. ГОРЮШКО

Без призора ходит горе
От одной избы к другой
И стучит в окно к Федоре,
Старой сватье дорогой:

«Отвори, Федорушка,
Отвори скорей!
Это я тут, Горюшко,
Плачу у дверей».

«Нет с Федорой разговора,
Ты мне, Горе, не родня!
Хлеба горы, денег ворох
Получила с трудодня».

Горе шасть в другую хату,
Где в окошках шум и свет,
И стучится в двери к свату,
Другу прежних горьких лет.

«Приюти, Егорушка,
Сватьюшку свою!
Это я тут, Горюшко,
У дверей стою».

«У Егора с Горем ссора!
Уходи от хаты прочь!
За колхозного шофера
Выдаю я замуж дочь».

Горе плачет, пот струится
По костлявому лицу,
И в окно оно стучится
К многодетному отцу:

«Отвори, Сидорушко,
Пропусти в жилье!
Ты ведь помнишь Горюшко
Вечное свое!»

«В Красной Армии три сына,
В школу отдал дочек трех.
Тут седьмые октябрины,
Не марай ты мой порог!»

«Что с народом приключилось?
Не видало отродясь! . .»
Горе лужицей расплылось.
Солнце высушило грязь.

1937

483. РОМАНС

Одна ты идешь по листве золотой
В лесную даль
И знаешь, что рядом неслышной стопой
Идет печаль.

Но вдруг за опушкой встает, весь в лучах,
Лазурный свод
И счастье, как птенчик, трепещет в руках,
Лететь зовет.

Деревья роняют былую красу
И ловят свет.
Ты спутницу ищешь в пустынном лесу...
Ее уж нет.

22 сентября 1940
Москва

484. МУЗЫКА

Из пут пространства узкого
Обыденных невзгод
Людей уносит музыка
В дерзающий полет.

Познать всю жизнь во времени,
В движенье уловить
Вздох вздрогнувшего семени,
Стон вспыхнувшей любви,

И звезд немых сияние,
И грозный гром войны,
И с морем рек слияние,
И смутный шум весны —

Всё, всё она торопится
В себе сроднить с людьми, —
То бурей в сердце бросится,
То паузой томит,

То молниями вспенится,
Греметь заставит медь,
То, арф и скрипок пленница,
Ручьем начнет звенеть.

Ища в мгновеньях вечности,
Из звуков строит свод
И самым человеческим
Нам голосом поет.

И мига средь веков ища,
Достойного веков,
Вдруг *«Пятой»* Шостаковича
Сверкнет сильнее слов.

Земля объята пламенем.
Мы бьемся в этот миг
Под справедливым знаменем
За право быть людьми.

И музыка — подруга нам,
Зовущая в поход.
Она к земле поруганной
С утехой тихой льнет.

Она поет, что родина
Едина и крепка,
Что будет обезводнена
Кровавая река,

Что в битвах за отечество
Врага погубим мы
И вырвем человечество
Из пасти дикой тьмы.

1 марта 1942

485. ИСЦЕЛЕНИЕ

Когда я вернусь на родимую землю,
Где мед и гречиха вскормили меня, —
Всё, всё, чего ум и душа не приемлют,
Увижу я в жестком сиянии дня.

Священному пеплу, разрушенным сводам,
Сгоревшему срубу, погибшим садам,
Лежащему в прахе искусству народа
Поклон до земли по старинке отдам.

Да, пали София одна и другая,
Но мудрая в камне жива благодать:
Они завещали, в огне погибая,
Их чудом терпенья опять воссоздать.

Я ныне пред этим заветом бессилен —
Мне горе росой застилает глаза...
Но слышу: руины меня вопросили, —
Ужели могу я родным отказать?

Я мог бы взять камни — и вычислить тяжесть,
И свод вознести на четыре угла,
И ревность водила б рукой моей та же,
Что росписью древней известку прожгла.

Но это ведь было бы ложной обновой:
Дыхания тысячи лет не вернуть.
К мечте возрожденья из яви суровой
Иной и чудесный мне видится путь...

Я мог бы со стенки, на запад глядящей,
Захватчикам лица ожечь, как огнем,
Картиной бессмертной, злодейство разящей, —
Карающим грешников Страшным судом.

Но кара, грозящая бешеным гадам
Из каждого дула советских бойцов,
Вернее, чем пасть безысходного ада,
Ужасней, чем пламенных лезвий кольцо.

И в прахе развалин, в века уносимом,
Мне слышится голос давнишних друзей:
Резец подает мне торжественный Симон
И кисти — питомец лазури Андрей:

«Егда мы пред очи народа вздымали
Подвижников духа, свергающих зло,
Мы древностью дух, яко ты, умудряли,
Но у́зреть грядущее тщились зело́.

И ты под твердыней небесного крова
Воззрись на грядущее русской земли,
Поведай о том — али краской, аль словом, —
За что наши вои на подвиг пошли.

Поведай, какая судьба предстояла
Защитникам славным сторо́жей и веж.
Отступникам выкажь анафемы жало,
Хвалою поборников правды утешь!»

И я, исцеляясь от мук ностальгии,
Вдали от прикованных к сердцу руин,
О подвиге вашем, бойцы дорогие,
Пою — о твоем, мой народ-исполин!

Мы храмы искусства разрушенных краше
Построим — но шире проблещет векам
Спасенный от гибели силою нашей
Судьбы человечества солнечный храм.

17 января 1943
Ташкент

486. РАЗГОВОР С АРИНОЙ РОДИОНОВНОЙ

«Из времени из оного,
Из вечности своей,
Арина Родионовна,
Поди ко мне скорей!

Твой домик, слышь ты, маленький,
В Михайловском родном
От кровли до завалинки
Испепелен огнем.

Усадьбу мы лелеяли
Поболе сотни лет,
Гремели юбилеями
На весь-то белый свет!

Сияло людям солнышком,
Негаснущей звездой
Курчавого смугленыша
Любимое гнездо.

Теперь там только уголья
В снегу погребены.
В развалинах под вьюгами —
Святыня всей страны».

«Да как же это сделалось?
Не утаи, родной!
Илья-пророк разгневался,
Ударил молоньёй?

Иль стали по Сергеиче
Вы панафиду петь,
И от свечи копеечной
Добро пошло гореть?»

«Для горюшка мудреного
И слова не найду.
Арина Родионовна,
Попали мы в беду!

Ползучею, летучею
Нахлынул враг ордой,
И с этой вражьей тучею
Ведем мы лютый бой».

«Эх, помню Русь палёную!
Уж я в летах была,
Когда Наполеонова
Орда по селам шла.

Да не пустили к вотчине
Мы недругов земли,

Стегали их с обочины,
В самой Москве их жгли».

«Не быть теперь в ней идолам,
Не быть врагу живым!
Не выдали, не выдадим
Родной своей Москвы!

Михайловское милое
Мы восстановим вновь.
Поит великой силою
Нас к Пушкину любовь.

Ты лишь ему не сказывай,
Что домик твой сожжен.
Мы справимся с заразою.
Врага прогоним вон».

«Гоните горячей еще,
Ослобоните Русь!
А я уж свет Сергеичу
Про дом не заикнусь».

Март 1943

487. ПОТОМКАМ

Из наших книг поймете вы,
    Что было в этот час,
Когда над миром мрак завыл,
    На солнце ополчась.

Когда от боли жизнь кричит
    Под топором орды,
Когда народов палачи
    Убийствами горды.

Пред сгустком мрака всех времен
    Мы не сомкнули век,
И нами был оборонен
    От смерти человек.

Тот человек, который в вас
Так радостно возрос,
Когда заря над ним зажглась
Из-под кровавых гроз.

Мы не жалели сил своих,
Струили кровь в снега,
Чтоб в этот всё решивший миг
Остановить врага.

Мы с Волги и с Кавказских гор
По всем своим фронтам
Давали извергам отпор,
Грозившим нам и вам.

И гневно ринулись на них,
И стали гнать их вон,
Когда народных сил родник
Разлился морем волн.

Гнались за ними по следам,
Неслись на их плечах,
Врываясь в наши города,
Поверженные в прах.

Нас кровь встречала и зола,
И виселиц ряды,
Детей истерзанных тела
И женщин молодых.

И разгромили мы врагов
В победе мировой
Для счастья будущих веков,
Для счастья своего.

Вы дали мрамор, сталь и медь
Художникам своим,
Чтоб подвиг наш запечатлеть
И славные бои.

Вы словом, новым и живым,
Воспели наши дни,
Но пламя то храните ль вы,
Что мы в себе храним?

Иль в тихом тлеете быту,
Уютом опьянясь,
И в вас огонь борьбы потух,
Горящий солнцем в нас?

Нет, нет, потомки! Наша кровь
И ваше сердце жжет!
Я вижу, вы готовы вновь
Лететь на штурм высот.

Вы завоюете пути
Неведомых наук,
Красою новой заблестит
У вас и цвет и звук.

Ваш гений вспыхнет, как весна,
И не умрет вовек,
Сверкнет им каждая страна
И каждый человек!

Март 1943
Ташкент

488. ГОЛОС МОСКВЫ

Лунного облика
отблеск медлительный
близко-далек.

Снег ослепляющий
белым безмолвием
горы облек.

Сад не шелохнется.
Стройные тополи
храм возвели.

Ласково стелется
звуком неслышимым
шепот земли.

Там, за пустынями,
за перевалами,
за тишиной,

Даль беспредельная,
Русь необъятная,
город родной!

Вдруг зовом горлинки
капли звенящие
канули в тишь.

Слушаю, слушаю!
Это, любимая,
ты говоришь!

С точным хронометром
в мигах и вечности
я властелин.

В лунном сиянии
стрелка торопится.
Двадцать один!

Но по московскому
счету державному
дышит земля.

Час восемнадцатый
к нам приближается
с башни Кремля.

Весть долгожданная,
победоносная
в мир понеслась:

Сила враждебная
нашему воинству
снова сдалась!

Вновь сокол-колокол
девять раз вылетит —
грянет Москва!

Залпов торжественных
вспыхнет могучая
миру молва.

Где же, пустыни вы,
дали бескрайние?
Сжались вы вдруг!

С Красною площадью
вплавлен я в праздничный
дружеский круг.

Небо колышется.
Света полотнища
ловит зенит.

Солнца знаменами
тьму побежденную
слава казнит.

Где б ни скитался ты,
сердце московское
рдеет в тебе.

Весь ты бросаешься
к новому подвигу,
к новой борьбе.

В хоре торжественном
залпы сливаются
с сердцем твоим.

С Красною Армией,
ты, самый маленький,
непобедим!

В хоре с народами
ты, полон радости,
слово берешь.

Песню о родине,
песню о партии
громко поешь.

12 декабря 1943
Сталинабад

489. ВЕРБА

Из Якуба Коласа

Ручеек расспрашивал
Вербу сиротливую,
Что над ним закинула
Голову шумливую.
И, склоняясь ветками
Прямо в воду светлую,
С ветерком полуденным
Зашепталась, сетуя:
«Ты скажи мне, вербочка,
Ты ответь, унылая,
Что ты всё печалишься,
Жалуешься, милая?
До поры, до осени,
Горем утомленная,
Всё роняешь листики,
Венчики зеленые?
И о чем ты шепчешься
С ветерком так жалостно,
Будто ищешь гибели,
Сотрясаясь яростно?
Кудри твои пышные
Жолкнут, высекаются,
И листы упавшие
На земле валяются.

Ты скажи мне, вербочка,
Ты ответь мне, милая,
От какого горюшка
Ты так обессилела?»
Зашумела тихо
Верба-сирота:
«Горько мне, любимый,
Горько неспроста!
Тяжко моим ножкам,
Камень их сдавил,
Ты своей водою
Корни мне подмыл.
Землю под ногами
Взрыл ты, раскопал,
Сок из сердца выпил,
Всё себе забрал.
Зря я загубила
Молодость свою!
Ох, зачем так крепко
Я тебя люблю?»

1943

490

Как птица вешняя из клетки,
Из рук ты вырвалась моих,
Из всплесков счастья, слишком редких,
Из частых горестей глухих.

И я смотрю душой земною
В звездистый сумрак голубой.
Где ты — не знаю. Но со мною
Твой образ, светлый и живой.

14 марта 1945

491

В благоговейной тишине,
Когда задремлет даль ночная,
Во сне приходишь ты ко мне,
Живая, теплая, родная.

И все мгновенья лет былых,
Когда мы счастье мельком знали,
Сплетаются в бессмертный миг
Тесней, чем Дамаянти с Налем.

10 мая 1945

492

Мы нашли друг друга в буре.
Грозы стлали ложе нам.
Как Петрарка о Лауре,
О тебе я пел векам.

И когда-то, кто-то, где-то
В бесконечности людской
О тебе над песней этой
Загрустит моей тоской.

10 июля 1945

493. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Нимфе

Последняя страница книги,
Мой друг, закрылась пред тобой:
Огромной жизни нашей миги
В ней сплетены с моей судьбой, —

Борений полной, непонятной
Подчас и мне. Рассудишь сам,
Где родинки — рожденья пятна,
Где сóзвук юным голосам.

Но не к тебе лишь послесловье,
Читатель мой, обращено, —
И к той, чьей верною любовью
Мне было солнце зажжено.

Она, души моей подруга,
В глухие годы тьмы и зла
Из заколдованного круга
Меня в свободный мир вела.

И если что-нибудь живое
Услышишь в повести седой,
Скажи спасибо молодое
Той, кто была моей звездой.

1947

494. ПАМЯТИ А. Н. РАДИЩЕВА

В этот дом, на двор его старинный,
В кандалах поэта привезли.
Путь в Сибирь, мучительный и длинный,
Лег пред ним отсюда в даль земли.

А за что поэта заковали?
А за то, что в тьме глухих времен
Песни гнева громко прозвучали
Над Россией, скованной, как он.

А за то, что крепостное право
Он хотел с живых людей сорвать,
Чтоб насилью не были забавой
Ни ребенок, ни отец, ни мать.

Незадолго в эти же ворота
Пугачева повезли казнить
Над Москва-рекою, на Болото,
Чтобы вопль крестьянский погасить.

Но Радищев дал народным стонам
Силу мести, силу жизни дал
И подножье под кровавым троном
Словом правды грозно зашатал.

И народ за славный подвиг этот
В торжестве свободного труда
Не забудет смелого поэта,
Не забудет никогда.

1949

495. СИЛЬНОЙ ПЕСНЬ МОЯ БЫВАЕТ...

Из Марии Конопницкой

Сильной песнь моя бывает,
Коль до сердца долетит.
Людям весело — сияет,
Людям больно — загрустит.

В песне маленькой лучится
Полевых цветов привет,
И чудесно в ней таится
Вешних лет моих расцвет.

Ходит песенка сироткой,
Подымая грустный взгляд,
И стучит в калитки кротко:
«Где тут друг? И где тут брат?»

Согревает сердце людям,
Пробуждая их от сна.
Обещает: солнце будет,
И опять придет весна.

Песня эхом быстрокрылым
Мчится в даль родных краев
И поет родным могилам
Серебром колоколов.

1950

496. БЛАГОСЛОВИ ТЫ ПЕСНИ, БРАТ, СВОИ...

Из Марии Конопницкой

Благослови ты песни, брат, свои,
Когда они, как солнце, заблестят.
Но и тогда ты их благослови,
Когда они слезами закипят.

Благослови, когда в их звуке молодом
Воскреснут голоса весенних птиц.
Но и тогда, когда в них грянет гром,
Раздастся стон дубов, упавших ниц.

Благослови, когда ласкают слух
Серебряной струною тишины.
Но и тогда, когда погасший дух
На бой зовут они, огня полны.

Когда помчишься ты на подвиг свой,
Их солнечной зарею озарясь...
И в миг, как вечный обоймет покой,
Ты им скажи: «Благословляю вас».

⟨1950⟩

497

Золотая и немая,
Затаилась тишина.
Песням спрятанным внимая,
Я иду как в чарах сна.

Листья тихо улетают
С засыпающих ветвей.
И минуты жизни тают,
Жизни песенной моей.

1955

498

Всё затихает в дебрях чернолесья,
Летят листы в пустое поднебесье,
Во мху смертельной влагой дышит тлен.
Спешит земля отдаться в белый плен.

Но почему с какой-то нежной властью
Во мне звенит весенний проблеск счастья
Под этой скованною тишиной?
Мне кажется, что ты идешь со мной.

1955

499

Струны белые березок
Потянулись в синеву,
Всю стряхнул осенний посох
Золотую их молву.

И задумчивые ели,
Гордо вея головой,
Изумрудом засмуглели,
Расправляя бархат свой.

1955

500

«Осень, осень! Золотая!
Тая в бездне голубой,
Безвозвратно улетая,
Унеси меня с собой!»

«Листьям простеньким приятна
Лётной смерти быстрота,
Но ведь ты, мудрец занятный,
Жил на свете неспроста?»

1955

501

Настанет час, когда меня не станет,
Помчатся дни без удержу, как все.
Всё то же солнце в ночь лучами грянет,
И травы вспыхнут в утренней росе.

И человек, бесчисленный, как звезды,
Свой новый подвиг без меня начнет.
Но песенка, которую я создал,
В его трудах хоть искрою блеснет.

1955

502

Ну зачем же, для чего же
Каждый год одно и то же:
Лето, осень и зима?
Тут устанет смерть сама!

— Не устанет, потому что
Рядом с нею, круг за кругом,
Пеньем вёсен, снежным хрустом
Жизнь идет, ее подруга.

1955

503. МОЛОДЕЖИ

Теплый запах левкоя,
Тишина и луна,
Но отрада покоя
Нам еще не дана.

Жизнь безудержно мчится
Средь затиший и бурь,
Юным счастьем лучится
И зовет на борьбу.

Если шаг свой замедлишь,
Если сдержишь полет —
Неотступен и въедлив,
Страх тебя обоймет.

Если ж крылья расправишь
Вихрям злым вопреки,
Солнцем к счастью и славе
Полетишь напрямки.

1956

504. КРЕМЛЬ

Где Москву-реку с Неглинной
Бор дремучий повенчал,
Вырос Кремль в красе былинной —
Русской доблести причал.

На ступени Оружейной
Чуть взойдешь — душа горит!
О былом благоговейно
Русь с тобою говорит.

Сколько бурь наш Кремль изведал!
Сколько крови смыл с бойниц,
Чтобы алых звезд победа
Разгорелась из зарниц!

В тишину заветных комнат
Чуть взойдешь — горит душа!
Стены молвят всё, что помнят
Ленин здесь борьбой дышал.

Неприступный, величавый,
Всех земных твердынь родней,
Кремль зарделся новой славой
В красоте Октябрьских дней.

1958

505. ВНЕЗАПНАЯ ВЕСНА

Весны внезапной первое дыханье
Летит в мое вечернее окно,
И то в крови я чую полыханье,
Что обжигало грудь давным-давно.

Но нет! Оно сильнее, глубже, чище,
Чем жизнь беспутная моя.
Листом из почки рвется, ищет
И вырастает маленькое я.

11 апреля 1959

506. ФИАЛКА

Весна еще не наступила,
И не везде растаял снег.
Фиалка глупая решила
Цвести скорей и ярче всех.

Цветок на слабенькие плечи
Она с улыбкой подняла,
Но вдруг пришел холодный вечер, —
Фиалка, вздрогнув, замерла.

Настало лето. Все подруги
Раскрыли яркие цветки.
Она зажмурилась в испуге
И опустила лепестки.

15 мая 1959

507. СОЛОВУШКО

О. М⟨аховой⟩

Что молчишь, соловушко,
 Вешней ранницей?
Чем твоя головушка
 Затуманена?

Твои песни дороги
 Красным девицам.
Заглушить их вороги
 Зря надеются!

Запевай, соловушко,
 Песню вольную,
Чтоб не стала вдовушкой
 Белоствольная!

16 мая 1959

508. ПРОЩАНИЕ С ИЗБОЙ

Прощай, прости, моя изба!
Ты вся почти из старых бревен:
Где прям венец, а где неровен —
Так заплела мне жизнь судьба.

Похожи избы на гроба:
В них веет тлением часовен.
Разлуки зов беспрекословен!
Я окрылен. А ты — раба.

Благодарю тебя за сказки,
Что пели девичьи мне ласки
В твоей подлунной тишине.

Я верю, что над древней пашней
Хрустальные воздвигнет башни
Народ, родной тебе и мне.

1962

509. ГОМЕР

Его глазам сияли небеса,
Оружья блеск и сладострастье быта.
Эллады милой юная краса
Ему пленительно была открыта.

Но тесно было тайным думам в нем
О дерзком богоравном человеке.
И вот Афина розовым перстом
Певцу закрыла трепетные веки.

«Ты видел всю земную красоту,
Теперь тебе дарю я слепоту,
Чтоб жизнь народа песней осветилась!»

Его душа взметнулась, как орел,
Он посох взял и в даль веков пошел,
Богиню славя за любовь и милость.

1962

510. МУДРОСТЬ

Я должен всё уразуметь,
Всё распознать и всё разведать,
Зачем нам мед, зачем нам медь,
Где пораженье, где победа.

Не подгоняет смерти плеть,
Не любопытство мучит деда.
Необходимо мне успеть
Потомкам опыт свой поведать.

Ведь умудрили тех, кто стар,
Трех войн губительных пожар,
Трех революций дерзновенье.

Мы мертвой и живой воды
Испили в годах молодых,
Чтоб знать, которая вкуснее.

1962

511. ОН ЖИВ

Природа-мать! История! Россия!
Народная седая жизнь сама!
Какие вы пути исколесили,
Чтоб вспыхнул гений сердца и ума!

Учили жить пророки и мессии,
Но не рассеивали силу тьмы, —
Не знали люди, нищие, босые,
Как выбраться из про́клятой тюрьмы.

Но вот за счастье новых поколений
Бороться вышел он, Владимир Ленин,
В одну семью рабочий люд сплотив.

И казематы пали вековые.
Освободились массы трудовые.
Светла их жизнь. И в ней
наш Ленин жив!

1963

512. МЫСЛЬ

Как дети рождаются в муках,
Так она возникает в словах,
Порою в свирельных звуках,
Порой во внезапных громах.

В ускоренных сердца стуках,
У неба в звездных глазах
Прочесть ее — сладкая мука
И радости трепетный взмах.

Ты, робостью лоб свой не хмуря,
Как вихрь, как весна, как буря,
Бросайся на юркую мысль,

Замкни ее в нежных оковах
Того неповторного слова,
Где все ее краски зажглись.

1963

513. РАЗДУМЬЕ

Мне б познакомиться с самим собою:
Каким рожден, кем выращен, кем стал?
Но, знаю я, всегда готовый к бою,
Врагов в лицо не сразу узнавал.

Как ящеры над бездной голубою,
Во мне века ощерили оскал,
Но с ведьмой, называвшейся судьбою,
Надменно, яростно я воевал.

Я жизнь любил так солнечно, так страстно,
Как может юный девушку любить.
Без страха шел я по тропе опасной,

И ничего не должен я забыть.
Среди восторгов, бедствий и тревог
Я, как солдат на фронте, сердце сжег.

17 июля 1964
Обнинск

514. ТВОРЧЕСТВО

Д. Голубкову

Когда в порыве вдохновенья —
Как грудь вулкана близ морей —
Ты весь дрожишь от нетерпенья
Свой пламень погасить скорей, —

Еще, еще одно мгновенье
Восторгом мозг усталый грей,
Чтоб не упасть в изнеможенье
У распахнувшихся дверей.

Там — смерть минуте этой дивной,
Где ты под звон волны призывной
Себя изжег дотла, до дна.

Там — всплеск на гребне совершенства
Неизъяснимого блаженства
Успокоительного сна!

1966

515. ПИШМАШЕ

«Сыра, темна моя избушка,
Не отсырела ль ты, старушка?
Растут ли на тебе грибы,
Как на спине моей горбы?»
— «Молчи, несчастный маловер!
Скорей бери с меня пример!
Я не старею, не дрожу,
Того гляди стихи рожу.
Как я служу твоим стихам,
Так ты себе послужишь сам.
С тобою молоды мы оба:
Я — до футляра, ты — до гроба.
Умрешь — сдадут меня в ломбард.
Строчи же дальше, старый бард!»

1 февраля 1967

516. МОЯ ОБИТЕЛЬ

Весь мир мне улыбался,
И улыбался я.
А он, качаясь, мчался
По безднам бытия.

Кругом летят созвездья,
У каждого свой путь.
Умчаться с ними вместе,
На эту жизнь взглянуть?

Но не хочу расстаться
С обветренной землей, —
Уж лучше с нею мчаться,
То ль доброй, то ли злой.

Хотите ль, не хотите,
Но эту благодать —
Житейную обитель
Мне жалко покидать.

1967

517. АРФА

Вере Дуловой

Когда из голубого шарфа
Вечерних медленных теней
Твоя мечтательная арфа
Вдруг запоет о вихре дней,

О бурях неги, взлетах страсти,
О пламенеющих сердцах,
Я весь в ее волшебной власти,
В ее ласкающих струях.

И кажется, что эти звуки
На волю выведут меня
Из праздной скуки, душной муки
Ушедшего бесплодья дня.

1967

ПОЭМЫ

518. ШОФЕР ВЛАДО

1

В горах Аджарии лесной,
Как вихрь, гонимый сатаной,
Гремя, свистя, вздымая пыль,
Стремглав летел автомобиль.
Дорога горная вилась,
Вползала вверх и вниз неслась,
То изгибалась, как удав,
То выпрямлялась вся, устав,
Как труп иссохший старика.
Направо стены мрачных скал
Творец безумный поднимал,
Налево — вниз, за срывом срыв,
Бросал, глаза в тоске закрыв.
То серебриста, то ярка,
Там в бездне пенилась река.
Сияла осень. И леса
Томил багряный листолёт.
Изнемогали дерева,
Коврами стлалась их листва.
Так девы, кончив хоровод,
Стоят, откинув пояса,
В бессмертном миге красоты,
А их пурпурные фаты
Лежат, как мертвые мечты.
Среди лесов, в отвесах гор,

Суровее звериных нор
Гнездились села. Дивных дев,
Которым свой дарю напев,
Таили сумрачность и тишь
Четырехскатных темных крыш.
Уж вечерел прекрасный мир,
И ослепительный закат,
Цветущих красок властелин,
Ущелье погружал в сапфир,
А главы дальние вершин,
Как вышки сказочных палат,
Раскрасил я́ро и рудо́.
Неустрашимый осетин,
Машину гнал шофер Владо́.
Слепой к сияющей красе,
Он впился в руль. Как будто степь
Была пред ним. На колесе
Давно уж оборвалась цепь.
Он по извилинам пути,
Летя, как птица средь небес,
Стремил свой грузный «мерседес».
Казалось, нет ему преград.
Скала? Он скажет ей: «Пусти!»
Обрыв? Перелететь он рад,
Он был артистом. Но кого
Он вез? Откинувшись, сидел
И, как незрячий, вдаль глядел
В бекеше белой князь Вово́.
Он прожил жизнь свою смеясь,
И обеднел, как всякий князь.
Но, от природы не дурак,
С войной он взялся за дела:
В союзы доставлял табак.
Ему фортуна повезла.
Не казнокрад, совсем не вор,
Почти, скажу, не мародер,
На третий год зачислил он
В доход двенадцатый мильон.
За цифрой цифру теребя,
Какой-то очень сложный счет
В уме он проводил, красот
Не замечая вкруг себя.

А между тем погас огонь
Закатный. Вздыбилась река.
Темнело. Бился встречный конь,
В седле бросая седока.
За поворотом поворот,
То спуск внезапный, то подъем.
Владо, красивый стиснув рот,
Урча сиреной и свистя,
Играет трепетным рулем —
Как будто дразнит он, шутя,
Шофера жуткую судьбу.
Но вот аджарскую арбу
Он нагоняет. Двух волов
Едва сдержав, старик седой
Трясет с укором бородой,
А из арбы на шум езды
Аджарка выглянула. Вдруг,
Как водопад струю воды,
Отбросил ветер ей фату,
И дивно озарил испуг
Два диких глаза, две звезды.
Владо пронесся. На лету
Поймал он взгляд блеснувших глаз
И больше их забыть не мог,
Как будто здесь он в первый раз
Переступил любви порог.
Еще безумней и смелей
Он полетел. Листвы алей
Горело сердце в нем. В тот миг
Он всё, что есть в любви, постиг:
Восторг, тоску, огонь и боль.
И чувств внезапных сладкий гнет
Переливал он в свой полет.
Восьмой к мильонам ставил ноль
Вово, когда нагнал арбу.
Застлала цифры страсти мгла:
Аджарка и его зажгла.
Но, видеть в женщине рабу
Привыкнув, он себе сказал:
«Моя» — и снова засчитал.

2

Где у дороги прилегло
В семь дымов грязное село,
Средь обгорелых пней-калек
С духаном приютился грек.
Треногий стол, скамьи у стен,
Вязанка вымокших полен,
Печурка с хилым огоньком,
Два голубя под потолком,
И, как Европы образец,
Стул, издырявленный вконец.
Забрызган грязью и устал,
Владо сюда машину гнал,
Остановил. Метнулись псы.
Закручивая вверх усы,
Своей осанкою гордясь,
Проворно вылезает князь.
Наживы духом обуян,
Хлопочет грек, зовет в духан:
«Подать прикажете шашлык?
Или цоцха́ли приподнесть?
Саци́ви из индейки есть».
— «Всё подавай на стол, старик.
Я плотно ужинать привык.
А первым дай сюда огня!»
И началася суетня.
Жену торопит грек: «Скорей!»
Гречанка, старая, как ночь,
Сельчан напрасно гонит прочь.
Народ толпится у дверей.
Красив аджарец и высок.
Он в черном весь, как птица тьмы,
От чуст когтистых до чалмы,
Он хищно быстр и угловат,
А над загаром смуглых щек
Глаза огнем тоски горят,
Как будто помнят старину,
Роскошной Грузии весну.
Но нет! Не веруйте глазам!
Аджарец родину забыл,
Он изменил своим отцам

И на пленительный ислам
Закон Христа переменил.
«Владо, здесь заночую я!» —
Решает князь, мечту тая
Под сенью нищего жилья
Украсить ужин и ночлег
Блаженною истомой нег.
Он долго смотрит вниз пути,
Но далеко волам ползти,
И вновь уходит князь в духан,
Уверен, весел и румян.

Сгустился сумрак в щелях скал,
Наполз, раскрылся, задышал
Туманом хладных влажных уст.
Как моря мертвого вода,
Был небосвод минуту пуст,
И вдруг зажглась одна звезда,
Белея, как жасминный куст.
Под тяжестью росы трава
Легла. Какие-то слова
Шепнул мгновенный ветерок,
Сорвав со встречных крыш дымок,
И, недвижима, нежива,
Нема, зловеща и темна,
Без счастья голубого сна,
С обетом непреложных мук,
Нагрузла ночь. Последний звук
Ушедшего навеки дня
Погаснул где-то, не звеня,
И смолкло. Безысходен гнет
Ночной. Безжалостна судьба —
То знает звездный небосвод.
И вот, скрипя, ползет арба.

Благословен громовый час,
Когда любовь грохочет в нас,
Достигнув огневых высот,
Где солнце сладострастья жжет;
Благословен разлуки день
И счастья тающий закат,

Когда любовницу, как брат,
Целуешь, сердце пряча в тень;
Но более благословен
Любви внезапной первый плен,
И первый изумленный взгляд,
И первое движенье рук,
И первый вздох, и первый крик, —
Тут человек, как бог, велик,
Творец безумнейшей мечты:
Прожить хоть миг без «я» и «ты».

Счастливый победитель миль,
Владо стоял. Автомобиль
Его помощник убирал
К ночному отдыху. От скал
Струилась чернота. А к ней
Навстречу — белых фонарей
Ацетиленовый огонь.
И вечный спор вели, немы,
Алмазный свет и бархат тьмы.
К глазам приставивши ладонь,
Владо стоял настороже
На ослепительной меже.
Как шепот сладкой ворожбы,
Он слышал близкий скрип арбы,
И закричать он был готов,
Увидев белых двух волов,
Но сдержан должен быть шофер,
И у него лишь вспыхнул взор.
Арба подъехала. Старик,
Седой, как пена на волне,
Живой и быстрый, как родник,
На землю спрыгнул. В темноту
К отвесной оттянул стене
Волов, ослепших на свету.
Владо сказал ему привет,
Старик заговорил в ответ.
Пуглива, трепетно-мила,
Красавица с арбы сошла,
Как в легкой дымке небеса,
Горит в чадре ее краса.
Не постыдился б сам Аллах

Ее ласкать в своих садах,
А кто из смертных увидал,
Тот навсегда затосковал.
Смолистых кос гнедой сугроб
Янтарный открывает лоб.
В глуби под дугами бровей
Два глаза медленных лежат,
Как в двух миндалинах агат.
Их взгляд поет, как соловей,
И обещает, как пророк,
Весь рай, что сотворил восток.
Как персик щеки. Зубы — снег.
Пурпурных уст росистый цвет
Готов произнести обет
Любви, покорности и нег.
Плечей чуть рдеющая мгла,
Как солнце вешнее, тепла.
А грудь, как пара голубков,
Летит из шелковых оков.
Блажен, кто первый обоймет,
Аджарка, стан горячий твой,
Кто в час волшебно-грозовой
В счастливом хмеле забытья
Твой первый поцелуй возьмет.
Владо тоскует: «Если б я! . .»
И длинный разговор ведет
С ее отцом.
В духане крик:
К повиновенью князь привык.
«Чтоб здесь сейчас она была!
Я за деньгами не стою», —
И достает мошну свою.
«Бери!» И жадно со стола
Хватает грек кредитки. Князь
Вино глотает, не пьянясь.
К арбе крадется грек, как вор,
И начинает разговор:
«Как трудно жить. Как много бед.
Как дорог ужин и обед. . .»
Старик молчит, как груды скал,
И гладит свой кривой кинжал.
Но снова начинает грек:

«Как часто бедный человек
Богатым сделаться бы мог
И жить без горя и тревог,
Особенно, когда он стар
И у него такая дочь. . .»
Старик молчит мрачней, чем ночь,
Но взор его сулит удар,
Но в нем уже клокочет гнев:
Славны аджарцы честью дев.
А грек, порывшись на груди,
Бумажки вынул: «Погляди!»
Владо вдруг понял сводню. «Прочь! —
Он закричал. — Уйди! Убью!»
И руку протянул свою
С наганом. Не дрожит рука.
Спокойны очи старика.
Взор девы нежен, как свирель.
И словно ящерица в щель,
Куда-то к дому своему
Грек увильнул в ночную тьму.
Но круг содружный он смутил.
Аджарку пестрый полог скрыл,
Старик улегся на земле.
Владо пошел вперед. К скале
Он прислонился. Как от волн,
Кружилась голова. Был полн
Он весь блаженных голосов.
Себя отдать он был готов
Всего всему, а лучше ей,
Красе аджарских дочерей,
Звезде мгновенного пути,
Которой должен он — увы! —
Сказав «люблю», сказать «прости».
Его горячей головы
Касался влажный куст травы.
Внизу пред ним ночной туман
Клубился, будто великан
Курил там голубой кальян.
Созвездья нежно к высоте
Прижались.
А в полуверсте
От криков весь дрожал духан.

В дощатой комнате, как лев,
Метался князь, срывая гнев
На греке. Грек, едва дыша,
Божился богом и Аллой,
Что девушка не хороша.
Но князь не верил. Бранью злой
Хозяина он осыпал,
То гнал его, то призывал,
И, наконец, свечу задув,
На ужин даже не взглянув,
В досаде черной, на кровать,
Не раздеваясь, лег он спать.

8

Смуглела ночь. Еще заря,
Молитву алую творя,
Стояла тихо за горой,
Когда старик во мгле сырой
Волов запряг и тронул в путь.
Кто видел ночь когда-нибудь,
Когда стучится к ней рассвет,
Как в домик к девушке поэт,
Тот знает, как она грустна,
Безвластна, жалобно-нежна,
Как в ней безвольна красота
В последний миг. По небесам
Раскинет волосы, как смоль,
Откроет темные уста
И дышит — трепет в ней и боль, —
И гаснет взор ее, как звезд
В поднéбесье жемчужный грозд,
И вдруг изникнет вся. И нет
Ее. И обнаженный день
В ее девическую сень
Вбегает без стыда. От гор,
Сплетаясь в кружевной узор,
Дымком отходят облака.
Внизу алмазами река
Гремит. И розовый табак
Средь мертвой осени цветет,
Как неизбывной жизни знак.

Росисты камни. Ломкий лед,
Блистая, тает в колеях.
Ручьи смеются в пропастях,
И вдруг в янтарный небосвод
Летит лучей всецветных дождь,
И солнце медленно плывет,
Как на ладье пурпурной вождь.
Арба ползет. Всё круче скат
Извилин горного пути.
Всё у́же и опасней путь.
Волы, напрягши круто грудь,
Глазами круглыми глядят,
Боясь над срывом вниз идти.
Аджарка спит. Арба ей дом.
Старик лениво бьет кнутом
Волов, поникших под ярмом.
И вот он слышит над собой,
Как будто в выси голубой,
Автомобиль ревет трубой.
Владо несется вниз. Разгон
Безумный. Руки, словно сталь,
Схватили руль. Струится ветр,
И стопет тормоза педаль.
Змеею крутится уклон
И тянет вниз. На миллиметр
Ошибки быть не может. Вдруг
В глазах бесстрашного испуг:
Он между пропастей и скал
У поворота увидал
Арбу. Полета вниз боясь,
Узнал аджарку тотчас князь.
И оба поняли одно,
Что всем спастись не суждено:
Автомобиль или арба
Погибнет в бездне. Чья судьба?

Был дольше века страшный миг,
Что путников тогда настиг.
Отравой мщения объят,
Князь верил счастью своему,
Он был и молод и богат,
И жизнь звала его вперед.

Аджарка не далась ему —
Так пусть же смерть ее возьмет!
«Держи правей к скале!» Шофер
Стальной на князя кинул взор.
Презренье, смелость, красота
Сомкнули узкие уста;
А счастье грез его святых
Улыбкой озарило их.
И, рыцарь долга и любви,
С огнем блаженных гроз в крови,
Владо пред самою арбой.
Неустрашимою рукой
Машину бросил прямо в срыв,
Глаза в последний миг закрыв.
Загрохотал в ущелье гром,
И эхо дрогнуло кругом,
И вновь, безжалостно ясна,
Всё скрыла в солнце тишина,
И только камешек один
Еще гремел среди стремнин.
Седой аджарец на волах
Испуганных вскричал: «Аллах!»
Аджарка, как цветок в листах,
Спала в шелках. И луч сжигал
Ей уст улыбчивых коралл.
Ей снилось, что она в саду
Аллаха хоровод ведет
Меж гурий радостных. И вот
Внезапно входит кто-то к ней,
Пурпурной кровью обагрен,
И у него — о, дивный сон! —
Из крови крылья вдруг растут,
Горя цветами всех камней
И всех лучей, и всех огней,
И тихо ввысь его несут,
Где в блеске дня зажглась звезда, —
Навек уносят, навсегда, —
А он ей всех людей родней.

1918

519. УТРО

(Из поэмы «Мой день»)

Мой день велик, мой день обширен,
Свободен, весел и упруг.
Чуть смолкнет звездный шорох в мире,
Гремит рассвет, мой старый друг.

Я узнаю его по стуку
Луча, совсем издалека
Протягивающего руку
К моим седеющим вискам.

Он, как смородина, алеет
И, разбудив меня, спешит
Поцеловать всех в галерее —
Певцов и мудрецов больших,

С которыми я столько прожил,
Себя рождая и губя,
Что стали мне они дороже,
Роднее самого себя.

В берете Гегель с длинной трубкой,
Маркс в долгополом сюртуке.
Впитавший жизнь в себя, как губка,
Шекспир в тугом воротнике.

Толстой, замерзший на опушке
Веков в седом фотолуче,
И налитой здоровьем Пушкин
С плащом на маленьком плече.

Сократ со лбом, загнутым круто,
Дант во фригийском колпаке,
Да Винчи — в шубе почему-то,
Мольер в огромном парике.

В страстях иссохший Гете, Гейне,
Закрывший рот рукой худой,

Гюго в жилеточке пикейной,
Золя, обрюзгший и седой.

Некрасов в горести тяжелой,
Шевченко с песнями в очах
И Гоголь — щеголем веселым,
С следами гребня в волосах.

Они бессмертною улыбкой
Встречают каждый новый день. . .
Увы! Меж них последней скрипкой
Скрипит стихов моих плетень!

Но луч спешит, скользнув сквозь призму
Хрустальных граней пресс-папье,
Дать подзатыльник пессимизму,
Флаг радуг вскинув на копье.

На семь цветов распавшись щедро,
Он торжествует на челе
Того, кто вскрыл людские недра,
Чтоб новый день зажечь земле.

И вновь легко мне под усмешкой
Непобедимой Ильича.
И я кричу себе: «Не мешкай!
Живи летя, а не влачась!»

И я, от снов еще горячий,
От грез еще не опустев,
Опять врываюсь в сумрак зрячий,
Поняв, где радость, где мой гнев.

Мне снились горы и долины,
Изломы скал, пасть пропастéй,
И путь, неутомимо длинный,
К вершинам мысли и страстей.

Но вдруг поняв, что день разверзнут,
Как перед драмою пролог,

Лечу я к ванной, в ду́ше мерзну,
Дрожа от темени до ног,

Чтоб под лохматой простынею,
Гореньем холода в крови,
Тепло любимое, земное
На целый день установить.

Из темноты, где влажно-немо
«Я» дремлет в бездне бытия,
Родится новая поэма —
И новый, как младенец, я.

Как много надо спеть! Как много
Еще мне надо рассказать,
Пока — немая недотрога —
Смерть не закрыла мне глаза!

Бурлят слова. И кости слова
Всё сокрушительней, всё злей
Скрипят в ритмических оковах,
Как в бурю снасти кораблей.

Низвергнуть вихрь по кораблям бы
И морем вспенить мыслей звон!
Дай жить, спондей — убийца ямба,
И враг двухмерности — пэон!

Трехдольный, как волна в Анапе,
Триангулярный, словно Крым,
Язык родной, сплотясь в анапест,
В своей тоске непобедим.

Певучий, он в трехдольном такте
Веселью грусть удочерил,
Слегка качающийся дактиль
Ему в протяжных песнях мил.

Любви в цвету, герою в прахе
Слагая песню для веков,

Давно избрал он амфибрахий,
Который ласков и суров.

Но гений чисел — Ломоносов
Сквозь силлабическую мглу
Кургузых ямбов бросил просо
Ширококлювому орлу.

«Стесняя вихрем облак мрачный,
Ты солнце можешь ли затмить?» [1] —
Спросил он, веря в ямб прозрачный,
В его стремительную прыть.

«Кто море удержал брегами
И бездне положил предел?» [1] —
Так, восьмикратными шагами
Шагнув, он ямбу жить велел.

И Пушкин заковался в цепи,
И Блок дышать почти не мог,
Родные дали, наши степи
Четырежды сгибая в рог.

Раз-два! Раз-два! Едва ль не лаем
Звучат слова в тугих узлах.
Но уж над Первым Николаем
Гроза пеонами росла.

И в сумраке передрассветном,
«Заламывая котелки», [2]
Навстречу предоктябрьским Этнам
Неслись пэоны взапуски.

Но мне, поэтов эпигону,
Ямб с материнским молоком
Всосался в кровь, и ребра стонут
Под этим мелким молотком.

---

[1] Стихи Ломоносова.
[2] Стихи Блока.

Я ль раздроблю его иль в ссоре
Меня он в щебень разобьет?
Но песен вихрь, как волны море,
Свободный выплеснет народ!..

А между тем струится время,
Несется колесо секунд,
Сметая, как пустое бремя,
Формалистический мой бунт.

Летят часы. Вдруг замечаю,
Как будто бы хочу я есть.
Включаю чайник. Чаю, чаю!
Пшеничной яри ломоть! Есть!

Но за едою не зазнаться!
Ведь ты полвека в гроб загнал.
Со Спасских звон летит: двенадцать,
И вслед — «Интернационал».

Ползут года, как ты ни сетуй,
И старость крадется, как вор.
Пронзает свежую газету
Ресницами проворный взор.

О, как люблю я эти башни,
Колонн жемчужных города,
Где всё становится вчерашним,
А завтра взято в повода!

Газета — утренняя книга.
Ей, жизни дочери, я — брат.
Века густеют в наших мигах,
Эпохами наш день чреват.

Что совершилось за ночь в мире?
Что осветил зари восход?
Разинутую пасть мортире
Обуздывает где народ?

1933

520. ТРИ СЫНА

Там, где брови дебрей хмуры,
А глаза озер прозрачны,
Где в дыханье ветра веют
Думы древние фиордов,
Где оспаривают скалы
Блеск стальной ножей коротких,
Где, как дюны, золотятся
Косы девушек спокойных, —
Под сосной, зеленым веснам
Позабывшей счет столетий,
В потемневшем старом срубе
С островерхой мшистой крышей
Жил рожденный лоном леса
И седой как лунь Илонен,
Жил седьмой десяток лет.

Он любил молчанье чащи,
Отраженье зорь в озерах,
Знойный запах смуглых сосен,
Всплеск форели в узких речках,
Выстук дятла деловитый,
Бег по веткам быстрой белки
И вверху, средь хрупкой хвои,
В складках бархата ночного,
Хлопья звезд жемчужно-белых, —
Это было всё, что в сердце
Он отчизной называл.

Дар ему был дан чудесный:
Льстивый шум лесов и лепет
Звонких струй речной стремнины,
Грустной горлинки томленье,
Зов тоскующей кукушки,
Зимней ночи лунный шепот —
В струнах кантеле старинных
Перед слухом изумленным
Сыновей или соседей
Вдохновенно возрождать.

У Илонена седого
Три любимых было сына,

Молоком и медом сытых.
Мать давно в земле песчаной
На груди сложила руки,
Силу всю отдав покорно
Детям и земле родимой.
«Маэстина Вейтемайнен,
А в замужестве Илонен» —
Эта надпись слог за слогом
Выцветала на кресте.

Три, сказал я, славных сына
У Илонена осталось.
Первый — Аксель, храбрый сердцем,
А второй — проворный Оле,
Третий — Юхано-лентяй.

Аксель брал не раз дебелых
На рогатины медведей,
Часто в лодке с морем споря,
Побеждая хитрый ветер
Сердца мужеством упорным,
И, охотой насладившись,
Рыбу нес домой и мясо
На копченье и в засол.

Оле землю рыл для сева,
Золотые зерна злаков
Запасал к зиме голодной,
Сам похожий на тугое
Желтокожее зерно.

Только Юхано-бездельник
Никакой не знал добычи —
Вырезал свирели летом,
А зимой на лыжах бегал
Да заманивал к забавам
Жарких девушек то в сено,
То на хрусткий снежный холст.

Не бранил его Илонен;
Жил он тайною надеждой,
Что когда-нибудь услышит
Юный Юхано ту песню,

Что звучит в природе финской,
И на кантеле старинном
Перед слухом изумленным
Молодого поколенья
Заиграет, струны тронет
Вдохновенно, как отец.

Это было в дальних дебрях —
И от города далёко,
И от рельсовой дороги, —
Там, откуда даже к кирке
Ни в весенние разливы,
Ни в распутицу под осень
Ни проехать, ни пройти.

Жил Илонен небогато,
Но и нищим не считался,
И выплачивал исправно
Всё, что брал веронкантайя:[1]
Плата главная за землю,
Плата также за охоту,
Плата за луга и сено,
За мосты и за дороги,
За грибы и за малину,
Да за хворост — вот и всё.

Дебри день за днем редели,
Лес рубили лесорубы,
Сосны падали со стоном,
Бревна к морю увозили.
Плакал вереск между пнями,
И ворчал Илонен часто,
Что красу свою и силу
Тратит славный лесом край.

Часто в медленные ночи
Спать от дум не мог Илонен:
Сыновей женить пора бы.
Если б всех женить их сразу,
Свадьба стоила б дешевле;

---

[1] Сборщик податей.

Через год три внука было б,
Через два была б шестерка,
Через три их было б девять, —
Вот тогда совсем спокойно
Можно было б умереть.

Но, должно быть, эти думы
Ветер западный подслушал,
Позавидовал счастливой
Жизни будущего деда
И судьбу переменил.

В дом пришли не три невесты,
Молодых, голубоглазых,
С крупным каждая приданым, —
Три повестки в дом пришли.

Стал солдатом храбрым Аксель,
Ловким стал солдатом Оле.
Даже Юхано ленивый
Стал солдатом неплохим.
Это было в сорок первом,
Людям памятном году.

По лесам цвела черника,
Сладко млел медвяный вереск,
В гуще елок загорались
Свечки розовые шишек.
А на юге, за морями,
Полыхала вся Европа,
И коричневое пламя
Выжигало сердце ей.

Ничего не знал Илонен,
Только краем уха слышал,
Что огонь войны коварной
Пережег июньской ночью
У великого соседа
Заповеданный рубеж.

Проводил сынов Илонен.
Стало тихо в старом срубе,
Плохо двигалось хозяйство.

Но откуда-то шли слухи,
Что народу финнов надо
За судьбу свою сражаться
Вместе с армией фашистов
Против русских исполинов;
Что отныне и вовеки
Под защитою фашистов
Финнам будет хорошо;
Что достанется в добычу
Им весь берег Беломорья,
Кола вся — с двумя морями
И окольным океаном —
И карельские леса.

Лето знойно разгоралось,
Извергало жар из жерла
На несеяное поле,
На леса с несбитой дичью,
Отступавшие на север
Под напором лесорубов.
И однажды, в белый полдень,
Запылила вдруг дорога.
Приложил Илонен руку
К раскустившимся бровям
И двоих вдали увидел.
«Это Аксель! — подсказало
Сердце, радостно застукав. —
Ну, а кто же с ним второй?»

Ждать не мог старик Илонен,
Побежал навстречу сыну,
Как, бывало, в юных годах
Бегал с девушками прыгать
Через пламя золотое
Иоганновых костров.
К сыну бросился Илонен,
Сына обнял и отпрянул:
«Аксель, ты меня не видишь?» —
Мертвым голосом спросил.

Аксель молча вынул руку
Из руки поводыря,

Аксель молча руку поднял
К обожженному лицу.
Зеленели язвы в ямах
Воспаленных красных век.
«Ты не видишь, Аксель, сын мой!
Богатырь ты мой безглазый!» —
Закричал старик Илонен.
И услышал он в ответ:

«Вижу летний лес веселый.
Вижу трепетных тетерок,
Глухарей я вижу жирных,
Шерсть медведя вижу в чаще, —
Только вижу не глазами.
Вижу всплеск форели в волнах,
Карасей сонливых вижу,
Косяки я вижу сельди, —
Только вижу не глазами.
Ох, теперь я не охотник,
Не пойду я больше в море,
Частой сети не закину,
Не прицелюсь больше в птицу.
Хитрый Гитлер мирных финнов
На разбой повел злодейский,
Отнял очи у меня».

Молча сына вел Илонен,
Молча подал умываться,
Посадил на стул и подал
Стружку воблы прошлогодней,
Пять картофелин вчерашних,
Молока снятого кружку
И засохший черный хлеб.

Вышел медленно Илонен,
Вышел в поле, у овина
На валун седой свалился,
Бородой лаская камень,
Волю вою дал, как волк.

Горе выплакав и вдвое
Став старее, встал Илонен,

Вывел сына. Сели рядом
На порог сухой и гладкий, —
Мать на нем сидела часто.
Молвил Акселю Илонен:
«За страну родную финнов
Ты сражался, сын мой Аксель,
Ей глаза свои ты отдал».
— «Ей глаза мои нужнее
Крючьев свастики корявой!» —
Отвечал с усмешкой Аксель.

Вновь Илонен молвил сыну:
«Нам фашисты помогают
Жить свободно и богато.
Ты, наверно, с ними вместе
Отобрал у русских Колу?»
Засмеялся злобно Аксель:
«То-то ты, богач, мне подал
Хлеб сухой, картофель вялый,
Молоко снятое, воблу,
Пересохшую на полке.
Но и это показалось
Мне отличнейшею пищей,
Потому что мой желудок
Без еды давно засох.
А до Колы нам далёко!
Финнов русские сильнее».

Промолчал в ответ Илонен:
Ведь корову отобрали,
Все запасы хлеба взяли.
Но, подумав, он ответил:
«Мы должны своей отчизне
Хлеб последний отдавать».
— «Ей, ты думаешь?» — вопросом
Аксель кончил разговор.

Год прошел. Жилось всё хуже.
За налогами всё чаще
Заходил веронкантайя.
Ни на ужин, ни на завтрак
Было нечего поставить.

Сети плел слепец угрюмо,
Наяву дремал и слушал,
Как за окнами, за печкой
Горе с голодом шептались.
А Илонен слушал слухи:
«Победят фашисты русских —
Финнам будет хорошо!»

Лето знойно разгоралось,
Дебри день за днем редели,
Поле голое дремало.
И однажды, в белый полдень,
Запылила вдруг дорога.
Приложил Илонен руку
К волосам бровей нависших
И увидел пешехода:
Быстро шел он, но казалось
Тело узким у него.

«Это Оле!» — крикнул громко
И пошел старик Илонен,
Торопливость умеряя,
Как когда-то шел он в церковь
С Маэстиной под венец.

К сыну бросился Илонен,
Сына обнял и отпрянул,
Мертвым голосом воскликнул:
«Никогда ты не обнимешь,
Оле, старого отца!»
Оле молча головою
На плечо отца поникнул
И заплакал, как ребенок.
«Богатырь ты мой безрукий!» —
Прошептал ему старик.

Оле голову приподнял,
Поглядел кругом на поле,
Тихим голосом промолвил:
«Ты ли это, наше поле?
Помню, как ты колосилось,
По́том Оле орошалось.

Я б опять тебя засеял
И опять убрал бы жатву,
Но ни жать, ни сеять нечем:
Не поднять плечом лукошка,
Не схватить серпа обрубком.
Хитрый Гитлер мирных финнов
На разбой повел злодейский,
Отнял руки у меня».

Молча сына вел Илонен,
Молча сам умыл калеку.
Посадил за стол и подал
Две лепешки заскорузлых
Из картофельных очисток
С лебедой наполовину,
Подогретую похлебку
Из сухих снетков соленых
И, как малого ребенка,
Сына с ложки покормил.

Аксель молча обнял брата,
Плечи медленно ощупал
И сказал с тяжелым смехом:
«Будем, Оле, тем довольны,
Что оставил щедрый Гитлер
На двоих здоровых финнов
Пару рук и пару глаз».

Вышел медленно Илонен,
Вышел в поле, у овина
На валун седой свалился,
Бородой лаская камень,
Волю вою дал, как волк.

Горе выплакав и втрое
Став старее, встал Илонен,
С сыновьями сел он рядом
На порог, сухой и гладкий, —
Мать на нем сидела часто.
И второму сыну молвил:
«За страну родную финнов

Ты сражался, сын мой Оле,
Ей свои ты руки отдал».
— «Руки ей мои нужнее
Крючьев свастики рогатой!» —
Отвечал с усмешкой Оле.
«Нам фашисты помогают.
Ты, наверно, вместе с ними
Добыл финнам Беломорье?» —
Возразил ему Илонен.
«Не видал я Беломорья,
Только трупы финнов видел, —
Оле горестно промолвил. —
Финнам нужно гнать фашистов,
Чтоб безрукой и безглазой
Нашей родине несчастной
Не остаться навсегда!» —
Разговор закончил Оле.
Промолчал седой Илонен,
В думах горьких раздвоясь.

Год прошел. Жилось всё хуже.
Ни на ужин, ни на завтрак,
Ни к обеду в белый полдень
Было нечего поставить.
За налогами всё чаще
Приходил веронкантайя,
За год брал вперед и за два.
Сети плел слепец угрюмо,
За окно смотрел безрукий,
И прислушивались оба,
Как в углах пустого сруба
Горе с голодом шептались.
А Илонен слушал слухи:
«У фашистов дело плохо,
Как бы финнам не пропасть!»

Лето знойно разгоралось,
Лес ушел на серый север,
Поле голое засохло.
И однажды, в белый полдень,
Запылила вдруг дорога.

Приложил Илонен руку
К волосам бровей нависших:
Что там едет по дороге?
Для коня как будто низко,
Для телеги слишком узко,
Для ребенка — широко.

Вышел медленно Илонен,
Как он шел за катафалком
В гроб уложенной жены.
Видит: пылью обвиваясь,
Едет низкая дощечка
На резиновых колесах.
Две руки бегут, как ноги,
В рукавицах обе толстых, —
Чье-то туловище едет.
«Это Юхано приехал!
Это третий сын вернулся!
Он сейчас всю правду скажет».
На колени встал Илонен,
Чтоб обняться крепко с сыном.
«Богатырь ты мой безногий!» —
Прошептал ему старик.

Молча вез Илонен сына,
Чтоб рукам его дать отдых.
По ступенькам и порогам
Молча в дом втащил калеку,
Молча подал умываться;
Перед ним поставил на пол
Кружку с чистою водою
И тарелку с чем-то черным —
Хлебом это грех назвать.

Оле к Юхано на плечи
Головой приник горячей,
Аксель крепко обнял брата
И сказал с тяжелым смехом:
«Будем, Юхано, довольны,
Что оставил щедрый Гитлер

На троих здоровых финнов
Рук, и ног, и глаз по паре».

Вышел медленно Илонен,
Вышел в поле, у овина
На валун седой свалился,
Бородой лаская камень,
Волю вою дал, как волк.

Горе выплакав и старым
Став, как время, встал Илонен,
С сыновьями сел он рядом
На порог сухой и гладкий, —
Мать на нем сидела часто.
И безногому промолвил:
«Что же, Юхано, молчишь ты?
Ноги ты отчизне отдал.
Не карельские леса ли
Взял у русских для нее?»

Губы Юхано раздвинул —
Словно клекот соколиный
Из его раздался горла.
«Ничего он не расскажет, —
Оле вымолвил сурово, —
Меткой пулей в щеку ранен!
Не в карельских ли лесах?»
«Кырл-кырл», — Юхано проклекал,
Головой кивнул два раза
И руками по коленам
Быстро стал перебирать.

Понял речь его Илонен,
Побежал в свой дом быстрее,
Чем к невесте Маэстине
На опушку леса бегал,
Вынул кантеле из шкафа,
Сдунул пыль со струн старинных,
Все три года не звсневших,
Поцелуем к ним приникнул,
Бережливо на колени

Сыну кантеле поставил
И воскликнул вдохновенно:
«Струны знают правду жизни!»

Струны Юхано затронул —
Заунывный звук раздался,
Начиналась постепенно
Песня плена и печали.
Вешних сосен шум зеленый
Промелькнул по ним сначала,
Пронеслось волной хрустальной
Бурных горных рек журчанье,
Птицы крыльями взмахнули,
И вздохнул залетный ветер,
И потом, терзая сердце,
Зарыдали страстно струны,
Зазвенели кандалами
И ключами мрачных тюрем,
Раздались рыданья женщин,
В кирке колокол заплакал
Над могилами убитых,
Где-то наспех погребенных,
И внезапно грозным гулом
Раскатился рокот гнева
Нарастая, как во фьордах
Шум осеннего прибоя,
И расхлестанная буря
Собралась в один призывный
Полыхающий набат.

Смолкнул Юхано. По скулам
Пот струился со слезами.
Руки сына взял Илонен,
К своему прижал их сердцу
И потом поцеловал.

«Я давно уж правду понял!
Глаз, и рук, и ног лишают
Финский крепкий край фашисты.
Но живет еще и бьется
Сердце Суоми седое.

Я к нему дорогу знаю.
Я пойду в леса и горы,
Отомщу за все обиды,
За обман и за насилье
И за вас, моих сынов».

Поклонился низко детям,
В дом вошел, простился с домом,
Не оглядываясь, вышел.
За дома ушел, задумчив,
И на кладбище, где много
Молодых могил столпилось,
У креста жены поникнул,
Рассказал ей всё, что было,
Горсть земли у сердца спрятал.
На тропу свернул с дороги
И на север — к партизанам,
К сердцу Суоми живому,
Сдвинув брови, зашагал.

21 февраля — 14—16 сентября 1943
Ташкент — Сталинабад

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

Варианты приводятся согласно порядку стихов в произведении После нумерации строк (или строф) указывается источник варианта; если он не указан, это означает, что источник тот же, что и для предыдущего.

87

строфа 3 *«Ярь»*	И сам Ярила пышно увенчал Концы волос зеленой кроной И, заплетая, разметал В цвету лазурном цвет зеленый.

122

после строфы 6 автограф ЦГАЛИ	За темною вуалью, Под стертым котелком, С жестокою печалью, С лиловым узелком.

130

после 7 машинопись АСГ	В утробу высоте. И льются, льются нищие, Закутаны в лохмотья, Ругаясь на ходу. И пасть глотает черная Бессчетный, человеческий Чешуйчатый поток.
после 18	Свистящего бича, Пять ран в сердца глухие, Дремавших в забытье Безрадостного сна

32—36 Но в грохоте и рокоте
Уж вертятся и кружатся
Колеса и ремни,
Господствуя и властвуя
Над жизнью каторжан.

139

строфа 4 Избр 1936
Как бы в ответ на ласковые мысли
Из-за угла вдруг выставился горб
Старухи: все узлы лица отвисли,
Как складки пыльные дорожных торб.

19—20 СС I
Подумал я. Но мимо в экипаже
Красавица промчалась, весело смеясь.

после строфы 5
— Вот это жизнь! — Виденьем восхищенный,
Я вскрикнул, позабыв носильщицу горбов,
И дальше шел, в толпу людей влюбленный,
Глядясь в глаза веселых мудрецов.

140

перед строфой 1 «Перун»
Городские дети, чахлые цветы,
Белые отростки, племя темноты!

Ваша мать — царица во плену нужды,
Чьи дворцы — подвалы, празднества — роды́.

Ваш отец — владыка под чужим ярмом,
Чья корона — жернов, и чей скипетр — лом.

Ваши предки — скопы непочатых сил,
Крестною щетиной вставших из могил.

строфа 2
Если б этот лобик был чуть-чуть прямей,
Сколько б искупил он прижитых семей!

после строфы 6
Выросшие в скверах, в сырости дворов,
Вы ль не самый сильный ворог городов?

Не от вас ли сгинет мертвый змей — тюрьма,
Чье дыханье — копоть, чешуя — дома?

Городские дети, всё же вы цветы,
Первоцвет любимой солнечной мечты.

148

строфа 4 «Дикая воля», СС II

Глядишь и веришь откровенью
И узнаешь в седых тенях
Родного прошлого виденья,
Для света вставший милый прах.

после строфы 4

А сам, и темный и тяжелый,
Оковы плоти не сорвав,
Еще вздымаешь череп голый
Над красотою тленных трав.

167

после строфы 9 «Дикая» воля», СС II

Изобилье синей воли не пленительный обман,
И душа моя — вот это, это море-океан?

189

дополн. строфы после строфы 8 «Шиповник»

Много воплей запевали
Горя русского певцы,
И терновые сплетали
Бедной родине венцы.

Стало небо загораться,
И пора уже, пора
Бодрой песне разыграться,
Звякнуть звонче серебра.

Из неволи да на волю,
В золотые времена!
Покидай глухую долю,
Подошла твоя весна.

Здравствуй, миру засиявший
Алый свет, огонь-летун!
Над тобой горит восставший,
Небо заревом обнявший
Бог победы, яр Перун!

191

строфа 10 «Образование», «Русь»

Вот и все прошли тут сваты,
Всех спровадила Краса.
Обошла она палаты,
Землю, море, небеса

строфа 11	И за облаком летучим, На лазури голубой Обручилася с Могучим, Повидалася с Судьбой.
после строфы 11	И пришла назад, сияя: «Есть жених ведь у меня! Я невеста молодая, Я дождусь святого дня!»

217

после строфы 2 «Вестн. Европы», «Ива»	Звонко Вилия вскипала На упорных валунах, Будто воля не пропала На вилейских берегах.
после строфы 4	Спотыкался по дороге Пьяный, пьяное твердя, Цветик желтенький, убогий В пыльном поле ждал дождя.
после строфы 5	С детских лет в глуби темницы Сохранял померкший взгляд Море ярое пшеницы, Реку, пасеку и сад, Белых аистов на крыше, Стадо сытое и мать, Припадающую к нише Плащ Марии лобызать.
строфа 9	Под созвучия густые Голос ладно песню вел Про годины золотые, Про народ, народов ствол.
после строфы 9	Про Перуна-володыку, Про Адамов тесный рай, Про князей Литвы великой, Про походы в лютый край; Про гремящих за холмами Златокосых поляниц, И про рыцарей с конями Быстролетней диких птиц.

строфа 10

И звучало жутко в поле,
Будто сквозь кадильный дым,
Дряхлый ангел пел в костеле
За органом вековым.

334

после строфы 4 «Четырнадцатый год»

А с полей доносилась молитва
Онемевших бескрылых полков.
О воздушная первая битва!
Смертный бой посреди облаков!

337

после строфы 9 «Лукоморье», «Четырнадцатый год», авториз. машинопись АСГ

Это всё не чудеса!
Князь Роман хитрей чудил:
Знал он птичьи голоса,
Со зверями говорил.

338

строфа 3 «Лукоморье»

Когда же мимо проходили
Слепцы певцы иль мастера,
Их всех при князе Данииле
Не упускали со двора.

строфа 8

Затейник мирный, был он в войнах
Великодушен и могуч,
Среди полков своих спокойных
Он пролетал, как быстрый луч.

строфа 8 «Четырнадцатый год»

Затейник мирный, был он в войнах
Великодушен и суров,
И тучи воинов спокойных
Бросал он грозно на врагов.

339

перед строфой 1 «Арм. вестн.», «Ангел Армении»

Как перед женщиной, неведомой и новой,
В счастливом трепете стою перед тобой,
И первое сорваться с уст боится слово,
И первою смущаются глаза мольбой.

340

строфа 7
«Ангел Армении»

Две старухи под стеной
Прячутся в лоскутья,
Дышит ветер ледяной
Голодом и жутью.

343

после строфы 6
«Арм. вестник», «Ангел Армении»

Не заветные молитвы
Бытия, —
Песни мщения и битвы
Жгут меня.

347

строфа 1
«Арм. вестн.», «Ангел Армении»

Прощайте, печальные тени,
В цветы залетевшие души.
Пусть ваши зеленые сени
Ни вихрь, ни гроза не разрушит.

после строфы 2

Нет, сирыми вас не покину!
Я солнцу отдам вас родному,
К нему возносите кручину,
Бессмертья глухую истому.

строфа 3

Когда же плоды золотые
Нальются на ветках счастливых,
Вы вспомните, тени святые,
О песнях моих молчаливых.

351

после заключ. ст. «Серп», автограф и авториз. машинопись АСГ

Ковш захмеляющей влагою вспенен,
Песни звончей поцелуев.
Здравствуй, зеленый Сергунька Есенин,
Здравствуй, замшелый Никола, сын Клюев,
Здравствуйте все, именами незнамы,
Китеж подводный, кремли чернозема,
Каждому радуюсь радугой грома,
Это ты самый,
Тяжкоталанный,
Многожеланный,
Ржаный Орфей,
Заливной соловей!

Песня свободная, лейся звончей!

352

перед строфой 1 «Серп»

В грозовые эти дни
Вы одни,
Новых звуков кузнецы,
Соловьиным звонким горлом.
Заглушите пушек жерла
Пролетарские певцы,

Подымите гордо головы,
Пулеметных ливней олово
Переплавьте в серебро
Песни небывалой,
Зло в добро,
Смерть — в потоки жизни алой.

Вы должны, должны, должны
Скрежет бедствий и войны
В светлый гимн перековать,
Крови ржавые моря
Переплавить в пурпур песни:
— Брат замученный, воскресни,
Пой, владей, трудись и бейся,
Над тюрьмой разбитой смейся,
Счастье сам себе твори,
Мы — веков поводыри.

353

после 56 черновой (ЦГАЛИ) и беловой (АСГ) автографы

Прощай, леса великие!
Вся Русь сгорела полымем.
От вымени московского
Весь мир напился пламенем.
И с пилами, машинами
Плывут к вам гости дальние.
Довольно вам невеститься,
В вас сто Европ поместится.
Примите человечишка,
Во френчике иззябшего.
Дровцами пусть подтопится
И дрань возьмет на домики.
От щедрости, от северной,
Отдайте всё, что надобно.
А вместе с белым деревом,
Быть может, и прихватит он
Немножко сердца вольного,
Медвежьей смелой поступи
И пенья соловьиного.
В дровах и досках строганых
Из ваших дебрей радостных
Несется русский благовест,

Тепло, и свет, и зарево
Горящего грядущего.

после ст. 8 приведенного выше окончания стих. в правленом экз. «Серпа» (АСГ) вписано новое окончание:

Примите руки юиые,
Впустите комсомолию
В чащобы непочатые.
Она нарубит дерева
И сплавит в страны дальние
Морями-океанами.
Обмен возьмем не золотом,
А мощными комбайнами,
Станками и машинами.
С таежных ваших зарослей
Над Русью встанет зарево
Горящего грядущего.

после 56 Ст. 1956

Прощай, леса великие!
Вся Русь сгорела полымем.
От вымени московского
Весь мир напился пламенем.
И с пилами, машинами
Идут к вам люди добрые.
Примите руки дерзкие
В чащобы непочатые
Лесного сердца вольного.

855

после заключ. ст. машинопись АСГ

[Сверкающей тучей прошли эти люди,
И горы утихли над Волгой лучистой!
Задумчиво солнце в дали искрометной
Сияло,
Как будто бы знало
Что трудной тропою кремнистой
Пришло человечество к цели заветной.
И праздник труда небывалый, —
Он близок, он будет!]

после 35 «Серп»

Каждый лишний взмах лопаты,
Снова вскинутый колун
Подымает вверх палаты
Торжествующих коммун.

358

после строфы 8 «Серп»

Приникая к грядкам тучей,
Рис сажает вся страна,
Но работник не получит
Из добычи ни зерна.

строфа 12

Но по горам и ущельям
Слышен конский звон и стук:
Движет красным ожерельем
Верных воинов Кучук.

строфа 12 «Путь МОПР'а»

По горам уж слышен ропот,
Как ручей бежит молва:
Против бедных вся Европа,
Но за бедных — вся Москва.

360

после строфы 3 «Серп»

И в каморках лампады
Смотрят с вечным упреком,
Что не будет награды
Даже в небе высоком.

361

после строфы 3 автограф АСГ

Я стал спиною к фонарю,
В тоске на тень свою смотрю.

Она воздвиглась на стене,
Гадливость душит сердце мне.

Мой отблеск, нежный профиль мой,
И он позорной сжат тюрьмой.

после строфы 5 «Серп»

Что в окна серые домов
Не видно неба и миров.

после заключ. ст. автограф АСГ

Кресты на дальних куполах
Зажег неведомый монах.

Пора домой. Гремя ключом,
Меня впускает сторож в дом.

Объятья женского нежней
Холодный трепет простыней,

И светлые уходят сны
В раздолье райской тишины.

362

строфа 7 автографы ЦГАЛИ и АСГ

Вот отчего, когда кипит в фарфоре
С отливом золотистым черный кофе,
В мозгу встает желаний буйных море,
Душа тоскует вдруг по катастрофе.

строфа 7 Правл. экз. «Серпа»

По всей Европе в матовом фарфоре
Отливом огненным сверкает кофе,
И гневно в берега стучится море,
Тая в валах тоску по катастрофе.

364

после строфы 9 «Миролом», Избр. 1936, Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, БСП

Пусть грузен труд и взмахи грубы,
И в песнях славы слышен вой —
Живое ставит жизни срубы,
В могилу валит, что мертво.

365

после строфы 2 «Миролом»

Чтоб твоей мужичьей силе
Падать семенем рабов,
Всё крестами закрестили
От купели до гробов.

после строфы 3

Кровь струится от ладоней,
Из-под венчика со лба,
Онемели губы в стоне —
Вот, мол, — вся твоя судьба.

после строфы 4

Распинал тебя помещик,
Водкой кровь смывал с лица,
И нагайкой еще хлеще
Подгонял к распятью царь.

после строфы 5

В тлене самоистязаний
Омертвела ты к труду.
Дымом самосожиганий
Развратила ты свой дух.

Закрестила лоб и плечи
От победы и борьбы,
И живой легла под свечи
В гроб увенчанной рабы.

после строфы 6

Иль забыла ты, что, кровью
Если сеян чернозем,
Вырастает алой новью
Мститель-богатырь на нем?

после строфы 7

Звал тебя он к нищим братьям,
Выжег солнцем твою ночь!
Вся распятившись распятьем,
Ты кричала: «Дьявол, прочь!»

после строфы 12

Все кресты из сел свободных
Унесешь ты на плечах:
Золотые — для голодных,
Деревянные — в очаг.

366

после строфы 11 «Кр. новь», «Миролом», Избр. 1936

Что задумался, отче Иване,
Великан захудалых рабов?
Ты не думал, что солнце восстанет
Раньше сроков и ветхих веков?

Вы проплакались, божьи старухи,
Что соборы в Кремле не звонят,
А к набатному вызвону глухи,
К звону мести, любви и огня.

Вам полушку княжую иль графью
На ленивую нужно ладонь.
Вам незнамо, что льет под Кутафью
Всех племен и народов огонь.

Кто бы ни был ты, раб Пятиречья
Иль невольник персидских болот, —
Пропадай твоя кротость овечья,
Кремль для всех угнетенных оплот.

после строфы 12

Кто умом, кто звериной угадкой,
Всё равно, здесь раздолье поймешь,
Ты вползешь сюда рабской повадкой,
Бунтарем ты отсюда пойдешь.

Из оконц протянула ресницы
Ко всему людоземью звезда,
И глядит на весь мир сквозь бойницы
Недреманное око труда.

Гнули русские нищие спину
У воротин Кремля-старика,
А теперь перед ним шапку скинут
Налетевшие вихрем века!

369

после строфы 6 автограф ГБЛ

В деревеньке голой этой,
В том обглоданном селе,
Вашей черствостью отпетый,
Вами преданный земле,
Так сидит он, а за это
Вы у нас навеселе.

373

после строфы 3 «Миролом», Избр. 1936, авториз. машинопись АСГ

Гните насилье! Ломайте господские гнеты!
Рвите, срывайте свои золотые тенета!
Север порукой, я, ветер весенний, вам вею:
Счастье мирское пред вами, берите скорее!

375

после 24 «Из тьмы к свету», Ст. 1960, Ст. 1964

По всей земле шли забастовки,
Могли б царя мы победить!
Да не было у нас сноровки
С рабочим классом в смычке жить!

после заключ. ст.

Смотрю на вас я, молодые,
И думаю: хороший всход!
У власти силы трудовые, —
Недаром мучился народ!

376

после строфы 7 «Из тьмы к свету», Избр. 1936, Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, БСП и машинописи ИМЛИ и АСГ

Но в избе дрожали стекла,
Как на барскую чету
Горлом, с горя пересохлым,
Красный закричал петух.

после строфы 11

Как из снежного сугроба
Молодой ручей весны,
В ней бурлили месть и злоба
Из-под крови крепостных.

378

после 12 «Из тьмы к свету», Ст. 1960, Ст. 1964, БСП и авториз. машинопись АСГ

Постойте! Как же это было?
В окошко брызнул — в грязное окно —
Смуглистый свет, и пьянка всплыла,
А ветер пел веретеном.
Задохся воздух с самогона.
Из воздуха решенье не ушло:
Лоб в кашу смять! Убить! Патрона
Ему не пожалеть в пытливый лоб!
Руками одурманенного брата
В селькора выстрелил в упор обрез.
Скорее свет к проклятым хатам!
Давайте свет! Сюда и в лес!

Вариант авториз. машинописи АСГ

после 16

И всплыло всё: стаканы, пьянка...
И тут же, за порогом, сотни лет
Позора, рабства, пóрок... Спозаранку
Деревню гнали в смрад и бред!

после 20

Откуда эти вспухнувшие рыла?
Исседни? Иль из заспанных веков?
Потех Петра воскресшие громила?
Самосожженцы северных скитов?

И брат его! Руками брата
Общественный стрельнул обрез!
Давайте свет к проклятым хатам!
Скорее свет! Сюда — и в лес!

после 33

Ведь не я это был, и не ты, и не он,
Кто убил молодого борца в темноте.
Но виной непонятной наш разум смущен,
И неслыханной болью наш взор опустел.

Что ты сделал, чтоб разум в деревню послать?
Что принес ты в село? Чем ты высветил мрак,
Чтоб селькору никто не мог жизнь оборвать,
Чтоб деревня нашла в бездорожье большак?

384

перед строфой 1 «Грань», машинопись АСГ	Ночь томит тоской немой. Все вдвоем идут домой Я домой иду один С ношей тягостных годин.

388

после строфы 4 «Грань», Избр. 1936, Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, БСП	Когда под колокол уловный У сельских маленьких церквей Так называемой духовной Томился жаждой сонный зверь.

392

после строфы 7 «Стык», автограф и машинопись АСГ	Сумятица и разногласье, Ты помнишь, как в восьмом году Поэты на хребте пегасьем Бескрылой мухою бредут.

394

после заключ. строфы «Стык», «Грань», Избр. 1936, авториз. машинопись АСГ	Ушел, испив вино и оцет. Живет, расплавив миг в века, Vos morituros nasci docet. Vos nasciendos evocat. [1]

401

после строфы 5 «Кр. новь» «Грань»	Хвостатой нечисти уют и ласку Я дал в своем застенчивом саду, И вот балакири, забыв опаску, Гуторить про лешачий мир идут.
после строфы 8	Он в стороне от грохота и гула, От новых неукатанных дорог, Молитва в нем сухим листом уснула, И маленьким пеньком засохнул бог.

---

[1] Вас, которым предстоит смерть, он учит рождаться, вас, которым предстоит родиться, он зовет к жизни (лат.). — *Ред.*

402

вместо строф 6—8 автограф ГЛМ, «Нов. стихи»

Было утро такое ж давно
И в таком же лучистом апреле.
Только солнце неслось не в окно,
Потому что дома сгорели.

407

после строфы 1 «Прожектор», «Грань», Избр. 1936, Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, беловой автограф ГЛМ и авториз. машинопись АСГ

Вот в эти ритмы, эти столпы
Вонзали мысль еще вчера
Певцы России, Азии, Европы —
Властительные мастера.

Томил их образов избыток
И, как архитектура, нем,
Из сумрака блаженных пыток
Вздымался сводами поэм.

после строфы 4

Они гремят, поют и строят,
И всё идут, идут, идут,
И вся земля дрожит порою,
Века сжимая в жизнь минут.

после строфы 7

Я вместе с ней. Несу ей слово,
Каким и женщин не ласкал.
И всё во мне запеть готово.
Во мне — предчувствия тоска.

строфа 10 автограф ГЛМ

Берите всё, все эти звуки,
Борьбу и грохот, в тесный строй,
Чтоб мастеров старинных руки
Мне труд мой сделали игрой.

413

после строфы 4 «Думы», Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, БСП, авториз. машинопись АСГ

Вдруг протянулись лучи,
Буря огня вознеслась.
Где же вы там, палачи?
Встреча готова для вас!

414

строфы 5—6 «Думы», машинопись АСГ

В нем летят сейчас снаряды,
Пулеметный свищет град
Жизнь отдать герои рады
За бессмертный Ленинград.

Эта песня с ними вместе
Мчится извергов губить,
Дело чести, жажду мести
В смерть героев воплотить.

после заключ. строфы машинопись АСГ

Там герои в каждом доме,
Там не знавших славы нет.
Люди выкованы в громе
Молньеносных грозных лет.

Там за Пятым годом следом
Шли октябрьские бои.
. . . .
. . . .

. . . . верный Киров
Там в сердцах людей живет.
Там рождает командиров
Ополчившийся народ.

И какую б злую силу
Ни надвинул наглый враг,
Там низринется в могилу,
Там размечется он в прах.

Новой славою увенчан,
Всей отчизны друг и брат,
Будет мирно жить и вечно
Мой любимый Ленинград.

420

перед строфой 1 «Песня дружбы»

Из тьмы одиночества,
Туманов тоски
Мне вырваться хочется —
Пути не легки.

Кому ни рассказывай,
Кого ни зови,
Не схватишь ведь разумом
Бессмертной любви.

после строфы 2

Лазурью небесною
Зрачки окружив,
Глаза ее честные
Не ведали лжи.

421

после строфы 12 «Песни дружбы», Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, БСП

Но не было выхода некиим,
Попавшим во вражий полон.
Тоска затуманила веки им,
Но не был никто побежден.

Какими для сердца несносными
Обидами мучили их,
В бараках, под темными соснами,
За дротом в колючках густых!

Не счесть палачами изученных,
Исхитренных пыток в плену.
«Молнся о грешных нас, мученик!» —
Сказала бы Русь в старину.

425

после строфы 4 Избр. 1936

С загадочной стоит улыбкой
Статýя на колонне там,
Как будто милою ошибкой
Всё было, данное векам.

строфа 5

Там поросла травою площадь,
Где мраморные чудеса
Глядят доверчивей и проще,
Чем сами божьи небеса.

после строфы 6

И простодушно повествуют
Тому, кто сбоку в храм войдет,
Историю любви живую
Две створки бронзовых ворот.

426

после строфы 3 «Нов. журнал для всех»

Серебряных колоколов
Донесся с колокольни звон,
В нем слышен неустанный стон
Неотвратимых голосов.

Внезапно луч во мглу упал,
И «верую» — кричит заре
Савонарола на костре
С такой же верою пылал.

428

после 15 «Заветы», Избр. 1936

Но разве то волны?
То всплески небывших
Застывших миров;
То взлеты пучины,
Вещающей полный,
Бессменный навеки
Конец берегов,
Простор оградивших;
То дикие реки
Смеющейся влаги,
Не знавшей кручины
О зле и о благе,
Но знавшей иное!

429

после строфы 3 «Заветы», Избр. 1936

А три четверти невидных
Притаились меж рогов,
Оком слепнущей ехидны
Озирать пустырь миров.

после строфы 4

Из иного, из чужого
Перегнулся луч шальной,
Шарит лапою лиловой
По сумятице земной.

432

после строфы 1 «Заветы»

Те веточки-иглы,
Как будто погибли
Все листья на них,
Чтоб жарче и жгучей
С иголки колючей
Вдруг цветик возник.

строфа 2

Он солнца желтее,
Огня золотее,
Светлее, чем мед,
И чьей-то забавы

В мгновение славы
О искры несет

после строфы 2

И томный, и тонкий,
Он с нежной коронки
Струит аромат.
Как только кадила
Пред горнею силой
В часовнях кадят.

О сестры, признайтесь,
Невесты, покайтесь —
Ужель не ему
Несли вы зароки,
Мольбы свои, вздохи
В зеленую тьму.

433

после строфы 4 Избр. 1936

Как будто я был с палачами,
Воздвигнувшими твой костер
И ослепленными очами
Смотревшими в твой зрячий взор,

Не понимаю я, что значит
Смятенье дикое мое
И кто в слезах моих, кто плачет
Про горе горькое свое.

Кто оскорблен, развеян прахом
Во мне, пришедшем издали?
Чье сердце светлое с монахом
Горит и рвется прочь с земли?

Кто не прощает, кто бунтует,
Не хочет ни минуты жить,
Когда за проповедь простую
Возможно на костер всходить?

435

строфы 4—5 «Нов. журнал для всех», «Изборник»

Привет тебе, Рим! Сколько масок
На лике бессмертном твоем,
Каких изумительных сказок
От древних щедрот твоих ждем.

Ты в грохоте нынешней жизни
О вечном блаженстве поешь,
И варваров к общей отчизне,
К себе, горделиво ведешь.

444

после строфы 2 гранки и машинопись АСГ

Как будто жертвоприношения
Твоих сынов, твоих людей,
Легли безмолвные селения
На пестротканый плат полей.

454

после строфы 5 гранки АСГ

Нерушим алмазно-белый
Снеговых пустынь покой.
Мой олень оцепенелый
Как из золота литой.

Полон радости сиянья,
В озаренной тишине,
Я ушел в свои мечтанья
И молитвы о войне.

Не такой ли свет встречает
Всех, кто родине в бою
Дарит жизнь и жизни чает
В обетованном раю?

459

после строфы 5 автограф и машинопись АСГ

Он бесплотен. На борт не взойти.
Но к земле ярко-розовый трос
Прямо с дальне-ночного пути
Протянул шестикрылый матрос.

после строфы 6

И пока не начнется восход,
И от солнца не вспыхнет прибой,
Неустанно работу ведет
Окрыленный корабль голубой.

Но как только покажется диск,
Улетает корабль вихрем роз.

В мглу бесчисленных солнечных брызг —
Грузчики, капитан и матрос.

строфа 10

А вдали, сам невидим собой,
Средь небесных неведомых стран,
Свой незримый корабль голубой
Шестикрылый ведет капитан.

460

после заключ. строфы автограф АСГ

Бог ладонями крылатыми
Бросит горсточку земли,
Двое к кладбищу с лопатами
Еще с вечера прошли.

Только раз еще наклонишься
Над последним звоном слов,
И с зарею захоронишься
В светлый саван облаков.

464

строфа 3 Избр. 1936, автограф ЦГАЛИ

Пустыня с жаркими песками
Легла ковром в твоих ногах,
И вражьей груди белый камень
Перед тобой разбился в прах.

465

после строфы 3 машинопись АСГ

Вошел. Настроил. Стал к пюпитру.
Взмахнул в азарте дирижер.
Заныл романсиком нехитрым
Оркестр. А воздух как топор.

после строфы 5

Он будет строить, строить, строить
Дворцы волшебные труда.
Пока же скрипкою второю
Музычит, чтоб не голодать.

после строфы 6

Хозяин бьется за прилавком,
Орава ночная гостей,
Глотая, чокаясь и чавкая,
Першит от воблиных костей.

Ей песня нравится задорная,
А песня мечется со струн,

Рукой гонимая упорною
Того, кто голоден, но юн.

после заключ. строфы

И оттого алмазным потом
Блестит мечта на лбу его,
Как бомба в морду живоглотам,
Как будущего торжество.

468

после строфы 5 Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, авториз. машинопись АСГ

Смутно крадется тревога
За измученного друга.
Нет! Скопил он силы много
И таит огонь, как уголь.

469

после строфы 19 «Чтец-декламатор»

Как много вас! Какое море
Неиссякаемой любви
Вам нужно, чтобы ваше горе
В своей груди усыновить.

Но есть оно! Оно бушует
Вкруг вас заботливой волной,
И силу общую, большую
Под вами стелет пеленой.

472

после строфы 2 Ст. 1960, Ст. 1964, БСП

Создав народной жизни план
По мудрым ленинским законам,
Мы терпим всё еще туман
Церковных ладанов и звона.

Нет! Нет! Невежества тайгу,
Спиртного змея людоедство,
Звериный сон, в грязи, в снегу,
Былого подлое наследство

Мы можем, смеем, мы должны
Набегом юности проворной,
Напором мускулов стальных
Преодолеть в борьбе упорной.

после строфы 15

Не каркайте за рубежом
На юную Страну Советов.
Дотла мы прошлое сожжем
Лучами ленинского света.

И одолеем мы везде
Былого дряхлое уродство.
Мы всем владеем, овладев
Орудиями производства.

Их сами можем мы создать
Из нашей крови, коль нет денег.
К лишеньям нам не привыкать,
Но кандалов мы не наденем.

473

строфа 8 машинопись ЦГАЛИ

Но только первые заводы
Зажглись средь ночи крепостной,
Он сеял щедро. Но на всходы
Ложилась вьюга пеленой.

после строфы 8 «Кр. новь», машинопись ЦГАЛИ

Французы брали Севастополь,
И, кровью раненых румян,
Орел двуглавый крылья штопал,
Спасая шкуру от крестьян.

Пред всей страной вопрос: «Что делать?»
Зиял, как темная тропа,
И царь острил одервенело:
«Что делать? Им? Руду копать!»

А на банкетах либералы,
Скрывая воли паралич,
О вешних веяньях орали,
Свободу превращая в спич.

Нет, «революция — не Невский»,
Не бойтесь гибели борцов! —
Твердил бесстрашно Чернышевский
Покорной нации рабов.

после строфы 10

Почуяв волю, разночинец,
Как озверевший в клетке лев,
В народовольческой кручине
На подвиг вышел, осмелев.

после строфы 11

Ясней, чем плесень в каземате,
Чем близость каторжной тюрьмы,
Чем туз бубновый на халате, —
Законы классовой борьбы.

Окончание сокр. ред. Авториз. машинопись АСГ

Но с дерзкой силой Маяковский
Четырехдолью дал отпор,
Дал бой просодике по-свойски,
Чтобы идеям дать простор.

Прильни ж смелее к новым ритмам,
Разлейся шире и вольней,
Родная песня, чтоб раскрыть нам
Самих себя еще полней.

ПРИМЕЧАНИЯ

За долгие годы своей творческой деятельности, длившейся почти 65 лет (с 1903 по 1968 г.), С. М. Городецкий напечатал около двух десятков сборников стихотворений, но среди них нет ни одного, достаточно широко представляющего его творчество.

Настоящее издание — наиболее полный свод стихотворного наследия поэта. В основу издания положены сборники стихов, подготовленные и выпущенные самим автором, с сохранением их структуры, то есть отделов, циклов и последовательности их размещения. В отношении же отбора произведений составитель руководствовался критерием художественной ценности каждого стихотворения.

Особой оговорки требуют следующие сборники: «Избранные лирические и лиро-эпические стихотворения. 1905—1935» (М., 1936), «Стихотворения. 1905—1955» (М., 1956), «Стихотворения и поэмы» (М., 1960), «Стихи» (М., 1964), «Стихи» (М., 1966), «Северное сияние» (М., 1968). Для всех этих сборников автор сам отбирал произведения и готовил тексты. Отбор этот учтен в настоящем издании, но перечисленные сборники содержали лишь избранные стихотворения поэта и были лишены тематического единства, в результате чего столь характерные для автора циклы стихотворений были разрушены. Поэтому в настоящем издании составитель не придерживался композиции этих сборников, и все стихотворения, впервые появившиеся в этих сборниках, отнес во вторую часть издания, расположив их в хронологическом порядке. Сюда же включены стихотворения, вовсе не входившие в авторские сборники.

Как правило, Городецкий редко возвращался к текстам своих произведений после того, как они были написаны и опубликованы. Однако для некоторых сборников советского периода (издания 1936, 1956 и 1968 годов) он подвергал правке ранее опубликованные стихотворения. Кроме того, в домашнем архиве Городецкого хранятся выправленные им машинописные копии и печатные тексты ряда произведений; основная масса этой правки до сих пор не принималась во внимание при издании стихотворений поэта.

В настоящем издании правка эта, как выражение последней авторской воли, учтена. Учтены также исправления, сделанные поэтом в 60-х годах на экземпляре первого тома его «Собрания стихов», (СПб., 1910), принадлежащем С. И. Машинскому. Ранние редакции текстов, значительные по объему, либо представляющие интерес для

понимания творческой работы поэта над произведениями, приводятся в разделе «Другие редакции».

Датировка произведений Городецкого особых трудностей не представляет: на большинстве сохранившихся автографов даты проставлены автором, а в конце первого тома «Собрания стихов» поэт приложил своеобразно оформленный перечень стихотворений с указанием дат их написания. В сборниках 1936, 1956, 1960, 1964 и 1968 годов все стихотворения также датированы.

Проверка показала, что сообщаемые автором в печатных изданиях даты не всегда точны. Для установления места первой публикации стихотворений (и, косвенным образом, — датировки) нами была просмотрена журнальная и отчасти газетная периодика 1906 — 1967 гг. Однако за абсолютную полноту выявления всех первых публикаций, естественно, ручаться невозможно. Поэтому в тех случаях, когда в качестве первой публикации указан авторский сборник, читатель должен учитывать возможную неполноту наших сведений.

Если дата комментатора уточняет авторскую, под текстом дается уточненная дата, а в примечаниях — обоснование ее. Даты первой публикации даются в угловых скобках.

Основная часть сохранившегося рукописного наследия Городецкого, находится у его дочери — Р. С. Городецкой. При подготовке настоящего издания эти материалы были нами использованы, за что мы приносим Р. С. Городецкой глубокую благодарность. Нами учтены также материалы, хранящиеся в рукописных отделах библиотек и в архивах.

В целом правописание и пунктуация стихотворений практически не требовали вмешательства, особенности же орфографии автора сохраняются лишь там, где они сказываются на звучании слова в стихе.

Примечания имеют единообразное построение. Сначала даются общие сведения о данной книге стихов, цитируются отзывы критики о ней и приводится перечень стихотворений этой книги, не включенных в настоящее издание. Далее сообщаются сведения, относящиеся ко всем или большинству стихотворений данной книги: место предыдущей публикации и источник, по которому они печатаются. Примечания к отдельным стихотворениям начинаются с указания на место первой публикации (кроме случаев, оговоренных выше). Затем, через точку с запятой, перечисляются те печатные источники, тексты которых имеют какие-либо смысловые отличия; в том числе отмечаются все случаи (довольно частые у Городецкого) перемены заглавий стихотворений при переизданиях. Если указывается только первая публикация, это означает, что стихотворение в дальнейшем не изменялось, так как перепечатки произведения без изменения текста в примечаниях не фиксируются. Далее дается ссылка на источник, по которому стихотворение печатается в настоящем издании, кроме тех случаев, когда об этом сказано в общем примечании к данной книге стихотворений. Текст каждого стихотворения устанавливается посредством критического изучения всех его источников, и в основу издания кладется тот текст, над которым в последний раз работал автор. В частности, многие стихотворения печатаются по авторизованным машинописям, правленным автором в середине 60-х годов, для под-

готавливаемого им собрания стихотворений. Издание это не состоялось, но в архиве Городецкого машинописные копии с этой правкой сохранились. Правка эта была частично отражена в изданиях «Сев. сияние» и БСП, но для большинства стихотворений, особенно ранних, оставалась неизвестной и впервые учтена в настоящем издании. Наконец, в примечаниях сообщается о наличии и месте хранения автографов и авторизованных машинописей.

Звездочка перед порядковым номером примечаний означает, что к этому стихотворению имеется материал в разделе «Другие редакции».

Условные сокращения, принятые в примечаниях и в разделе «Другие редакции»

«Ангел Армении» — С. Городецкий, Ангел Армении. Стихотворения, Тифлис, 1918.

АСГ — архив С. М. Городецкого.

Блок — А. Блок, Собр. соч. в 8-ми томах, М.—Л., 1960—1963.

БСП — С. Городецкий, Стихи, М., «Художественная литература», 1966 («Библиотека советской поэзии»).

ГБЛ — Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

ГЛМ — Гос. литературный музей.

«Грань» — С. Городецкий, Грань. Лирика 1918—1928, М., «Никитинские субботники», 1929.

«Дикая воля» — С. Городецкий, Дикая воля. Стихи и сказки, СПб., «Факелы», 1908.

«Думы» — С. Городецкий, Думы. Из семнадцатой книги стихов, Ташкент, Госиздат УзССР, 1942.

«Ива» — С. Городецкий, Ива. Пятая книга стихов, СПб., «Шиповник», 1913.

«Изборник» — С. Городецкий, Изборник. Стихи 1905—1915 гг., М., «Универсальная библиотека», 1916

Избр. 1936 — С. Городецкий, Избранные лирические и лиро-эпические стихотворения. 1905—1935, М., ГИХЛ, 1936.

«Из тьмы к свету» — С. Городецкий. Из тьмы к свету. Деревенские были, М.—Л., ГИЗ, 1926.

ИМЛИ — Рукописный отдел Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.

ЛН — «Литературное наследство», № 74, «Из творческого наследия советских писателей», М., 1965.

«Миролом» — С. Городецкий, Миролом. Тринадцатая книга стихов, М.—Пг., ГИЗ, 1923.

«Мой путь» — С. Городецкий, Мой путь (в кн. «Советские писатели. Автобиографии в двух томах», т. 1, М., 1959, с. 320—331).

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР.

«Перун» — С. Городецкий, Перун. Стихотворения лирические и лиро-эпические, СПб., «Оры», 1907.

«Песня дружбы» — С. Городецкий, Песня дружбы, Минск, 1947.

Правл. СС I — правленный С. Городецким экземпляр СС I, принадлежащий С. И. Машинскому.

«Русь» — С. Городецкий, Русь. Песни и думы, вып. 1, М., изд-во И. Д. Сытина, 1910.

«Сев. сияние» — С. Городецкий, Северное сияние, М., «Сов. писатель», 1968.

«Серп» — С. Городецкий, Серп. Двенадцатая книга стихов, Пб., ГИЗ, 1921.

СС I, II — С. Городецкий, Собрание стихов, т. 1, кн. 1—2. Ярь. Лирические и лиро-эпические стихотворения, изд. 2, СПб., 1910; т. 2, кн. 3. Дикая воля. Лирические стихотворения, песни и сказки, изд. 2, СПб., 1910.

ст. — стих.

Ст. 1956 — С. Городецкий, Стихотворения. 1905—1955, М., Гослитиздат, 1956.

Ст. 1960 — С. Городецкий, Стихотворения и поэмы, М., Гослитиздат, 1960.

Ст. 1964 — С. Городецкий, Стихи, М., «Художественная литература», 1964.

«Цветущий посох» — С. Городецкий, Цветущий посох. Вереница восьмистиший, СПб., «Грядущий день», 1914.

ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства.

«Четырнадцатый год» — С. Городецкий, Четырнадцатый год. Стихи, Пг., «Лукоморье», 1915.

«Ярь» — С. Городецкий, Ярь. Стихи лирические и лиро-эпические, СПб., «Кружок молодых», 1907.

I

ЯРЬ

Книга «Ярь» в том виде, в каком она почти полностью печатается в настоящем издании, представляет собой первый том «Собрания стихов» Городецкого (СС I). На контртитуле тома имеется помета: «Том первый. Книга первая и вторая», но внутри тома разделения на книги нет. На титульном листе издание названо вторым. Объясняется это тем, что еще в конце 1906 г. вышла первая книга молодого поэта, также называвшаяся «Ярь». В нее входило 66 стихотворений — далеко не все, написанное и опубликованное Городецким к тому времени. Книга открывалась стихотворным вступлением, в дальнейшем вошедшим в цикл «Рождение» (см. № 20). Об обстоятельствах создания этой книги автор позже вспоминал: «Летом ⟨1904 г.⟩ я поехал на «кондиции» (уроки) в усадьбу тогдашней Псковской губернии. Все свободное время я проводил в народе, на свадьбах и похоронах, в хороводах, в играх детей. Увлекаясь фольклором еще в университете, я жадно впитывал язык, синтаксис и мелодии народных песен. Отсюда и родилась моя первая книга „Ярь“» («Мой путь», с. 322). Летом следующего года основные стихотворения этой книги были написаны, но только зимою 1906 г. (не позже 19 декабря) сборник вышел в свет. Поэт не был удовлетворен им: «Вот и вышла «Ярь», — писал он Блоку 19 декабря 1906 г. — Как далеко от того, что хотелось, даже от укороченной мечты... Книжечка жалкенькая по виду и двойственная по содержанию — такова и

должна быть моя Ярь» (А. Блок, Записные книжки, М., 1965, с 533). Но книга была очень высоко оценена многими современниками. В письме к матери от 21 декабря 1906 г. Блок назвал «Ярь» «может быть, величайшей из современных книг» (А. Блок, Письма к родным, т. 1, Л., 1927, с. 161). А в своей записной книжке отметил: «Большая книга ... Городецкий — весь полет ... Может быть, «Ярь» — первая книга в этом году — открытие, книга открытий». Вяч. Иванов в рецензии писал: «Все, что вытекло в «Яри» из народной песни, лирической и лиро-эпической, подлинно и высоко поэтично ...В его языке — подлинная динамика народной речи ... Он ничего не воспроизводит исторически точно или этнографически подлинно, но свободно творит так, как ему дано, ибо иначе он и не может» («Критическое обозрение», 1907, вып. 2, с. 49). В. Я. Брюсов писал: «Своею «Ярью» Сергей Городецкий дал нам большие обещания и приобрел опасное право — быть судимым в своей дальнейшей деятельности по законам для немногих» (В. Брюсов, Далекие и близкие, М., 1912, с. 164).

Вторая книжка Городецкого — «Перун» вышла в свет в первой половине 1907 г. В нее вошло 52 новых стихотворения. Сборник открывался вступлением, в дальнейшем не перепечатывавшимся, как заметил сам автор, «по недосмотру»:

Ты знаешь утреннюю ясность
И на заре сиянье рек,
Когда всемерную безгласность
Приемлет в сердце человек.
Ты помнишь ропот мой вечерний
И на заре вечерней взор,
Чело в теснинах алых терний
И сердца нищего позор.
Узнай же ты: восстал я ныне
И руку поднял на Отца:
Моей сияющей пустыне
Не светит око мертвеца.

Мнения критиков об этой книге разошлись. Если Брюсов считал, что «разница между «Ярью» и «Перуном» только та, что лучшие стороны дарования С. Городецкого представлены в «Перуне» слабее, а более слабые черты везде первенствуют» (В. Брюсов, Далекие и близкие, с. 165), а А. Белый прямо утверждал, что «Перун» — «это из рук вон плохая книга очень талантливого поэта» («Перевал», 1907, № 8-9, с. 104), то А. Блок в статье «О лирике» писал: «Вторая книга Сергея Городецкого — «Перун» — не обманула надежд, открытых „Ярью“» (Блок, т. 5, с. 145).

В 1910 г. Городецкий объединил сборники «Ярь» и «Перун» в первый том «Собрания стихов», дав ему общий заголовок «Ярь». Состав тома был пополнен большим числом (63) новых стихотворений, часть из которых печаталась здесь впервые. Из сборника «Ярь» в том не вошло одно стихотворение: «Ну, поцелуй. А в этот миг...», из сборника «Перун» — тоже одно: «Проклятие ночам и дням...». По поводу последнего в авторских примечаниях сказано, что оно пропущено «за негодностью». На обороте титульного листа тома были факсимильно воспроизведены авторские посвящения: «Посвящены стихотворения: «Перун-Солнце» — К. Бальмонту, «Хаос» — Вяч. Иванову, «Змеюка» — Алексею Ремизову, «Заря» — А. Блоку, «Я захотел, и мир сияет...» — Ф. Сологубу, «Славят Ярилу» — Н. Рерику и другие — другим». В самом корпусе издания некоторые из этих посвящений не отмечены. Не без влияния Блока автор перестроил

композицию издания (см.: Блок, т. 5, с. 145). Теперь Городецкий разделил том на 3 отдела — «Зачало», «Ярь» и «Темь», а внутри отделов одни стихотворения были объединены в циклы, другие печатались самостоятельно. Блок одобрил эту перестройку: теперь «материал расположен лучше, — писал он, — уже нет прежнего, вынужденного обстоятельствами разделения на „Ярь" и „Перун"» (там же, с. 412). Предисловие, предпосланное тому, получило отрицательную оценку Блока: «Сколько тут самой прозаической и скучной злобы дня, каких-то дерзновений, которые давно пора забыть», — писал он (там же). Наконец, в начале 30-х годов в предисловии к несостоявшемуся изданию стихотворений Городецкого, А. В. Луначарский писал. «В книге «Ярь» есть много удивительных ... вещей ... Особенно обращаю внимание на стихотворения „Ярилу ставят" и „Ярилу славят"». Луначарский отмечает, что в первый период творчества поэта «у него начинают доминировать ноты, родственные Некрасову — поэзия печальная, негодующая, в общем народническая, хотя она ближе к Некрасову произведений городских, чем к Некрасову деревни. Я отмечу здесь сильные стихотворения: „Вся измучилась...", „Слепая мать глядит в окно...", „Сын", „Гость"» (ЛН, с. 46).

Большинство стихотворений, входящих в СС I, в дальнейшем никогда не перепечатывалось.[1] В настоящее издание не включены следующие стихотворения из первого тома: «И рвал и метал...», «Из темницы слышу звуки...» (цикл «Нет»); «Всё сменилось, всё упало...», «Не ты ли мир заколдовал...» (цикл «Хаос»); «Морской Горбыль»; «Велика страна Валкаланда...» (два стих.), «Тар мой властный, огнеокий...» (цикл «Тар»); «Полдень», «Узница» (цикл «Светозор»); «Ворон»; «Клен»; «Предки»; «Самка»; «Росянка»; «Весна»; «Облак», «Монастырь», «Повечерье», «Заря», «Феодор» (цикл «Алый Китеж»); «Сестры»; «Вот неделю, две недели...» (цикл «Осенница»); «Коляда»; «Вот опять снега растают...» (цикл «Окна»); «Пастораль» (цикл «Работа»); «Дорога», «Парк», «Гора» (цикл «Дача»); «Старик», «Часы», «Город» (цикл «Сердце»). Не приводятся в наст. издании также авторские «Предисловие» и «Послесловие» к «Яри».

В отношении некоторых собственных имен (Удрас, Барыба, Адовик, Купалокала и др.), упоминаемых в стихах «Яри», можно дать следующее общее разъяснение: в ряде случаев — это мифологические имена из русских, славянских и западноевропейских сказок и легенд. Так, в книге А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», о которой Городецкий писал Д. Молдавскому: «Эта книга была моей настольной» («Нева», 1969, № 7, с. 181), встречаются Лад, Ладо, Купало, Китоврас, Светозор, Юдо, Вертодуб и др. В большинстве же имена, используемые Городецким, сочинены им по фольклорному образцу. О таких именах он писал 16 августа 1966 г. тому же адресату: «Всех Ярыг и Перунов, Велесов и Яг у меня было много, но были и свои. Я мыслил мифами нередко» (там же, с. 182), а еще

---

[1] Иногда Городецкий перепечатывал стихотворения, входившие в циклы, отдельно под самостоятельными заглавиями. Поскольку эти стихотворения публикуются здесь в составе циклов, постольку, естественно, они приводятся без заглавий, а о перепечатках сообщается в соответствующих примечаниях.

раньше, в письме от 29 марта 1964 г. утверждал: «Я считаю поэта вправе «придумывать» имена, это тоже образы, и их у меня много» (там же). Такого рода имена в примечаниях к отдельным стихотворениям не разъясняются.

Все тексты, кроме особо оговоренных случаев, печ. по СС I. Перемещение стихотворений в последующих изданиях из одного цикла в другой не отмечается.

1—4. 1. «Ярь», с. 11; «Изборник», как отдельное стих., под загл. «Зачало». Вяч. Иванов об этом стих. писал, что это — «строки безусловной законченности» («Критическое обозрение», 1907, вып. 2, с. 49).

2. СС I, с. 10. Черновой автограф — ЦГАЛИ.

3. СС I, с. 10. Положено на музыку А. Прохоренко.

4. СС I, с. 11.

5—10. 1. «Ярь», с. 12, с посвящением Т. Городецкой, сестре поэта. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

2. «Ярь», с. 13. В авториз. машинописи АСГ последняя строфа зачеркнута.

3. «Ярь», с. 14. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

4. «Беседа», 1907, № 5, с. 260, под загл. «Утро». В авториз. машинописи АСГ все стих. зачеркнуто.

5. «Перун», с. 17, под загл. «Рассвет» и с посвящением поэту и переводчику Гансу Гюнтеру; «Просвещение», 1909, № 11, без посвящ. и под загл. «Утро»; «Изборник», как отдельное стих., под загл. «Рассвет».

6. «Перун», с. 18, под загл. «Искушение». Печ. по Избр. 1936, с. 129.

11—14. 1—2. «Грядущий день», сб. 2, СПб., 1907, с. 21—22, под загл. «Полнолуние» и «Полночь».

3. «Пробуждение», 1908, № 14, с. 532, под загл. «Колдун».

4. СС I, с. 17.

15—17. 1. СС I, с. 17.

2. «Перун», с. 12, под загл. «Миром оплетенные».

3. «Перун», с. 13, под загл. «На волнах лазури».

18—22. 1. СС I, с. 19.

2. СС I, с. 20.

3. «Ярь», с. 7, в качестве вступления к книге.

4—5. СС I, с. 21, 22.

23—27. 1—4. «Ярь», с. 89, 91, 93, 94.

4. *Поживу до девятого дня.* По христианскому обычаю, в девятый день после смерти человека отмечается его память.

5. СС I, с. 26. Автограф — ГЛМ.

28—31. 1. СС I, с. 26.

2. «Перун», с. 10, под загл. «Дьявол» и с посвящением «Федору Сологубу» (1863—1927). *День седьмой* — по библейской легенде,

к седьмому дню бог сотворил землю и все живущее на ней. *Зане* — ибо, потому что.

3. «Ярь», с. 17. *В день седьмой почил*. По библейской легенде, в седьмой день бог «почил от всех дел своих». *С шестого дня*. По библейской легенде, в шестой день творения бог создал человека.

4. «Ярь», с. 19.

32—34. 1. «Ярь», с. 63. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Дионис* (греч. миф.) — бог растительности, покровитель виноделия.

2. «Ярь», с. 64. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Китоврас* — в старинных славянских легендах и сказаниях баснословное существо, получеловек-полуживотное.

3. «Ярь», с. 66, с дополнительным четверостишием в начале стих., в СС I перенесенным в стих. «Опять нежданностью смущенный...» в виде окончания его: «Когда я фавном молодым ∾ бросал серебряные звезды» (см. № 45).

35—40. 1—2. «Грядущий день», сб. 1, СПб., 1907, с. 203, 204, в составе цикла «Заря», сформированного здесь из этих двух стихотворений и с посвящением цикла Александру Блоку. В ПД хранится небольшая тетрадка Городецкого со стихотворениями цикла №№ 35—40 (за исключением № 37); она была приложена к письму автора к А. А. Кублицкой-Пиоттух (матери Блока) от 23 августа 1921 г. в связи со смертью Блока. На обложке тетради — посвящение. «Вашему сыну».

3. СС I, с. 33.

4. «Ярь», с. 112, где это и два след. стихотворения (№ 39, 40) составляют цикл «Поэт», посвященный Александру Блоку. Здесь к стих. дан эпиграф из Библии: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. Аввакум. II, 1». Авториз. машинопись цикла — АСГ

5. «Ярь», с. 113, без последней строки. См. примеч. 38.

6. «Ярь», с. 115, без двух последних строф, с небольшими вариантами и эпиграфом из Библии: «Трубу к устам твоим. Осии, VIII, 1». См. примеч. 38.

41—44. 1—4. СС I, с. 36, 37, 38. *Волшба* — колдовство. *Рудой* — рыжий, краснобурый.

45—48. 1. СС I, с. 40. Авториз. машинопись под загл. «Встреча» — АСГ *Фавн* (греч. миф.) — бог полей и лесов. *Дриады* (греч. миф.) — нимфы лесов.

2. СС I, с. 41. Печ. по правл. СС I.

3—4. СС I, с. 41, 42.

49. «Факелы», кн. 1, СПб., 1906, с. 41, с посвящением: «Вячеславу Иванову, жрецу Диониса»; «Ярь», с посвящением: «Вячеславу Иванову»; «Изборник», под загл. «Исход» и с тем же посвящением. В СС I датировано декабрем 1906 г., но в ЦГАЛИ имеется автограф с датой «III. 906». Датируется по автографу. По поводу строки: «Мы ведь можем, можем, можем!», приведенной Городецким в «Предисловии» к СС I (см. выше), Блок неодобрительно писал в статье «Противоречия»: «..что можем, как, почему и зачем? Объяснений не дает-

ся — можем „вообще“» (Блок, т. 5, с. 413). Вячеслав Иванов — В. И. Иванов (1866—1949) — поэт, драматург, историк. *Дионис* — см. примеч. 32.

50. «Ярь», с. 28, без загл., в качестве третьего стих. цикла «Ярило». Печ. по авториз. машинописи АСГ. В СС I стих. датировано «20 июня 1906 г», но в авториз. машинописи АСГ указан 1905 г. Принимаем последнюю дату, как подтверждающуюся датами двух следующих стихотворений из этого цикла. *Несудом* — очень много. *Ярила* (древнеслав.) — бог солнца и любви.

51. «Весы», 1906, № 6, с. 1, без загл., в качестве первого стих. цикла «Симфония»; «Ярь», как первое стих. цикла «Ярило»; «Изборник», под загл. «Ярила»; Избр. 1936, без загл. Печ. по авториз. машинописи АСГ. Автограф — ИМЛИ. Об обстоятельствах опубликования этого и след. стихотворений в «Весах» Городецкий позже вспоминал: «В одну ночь в конце 1905 года я, прочитав свои «ярильские» стихи в присутствии всего символистского Олимпа, то есть Вячеслава Иванова, Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Блока, Белого, Мережковского, Гиппиус, Бердяева, профессоров Зелинского и Ростовцева, стал «знаменитым поэтом»... В. Брюсов тут же отобрал у меня стихи и напечатал их в цикле «Симфония» (в «Весах»)» («Мой путь», с. 322—323). Об этом же чтении вспоминал В. Пяст: «Я наверно не помню, сидел ли тогда на арбитраже в качестве суперарбитра Валерий Брюсов, — или это было в следующую среду, через одну неделю, — но во всяком случае и он (в тот раз, когда был), и все поэты, и все непоэты, присутствовавшие у Вячеслава Иванова, — все, лишь заслышали шаманский голос-бубен Сергея Городецкого, его скороговорку под нос:

Вот черта — это глаз
. . . .
Новый бог, —

...заволновались. Все померкло перед этим «рождением Ярилы». Все поэты, прошедшие вереницей перед ареопагом под председательством Брюсова, — вместе с этим ареопагом, вынуждены были признать выступление Городецкого из ряда вон выходящим. Многие обрадовались этому, некоторые позавидовали. Вячеслав Иванов, когда единодушный шум рукоплесканий, превзошедший когда-либо слышанный в стенах башни шум, умолк, — Вячеслав Иванов вскочил и сейчас же сказал восторженную речь по поводу этих юных стихов. Слабой «оппозицией» было только ворчанье на «Ярилу» со стороны Мережковского, и только в первую среду. Все следующие среды были средами триумфов юного Ярилы. Его почти буквально носили на руках» (В. Пяст, Встречи, М., 1929, с. 92—93). «Среды» — собрания литераторов символистского круга в 1905—1907 гг., устраивавшиеся на петербургской квартире Вяч. Иванова, получившей обиходное наименование «башни». Брюсов ошибочно считал эту публикацию первым выступлением Городецкого в печати (В. Брюсов, Дневники. 1891—1910, М., 1927, с. 187); см. примеч. 86 и 422. *Ведун* — колдун.

52. «Весы», 1906, № 6, с. 3, без загл., в качестве второго стих. цикла «Симфония»; «Ярь», как второе стих. цикла «Ярило». Черновой

автограф без последних восьми ст. и с датой «11 июля 1905 г.» — ЦГАЛИ. Автограф — ИМЛИ.

53. СС I, с. 53.

54. «Перун», с. 109, под загл. «Встреча» и с обозначением, кому принадлежат реплики в диалоге Перуна и Ярилы (первая реплика: «Кто ты? Здравствуй!» принадлежала Перуну); Избр. 1936, под тем же загл. и с вариантами. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Убрус* — плат, фата.

55. «Перун», с. 113, с посвящением художнику Н. К. Рериху (1874—1947). *Рудой* — см. примеч. 41. *Вою* — воину.

56. «Перун», с. 116, с посвящением К. Д. Бальмонту (1867—1942); СС I, под загл. «Перун-Солнце» и без посвящения. Печ. по Ст. 1956, с. 35. Авториз. машинопись — АСГ. *Стрибог* (древнеслав.) — бог ветра.

57. Альм. «Смерть», СПб., 1910, с. 8. Печ. по Ст. 1956, с. 38. Авториз. машинопись — АСГ. *Стрибог* — см. примеч. 56.

58. «Ярь», с. 36, без подзагол.; Ст. 1956, с подзагол. Печ. по Ст. 1964, с. 47. Авториз. машинопись — АСГ. *Тар* — как явствует из письма Городецкого к Д. М. Молдавскому от 29 марта 1964 г., это имя придумано («Нева», 1969, № 7, с. 182). Но в древнескандинавской мифологии известен Тор — бог грома; очевидно, Тар создан по ассоциации с Тором. Положено на музыку С. Василенко (1909).

59—63. 1. «Ярь», с. 98.
2. «Ярь», с. 100. В правл. СС I две последних строки зачеркнуты. *Иерей* — священник.
3. «Ярь», с. 102.
4. «Ярь», с. 104; Избр. 1936, под загл. «Чертяка». Печ. по авториз. машинописи АСГ. Положено на музыку С. Василенко (1909). *Ведовство* — колдовство.
5. «Ярь», с. 106. *Велелепие* — благолепие, благообразие.

64. «Ярь», с. 108. *Тын* — ограда, забор.

65. «Ярь», с. 110. *Казенка* — шинок, лавка, где продается водка. *Гать* — настил из бревен или веток через болото.

66—69. 1—2. «Перун», с. 86, 89.
3. «Перун», с. 91. Черновой автограф под загл. «Купалокала» и с датой 1906 — ЦГАЛИ.
4. «Перун», с. 93.

70—72. 1—2. «Перун», с. 81, 83. *Рудая* — см. примеч. 41.
3. «Перун», с. 85. *Тын* — см. примеч. 64.

73—76. 1—4. «Перун», с. 73, 75, 77, 79.

77—79. 1. «Перун», с. 102—104. *Купальские огни* — древнеславянский праздник Ивана Купалы (24 июня стар. стиля), во время которого зажигались костры, называвшиеся «купальскими огнями». *Огневица* — здесь: молния.

2—3. «Перун», с. 105, 107.

80. «Грядущий день», сб. 2, СПб., 1907, с. 16. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

81. СС I, с. 105.

82. «Перун», с. 35. *Огневка* — здесь: лихорадка, горячка.

83. «Факелы», кн. 1, СПб., 1906, с. 37, без загл. и с вариантами; «Ярь», под загл. «Оборотень». Авториз. машинопись — АСГ. Беловой автограф (текст «Факелов») — ЦГАЛИ. *Посолонь* — по движению солнца, с востока на запад.

84. «Белые ночи. Петербургский альманах», СПб., 1907, с. 229.

85. «Ярь», с. 59, с посвящением писателю Алексею Ремизову (1877—1957).

86. «Золотое руно», 1906, № 1, с. 100, в составе статьи А. Блока «Краски и слова». Автограф с датой «16 июня 1905» — ЦГАЛИ. Авториз. машинопись — АСГ. Это первое стих. Городецкого, увидевшее свет, хотя и опубликованное не самостоятельно. Публикацию его Блок сопроводил словами: «Следующее стихотворение молодого поэта Сергея Городецкого кажется мне совершенным по красочности и конкретности словаря... Все можно нарисовать — воздух, озеро, камыш и небо. Все понятия конкретны, и их достаточно для выражения первозданной идеи, блеснувшей сразу», а к самому стих. сделал сноску: «Я думаю, что и во всей русской поэзии очень заметно стремление к разрыву с отвлеченным и к союзу с конкретным, воплощенным. Освежительнее духов запах живого цветка» (Блок, т. 5, с. 21).

* **87.** «Ярь», с. 50. Печ. по авториз. машинописи АСГ, где исправлена последняя строфа.

88. «Ярь», с. 51, под загл. «Полюбовницы».

89. «Ярь», с. 67, без подзагол. Авториз. машинопись — АСГ. С. Соловьев отмечал в рецензии на сб. «Ярь», что это стих. «особенно певуче ... Сколько мощи и простоты» («Золотое руно», 1907, № 2, с. 88). Об имени героя Городецкий писал Д. М. Молдавскому 29 марта 1964 г.: «...Имя Юхано, вероятно, слышал в Куоккале, где часто бывал» («Нева», 1969, № 7, с. 182).

90—91. 1. «Цветник Ор», кошница первая, СПб., 1907, с. 173. О стихотворениях этого цикла А. Белый писал: «Здесь действительно заря, а не занавеска, действительно вздох и природа, а не вымученная картонная риторика, сменившая былую свежесть у некоторых молодых, быстро увядающих поэтов» («Весы», 1907, № 6, с. 67).

2. СС I, с. 124. Причина пропуска в публикации ст. 2 строфы 3 неизвестна.

92. «Ярь», с. 42. *Псалтырь* — книга псалмов, библейских песен, приписывавшихся иудейскому царю Давиду.

93. «Ярь», с. 97. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

94—95. 1—2. «Ярь», с. 38, 39.

96 «Ярь», с. 40. Два автографа — ГЛМ и ЦГАЛИ. Авториз. машинопись — АСГ. Положено на музыку В. Багадуровым (1907), И. Стравинским (1908), В. Полем (1910), Д. Зерновым (1915) и др. А. В. Луначарский писал об этом стих., что в свое время оно было «необычайно любимым» и что в нем «отражается нечто нестеровское, некоторый лирический христианский дух» (ЛН, с. 46).

97. «Ярь», с. 84; СС I, без загл., в качестве первого стих. цикла «Окна». Авториз. машинопись — АСГ. *Конка* — вид транспорта: вагончики, ходившие по рельсам и приводившиеся в движение упряжкой лошадей.

98. «Беседа», 1907, № 1, с. 6. Авториз. машинопись — АСГ.

99. «Литературно-художественные альманахи изд-ва „Шиповник"», кн. 2, СПб., 1907, с. 112. Печ. по Ст. 1956, с. 41. Авториз. машинопись — АСГ.

100. СС I, с. 139. *Осенница* — словообразование Блока, означающее своего рода нимфу — спутницу осени (ср. стих. Блока «Пляски осенние»).

101—109. 1. «Ярь», с. 61. Печ. по правл. СС I. Беловой автограф — ЦГАЛИ. Авториз. машинопись — АСГ.

2. «Ярь», с. 62. Печ. по авториз. машинописи АСГ. В правл. СС I стих. зачеркнуто.

3. «Беседа», 1907, № 3, с. 131, под загл. «Рукава». Печ. по авториз. машинописи АСГ. В правл. СС I стих. зачеркнуто.

4. СС I, с. 142. Печ. по авториз. машинописи АСГ. В правл. СС I первые две строфы зачеркнуты.

5. СС I, с. 143. Печ. по авториз. машинописи АСГ. В правл. СС I стих. зачеркнуто.

6. СС I, с. 144. Печ. по авториз. машинописи АСГ. В правл. СС I стих. зачеркнуто.

7. «Ия. Стихи для детей и рисунки. Сочинял и рисовал целых два года Сергей Городецкий», М., 1908, под загл. «Зимняя колыбельная». Печ. по авториз. машинописи АСГ.

8. «Беседа», 1907, № 4, с. 195, под загл. «Узница». Печ. по авториз машинописи АСГ. В правл. СС I стих. зачеркнуто.

9. «Перун», с. 30, под загл. «Куда?»; Ст. 1956, под загл. «Теремок» и с датой «1906». Печ. по авториз. машинописи АСГ, где датировано 1904 г.

110—111. 1. «Ярь», с. 86.

2. «Ярь», с. 87. *Алая вечерница* — планета Венера.

112—119. 1. «Перун», с. 23, под загл. «Люблю».
2. «Перун», с. 24, под загл. «Помнишь?».
3. «Перун», с. 25, под загл. «Заледенелая».
4. «Перун», с. 26, под загл. «Метель».
5. СС I, с. 150.
6. «Перун», с. 27, под загл. «Снег».
7—8. СС I, с. 151.

120—127. 1. СС I, с. 155. Печ. по Ст. 1956, с. 43.
2. СС I, с. 156.
* 3. «Ярь», с. 95. Печ. по авториз. машинописи АСГ. Автограф (в письме к О. Н. Анненковой от 30 июня 1906 г.) с дополнительной предпоследней строфой — ЦГАЛИ. *Смоленское* — кладбище в Петербурге. *Конка* — см. примеч. 97.
4. «Ярь», с. 81. Авториз. машинопись — АСГ.
5. «Перун», с. 59, под загл. «У забора».
6. «Ярь», с. 77, под загл. «Per aspera».
7. Альм. «Факелы», кн. 1, СПб., 1906, с. 39; «Ярь», с вариантами. Печ. по авториз. машинописи АСГ, где исправлено двустишие 9, ранее печатавшееся: «И смотрела, как нежное тело Возникало во мраке несмело». Автограф — ЦГАЛИ.
8. «Ярь», с. 88, под загл. «Разлука».

128—129. 1. Альм. «Вольница», вып. 2, СПб., 1906, с. 16, под загл. «Весна». Авториз. машинопись — АСГ. Альм. был арестован СПб. комитетом по делам печати. В докладе цензора говорилось: «Подбор статей и стихотворений, помещенных в настоящем сборнике... с несомненностью свидетельствует о намерении составителей вызвать в читателе революционное настроение и оскорбить верховную власть и русскую армию и призвать к ниспровержению существующего государственного строя» (ЦГИАЛ, ф. С.-Петербургского цензурного комитета). В альм. были опубликованы: рассказ М. Арцыбашева «Революционер» о бессмысленном терроре властей, едкая сатира М. Первухина на Людовика XVI «Король», прямо перекликающаяся с явлениями фаворитизма, характерными и для русского двора, стих. М. Волошина «Голова принцессы Ламбаль» о событиях французской буржуазной революции, переводы из Пётефи, пьеска Н. Черняка «В красную ночь» о еврейском погроме, стих. К. Бальмонта «Истукан» и др.
2. СС I, с. 163.

130—136. * 1. «Перун», с. 67. Авториз. машинопись АСГ содержит редакцию стих., нигде не публиковавшуюся.
2. СС I, с. 165. Печ. по Ст. 1956, с. 46.
3. «Перевал», 1907, № 5, с. 17. Печ. по Ст. 1956, с. 48. *В «Эрмитаже»*. Героиня стих., конечно, спутала слово «эрмитаж» с бельэтажем.
4. «Золотое руно», 1906, № 7-9, с. 117, без загл.
5. Альм. «Кристалл», Харьков, 1908, с. 35. *Фай* — плотная ткань из шелка или шерсти.
6. СС I, с. 171. *Столоначальник* — чиновник, ведавший каким-либо узко-специальным кругом дел в министерских учреждениях или отделах (департаментах).
7. «Грядущий день», сб. 2, СПб., 1907, с. 19; «Перун».

137. «Перун», с. 48. Печ. по Ст. 1956, с. 55. Авториз. машинопись — АСГ.

138—144. 1. «Перун», с. 43.

* 2. СС I, с. 183; Избр. 1936, в перераб. виде. Печ. по Ст. 1964, с. 65, где стих. дано в ред. СС I с небольшими исправлениями. А. В. Луначарский отмечал влияние Бодлера, сказавшееся в стих. «Уроды» (см.: ЛН, с. 46). *Конка* — см. примеч. 97. *Рамена* — плечи.

* 3. «Перун», с. 50, в ранней редакции. Печ. по Ст. 1956, с. 47. В 1910 г., когда вышло СС I, было опубликовано одноименное стих. И. Эренбурга, перекликающееся со стих. Городецкого (см.: «Жизнь для всех», 1910, № 4, с. 31).

4. «Перун», с. 52, под загл. «Лица». Печ. по правл. СС I.

5. «Перун», с. 54. *Смоленское* — см. примеч. 122.

6. «Перун», с. 63. Печ. по Ст. 1956, с. 57.

7. «Перун», с. 69; Ст. 1956, с незначительными вариантами и неточной датой «1907». Печ. по Ст. 1956, с. 57. Авториз. машинопись — АСГ. А. В. Луначарский назвал это стих. «первым подарком поэта рабочему движению» (ЛН, с. 46).

ДИКАЯ ВОЛЯ

Третья книга стихотворений Городецкого, вышедшая между 14 и 21 декабря 1907 г. О цикле «Тюремные песни», входящем в книгу, автор сообщал: «„Тюремные песни" я написал в Крестах — царской тюрьме, куда я попал за перевоз из Финляндии в Петербург «Историко-революционного альманаха», только что изданного издательством «Шиповник» и запрещенного в столице» («Мой путь», с. 323). Критика откликнулась на книгу весьма сдержанно. «Появись эта книга за другой подписью, мы приветствовали бы ее с радостью, — писал Брюсов. — Но от автора «Яри» мы требуем большего» (В. Брюсов, Далекие и близкие, М., 1912, с. 166).

В 1910 г. книга «Дикая воля» без каких-либо изменений и в полном составе была перепечатана в виде второго тома (третьей книги) «Собрания стихов» (СС II), — том вышел между 17 и 24 февраля 1910 г. В дальнейшем большинство стихотворений книги нигде не перепечатывалось. В настоящее издание не вошли следующие стихотворения: «Нет, долго я не проживу. . .», «Еще запомни на разлуку. . .» (цикл «Голоса смерти. Элегии»); «Теплая вода», «Гость», «Пустыня», «Рождение» (цикл «Тюремные песни»); «Миг»; «Кладбище»; «Луна»; цикл «Радуга» (кроме стих. «Синяя», «Смуглая», «Белая»); сказки «Яга» и «Лия».

Для стих., впервые опубликованных в книге «Дикая воля», место первой публикации не отмечается; все произведения, кроме особо оговоренных случаев, печатаются по СС II.

145. В качестве посвящения к сб. «Дикая воля».

146—152. 1. В Избр. 1936, под загл. «Элегия», с небольшими вариантами и ошибочной датой «1908». Печ. по авториз. машинописи АСГ.

2. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

* 3. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

5. *Оаз* — оазис. *Аз* — первая буква церковнославянского алфавита и архаическая форма местоимения «я».

153. В «Дикой воле» — под загл. «Песенка смертельная». Печ. по авториз. машинописи АСГ.

155—169. 1. Печ. по авториз. машинописи АСГ. В ПД хранится небольшая тетрадка беловых автографов всех стихотворений, входящих в цикл «Тюремные песни» (№ 155—169), стих. «Воля» (№ 170) и еще четырех — «Пустыня» (не включено в наст. издание), «Возврат», «Воспоминание», «Видение», не входивших в «Дикую волю». На титульном листе тетрадки надпись рукой Городецкого: «Написано и переписано в Крестах (кроме последних двух стихотвор⟨ений⟩)». Каждое стих. имеет точную дату, воспроизводимую нами. Наличие этого белового автографа в комментариях к стих. № 155—169 в дальнейшем не отмечается. В ГБЛ хранится рукописный журнал «Оковы. Тюремная муза», 1907, № 3-4, август — сентябрь, выходивший в Крестах, где в это время находился в заключении Городецкий. На страницах этого журнала (стлб. 5—9) переписаны с небольшими разночтениями стихотворения № 155—159.

3. В Ст. 1956 с вариантами. Печ. по Ст. 1956, с. 61. Авториз. машинопись — АСГ.

4. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

7. В Ст. 1956 с вариантами и ошибочной датой «1908». Печ. по Ст. 1956, с. 59. Авториз. машинопись — АСГ.

8—9. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

* 13. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

184—186. 1. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

187. «Золотое руно», 1907, № 5, с. 32. *Кивот* — киот, подставка или небольшой шкаф для икон.

188. *Паперть* — крыльцо или площадка перед входом в церковь. *Погост* — кладбище.

РУСЬ

Четвертая книга стихотворений Городецкого, вышедшая между 17 и 24 сентября 1909 г. (на титульном листе — 1910 г.) Книга имела помету: «Вып. 1», но второго выпуска не последовало. Эпиграф к книге — из стих. Вяч. Иванова «Нищ и светел» («Cor ardens», М., 1911, с. 212). «Если бы исполнение последней книги стихов С. Городецкого, — писал Блок, — соответствовало ее замыслу, было бы уместно говорить о самом замысле, о том страшном, многоголовом чудовище, именуемом «Русью», которое из рода в род влечет и губит своих певцов. Но исполнение не соответствует замыслу. Книга «Русь», несмотря на присутствие в ней нескольких удачных стихотворений («Весна», «Золотой Спас», «Свирель в метелях»), строф и образов («дожди ушли столбами»; гроза «просвистела» дождями; «свирельный гимн по небу плыл и падал в тихие снега — на занесенные луга»), — лишена

цельности. В ней нет упорства поэтической воли, того музыкального единства, которое оправдывает всякую лирическую мысль; нет и упорства работы, которое заставляет низать кольцо за кольцом в целую цепь. Это — книга переходная, полунаписанная, а потому — достойная внимания только как страница биографии талантливого поэта» (Блок, т. 5, с. 649—650).

В настоящее издание не включены следующие стихотворения из книги «Русь»: «За Светланой», «Польша», «Нищая», «Между людьми», «Осенний Спас», «Ангел веселья», «Осенняя царевна», «Золотой Спас», «Осенний путь», «Пустая келья», «Божья зима», «Христова невеста», «Ковер-самолет», «Вифлеемская звезда», «Молитва», «Свирель в метелях», «Пичуга», «Страстная неделя», «Плащаница», «Похороны», «Рассказ св. Луки», «Синяя келья», «Благовещение», «Мать», «Последний приют», «Голубь», «Зори», «Вечерний прохожий», «Зной», «Васильки». Большинство стих., вошедших в книгу «Русь», впервые были опубликованы в ней; в этих случаях место первой публикации не указывается. Если стих. печатается по книге «Русь», это в примечаниях специально не оговаривается.

* **189.** «Литературно-художественные альманахи издательства „Шиповник"», кн. 2, СПб., 1907, с. 110, с четырьмя дополнительными строфами, заканчивавшими стих.; «Русь». Печ. по авториз. машинописи АСГ.

190. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

* **191.** «Образование», 1909, № 4-а, с. 126, в ранней редакции, в составе 13 строф. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Замуруды* — изумруды.

193. «Литературно-художественный альманах для всех», сб. I, ставе 13 строф. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

194. «Сатирикон», 1908, № 3, с. 10, под загл. «Весна (Степная)»; «Русь», под загл. «Весна». Печ. по авториз. машинописи АСГ.

195. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

196. В Ст. 1956, с незначительными вариантами и ошибочной датой «1910». Печ. по Ст. 1956, с. 63.

197. В Ст. 1956, без загл. Авториз. машинопись с датой «1908» — АСГ. В Избр. 1936 дата «1909», в Ст. 1956 — «1910».

198. «Сатирикон», 1909, № 4, с. 8.

199. В Ст. 1956, без загл. и с датой «1910». Авториз. машинопись с датой «1909» —АСГ.

200. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

201. «Сатирикон», 1908, № 8, с. 5, под загл. «Конь»; Ст. 1956, без загл. и с датой «1909». Авториз. машинопись с датой «1908» —

АСГ. А. В. Луначарский писал, что после революции 1905 г. Россия представлялась поэту «вымыслом убогим»: «Это „пленный конь", которому не вырваться из „крепких узлов"» (ЛН, с 46).

202. Печ. по Ст. 1956, с. 74. Авториз. машинопись — АСГ.

203. Авториз. машинопись — АСГ.

204. «Русское слово», 1909, 7 (20) июня. Авториз. машинопись — АСГ. *Мрежи* — рыболовные сети.

205. Печ. по Избр. 1936, с. 103. Авториз. машинопись — АСГ.

206. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

208. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

ИВА

Пятая книга стихотворений Городецкого, вышедшая между 9 и 15 октября 1912 г. (на титульном листе — 1913 г.). Книга имеет посвящение: «Анатолию Константиновичу Лядову с любовью и восхищением». Получив 15 октября 1912 г. книгу от Городецкого, Блок 11 ноября записал в «Дневнике»: «. . .вчера я читал «Иву» Городецкого, увы, она совсем не то, что с первого взгляда: нет работы, все расплывчато, голос фальшивый, все могло бы быть в десять раз короче, сжатей, отдельные строки и образы блестят самоценно — бо́льшая же часть оставляет равнодушие и скуку» (Блок, т. 7, с. 178). Но об «Иве» были и положительные отзывы. Так, В. Нарбут писал: «Ни в одной из предыдущих четырех книг Сергей Городецкий как поэт не проявлялся с такой убедительной четкостью, как в «Иве»... пятая книга является зеркалом, в котором отразились стремления поэта за довольно крупный (1908—1912 гг.) период времени, и знаменует собой завершение известного круга настроений. Необычайная любовь Сергея Городецкого к Древней Руси, его привязанность к неведомым медвежьим углам родины и соболезнование обиженным судьбою — роднят автора « Яри» с певцами, вышедшими непосредственно из глубин народных ... И досадно, — наряду с прекрасными стихотворениями, — встречать кое-где вымученные, еще захлестнутые мутью символизма пьесы. Но видно, что последний уж осужден Городецким, и в «Иве» играет роль чешуи, которую весною сбрасывает змея. Жизнь, насыщенная запахами, цветами и мощью чернозема — многогранное земное бытие властно пленило поэта» («Вестник Европы», 1913, № 4, с. 387—388). В другом журнале анонимный рецензент писал: «Сергея Городецкого невозможно воспринимать только как поэта. Читая его стихи, невольно думаешь больше, чем о них, о сильной и страстной и, вместе с тем, по-славянскому нежной, чистой и певучей душе человека, о том расцвете всех душевных и физических сил, который за последнее время начинают обозначать словом „акмеизм"» («Гиперборей», 1912, № 2, с. 25).

В настоящее издание не включены следующие стихотворения из книги «Ива»: «Сказ о святой горе»; «Мощи»; «Выход из церкви»; «Деревенская пасха»; «Стебель-свидетель»; «Странник мира»; «Петро-

градские видения»; «Келья Иоанна», «Печоры» (цикл «Новгород»); «Солнце светит, ой светит искристо...», «Умер? — Умер. Время уж такое...», «Было поле, продала и поле...», «Свет с печурки в избушке мерцает...» (цикл «Из хаты»); «Юродивый»; «Вскачь»; «Схимница»; «Москвитянка»; «Дама пик»; «Невеста»; весь цикл «В пене девятого вала» («Оборони нас, боже...», «На девятом валу...», «Я на этот желтый камень...», «Я цветами опьяню...», «Я была девчонкой тонкой...», «Уходи, если можешь...», «Рыбаки плывут с улова...»); весь цикл «Виринеи» («Высадка на берег», «Молитва Виру», «Вечерняя пляска», «Полуденная пляска», «Прощание с женами», «Беремя топят»); «Жертва вечерняя»; «Осенница»; «Звериный терем»; «Человек в лесу»; весь цикл «Вечера» («Тихий», «Темный», «Тайный»); «У древнего моря»; «Око, Спасе, недреманное...» (цикл «Наяда»); «Колыбельная» («Зыблемый зыбкой...»); весь цикл «Дети тьмы» («Большой, большой квадратный дом...», «Мы пьем — тогда мы только пьем...», «Кто тебя ранил, сестра?»); «Какая скорбь в вечернем свете...»; «Смерть»; «Сад»; весь цикл «По вечерам, вдвоем» («В зеленых кудрях...», «Неужели ты уходишь на страданье...», «В тучах скрытый темных...», «Томим любовью неминучей...», «Тобой целованные волны...», «В стаде сизых кобылиц...», «Мне кажется, что колесница...»).

Большинство стихотворений, входящих в книгу, впервые было опубликовано в ней, в этих случаях место первой публикации не отмечается, все тексты, кроме особо оговоренных случаев, печ. по книге «Ива».

209. «Литературно-художественный альманах современных писателей „Поток"», М., 1911, с. 43. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Скуфья* — бархатная шапочка, обычно знак отличия белого духовенства. *Плугари* — пахари.

210. «На рассвете. Художественный сборник», кн. 1, Казань, 1910, с. 8; «Изборник»; Избр. 1936. Печ. по Ст. 1956, с. 66. Авториз. машинопись — АСГ. В Избр. 1936 дата «1910». А. В. Луначарский, говоря о близости некоторых стихотворений Городецкого к некрасовским, заметил, что в «Нищей» «даже ритм некрасовский» (ЛН, с. 46).

211. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Корчага* — глиняный или металлический горшок. *Махотра, макитра* — большой широкий глиняный горшок, в котором трут мак, горох и т. п. *Щаной горшок* — глиняный горшок для приготовления щей.

212. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Лазаря запели* — известные в разных вариантах духовные стихи о Лазаре бедном (нищем).

213. «Русское слово», 1911, 18(31) октября, без последней строфы, в составе статьи С. Городецкого «Никитинский день в Воронеже». Печ. по авториз. машинописи АСГ. В октябре 1911 г., в пятидесятую годовщину смерти И. С. Никитина (1824—1861), в Воронеже ему был открыт памятник. Городецкий присутствовал на этом торжестве и в указанной выше статье писал: «Хочу и я прочесть стихотворение, написанное на заре. Посылают к губернатору цензуровать ... Когда возвращаюсь к памятнику, передают отказ городского головы в раз-

решении читать ... Памятник очень хорош (работы Шуклина)... Потихоньку, про себя, сказал я ему свои стихи». Блок записал в «Дневнике»: «Городецкий рассказывает, как смешно и трагично открывали памятник Никитину в Воронеже (он только что оттуда...)» (Блок, т. 7, с. 76). См. также вступ. статью, с 21—22.

214—216. «Русское слово», 1911, 10(23) апреля. 1. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *София* — выдающийся памятник древнерусского зодчества Софийский собор, построенный в Новгороде в первой половине XI в. *Рамена* — плечи. *По воле вечевой стихии.* Вече — общее собрание полноправных граждан в Древнем Новгороде, воплощавшее принцип народоправия в этой феодальной республике; вече обычно проходило очень бурно и нередко приводило к конфликтам в городе. *Корсунские врата* — бронзовый барельеф, исполненный в 1152—1156 гг. в Магдебурге и попавший в Новгород из Швеции в качестве военного трофея; находились на западном фасаде Софийского собора. *Спас* — икона «Спас нерукотворный».

2. *Обапол* — возле, около. *Вериги* — железные цепи, оковы, надеваемые на себя верующими «ради смирения плоти».

3. «Русское слово» и «Ива» — под загл. «По берегам» и без последней строфы. Печ. по правл. экземпляру «Ивы» АСГ, где рукой автора изменено загл. и дописана последняя строфа. *Концы* — так назывались районы Древнего Новгорода. *Ярославовы ряды* — Ярославово дворище, политический центр Великого Новгорода в XI—XV вв. *Беляки* — барашки на гребнях волн.

* **217.** «Вестник Европы», 1912, № 11, с. 118, в ранней редакции. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

218. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

219. Печ. по Ст. 1960, с. 91. В Избр. 1936 дата «1910»; в Ст. 1960—«1912»; в правленом экз. «Ивы» АСГ — «1913»; датируется по Избр. 1936. Авториз. машинопись без даты — АСГ.

220. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

222. В Ст. 1956 под загл. «На Волге» и с вариантами. Печ. по Ст. 1956, с. 68. Авториз. машинопись — АСГ.

224. Печ. по авториз. машинописи АСГ. Автограф — ИМЛИ.

225. «Русское слово», 1909, 23 августа (5 сентября).

226. «Русское слово», 1909, 13(26) сентября. Печ. по правленому экз. «Ивы» АСГ, с. 62.

227. «Русское слово», 1909, 28 октября (10 ноября). Положено на музыку Н. Черепниным.

228. «Русское слово», 1911, 30 ноября (13 декабря). В правленом экз. «Ивы» АСГ последние два стиха отчеркнуты и стоит помета:

«Переделать», однако, правки нет. *Смерд* — в Древней Руси — крестьянин; позднее это слово приобрело уничижительный оттенок: холоп, мужик.

229. *Грудень* — ноябрь, чаще — декабрь в старославянском календаре.

230. «Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859—1909», СПб., 1910, с. 264; «Ива»; Избр. 1936. Печ. по Ст. 1956, с. 64. Авториз. машинопись, с посвящением композитору А. К. Лядову (1855—1914) — АСГ. *Праща* — в старину боевое приспособление для метания камней.

231. *В Маньчжурии-земле* — отголосок русско-японской войны 1904—1905 гг.

232. «Новая жизнь», 1911, № 2, с. 3. *Акафист* — церковное песнопение, во время которого все прихожане должны стоять. *Анапест* — см. примеч. 519. *Паперть* — см. примеч. 188.

233. «Первый литературный альбом „Жатва"», М., 1911, с. 10. *Аллилуйя* — хвалебный припев в христианских церковных песнопениях (от др.-евр. «Халлелу ях» — «хвалите Яхве», т. е. господа). *Скуфья* — см. примеч. 209. *Аналой* — род пюпитра, подставка для книг и икон в христианской церкви. *Вериги* — см. примеч. 215.

235. «Ива», с посвящением: «Георгию Чулкову». Печ. по Избр. 1936, с. 109. *Чулков* Георгий Иванович (1879—1939) — поэт, критик и историк литературы.

236. «Новая жизнь», 1911, № 6, с. 3; «Ива», с посвящением «Борису Верхоустинскому». Печ. по Избр. 1936, с. 107. *Вий* — чудовище из украинских легенд, фантастический персонаж одноименной повести Гоголя. *«Подымите мне веки»* — слова Вия в этой повести.

237. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

238. Автограф — ЦГАЛИ.

239. «Новая жизнь», 1912, № 6, с. 83. Об этом стих., присланном автором в журнал «Современник», в письме к В. С. Миролюбову в сентябре 1911 г. отрицательно отозвался М. Горький, стоявший близко к редакции: «„Медведица тележкой гремя" — как это плохо, и вычурно, и неверно» (М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, М., 1955, с. 188), после чего редакция отвергла стих.

241. «Русская мысль», 1908, № 7, с. 38. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Наяды* (греч. миф.) — нимфы вод.

242. Автограф — ИМЛИ. *София В.* — С. И. Вышнеградская, музыкантша-любительница.

243. Печ. по правленому экз. «Ивы» АСГ, с. 103.

244. «Русское слово», 1912, 1(14) января, с примеч. автора: «Полуверки носят на груди серебряный круглый щит, называемый блястою. Поголовно упиваются ликвою, т. е. эфирной водкой». Автограф — ИМЛИ.

245. «Новый журнал для всех», 1912, № 5, стлб. 51. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Черница* — монахиня.

246—247. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

248. «Литературные приложения к „Ниве"», 1910, т. 3, стлб. 493. *М. А. Ведринская* — артистка Александринского театра в Петербурге.

249. *Полонянка* — женщина, взятая в плен. *Ушкуйник* — участник новгородских вооруженных отрядов (от слова «ушкуй» — особый тип быстроходной лодки). *Дергач* (или коростель) — луговая птица. *Ерусалим* — здесь: святая обитель. *Гать* — см. примеч. 65.

250. Сб. «Шестой гимназии — ее ученики. 17 апреля 1862 г. — 17 апреля 1912 г. Стихотворения», СПб, 1912, с. 16. *Погост* — кладбище. *Изок* — июнь в старославянском календаре.

252. Печ. по Ст. 1956, с. 79. Авториз. машинопись — АСГ.

253—254. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

255. СС I, с. 116, под загл. «Сосенка». Печ. по авториз. машинописи АСГ.

256. Печ. по авториз. машинописи АСГ, где датировано 1908 г.

258—261. 3. *Велес* (древнеслав.) — бог, покровитель скота.

262. В «Иве» с посвящением: «Георгу Трунну». Печ. по авториз. машинописи АСГ.

263—268. 1, 3, 5 и 6 — «Золотое руно», 1908, № 5, с. 27, в составе цикла «Простая сказка», состоящего из шести стихотворений под заглавиями: «1. Как я тебя встретил», «3. Что было раньше и что теперь», «5. Как ты мне мир подарила», «6. Как жизнь понять» (кроме того в этот же цикл входили стихотворения: «2. Как ты стала девушкой» и «4. Как мы в лесу были»).

2. «Земля», кн. 1, М., 1908, с. 283, под загл. «Березка». В полном виде и в другом составе цикл «Березка» — «Ива», с. 179. В АСГ хранится правленый экз. «Ивы», в котором стих 1 дано самостоятельное загл. «Березка»; стих. 2 также озаглавлено «Березка», в нем сделано два мелких исправления и надписано посвящение: «Н. А. Г.», а стих. 3 зачеркнуто. Однако эта авторская работа над циклом осталась незавершенной. В АСГ хранится также машинописный сб. стих. под загл. «Нимфа», подготовленный в 1947 г., в котором почти все стихотворения цикла исправлены вновь. Печ. по авториз. машинописному сборнику АСГ. Нимфа — «жена Городецкого, Анна Але-

ксеевна, прозванная в петербургских литературных кругах Нимфой за оригинальную красоту» (А. Дейч, День нынешний и день минувший, М., 1969, с. 302).

269—275. Весь цикл печ. по авториз. машинописному сборнику «Нимфа» (см. примеч. 263—268). *Наяды* — см. примеч. 241.

5. В авториз. машинописи АСГ выделено как самостоятельное стих. под загл. «Заря»; в правленом экз. «Ивы» АСГ двустишия 3—6 зачеркнуты.

6. «Новый журнал для всех», 1910, № 24, стлб. 5, под загл. «Вдвоем» и без ст. 6—7.

7. В авториз. машинописи АСГ выделено как самостоятельное стих. под загл. «Вечер»; в правленом экз. «Ивы» АСГ имеются наброски поправок к стих., но авторская правка здесь не завершена. *Зыбка* — колыбель.

276—279. 1. «Сборник товарищества „Прогресс“», т. 1, М., 1911, с. 187.

3. *Ток* — высокий прямой женский головной убор без полей.

280. В «Иве» без загл. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

281—285. 1. В правленом экз. «Ивы» АСГ стих. зачеркнуто.

2. В правленом экз. «Ивы» это и след. стих. выделены отдельно под загл. «Море». Эпиграф — из стих. поэта-символиста *В. Пяста* (1886—1940) «Одетая солнцем опушка...» (Вл. Пяст, Ограда. Книга стихов, СПб., 1909, с. 6).

3. См. выше. Печ. с учетом изменения последнего ст. в правленом экз. «Ивы» АСГ, где ранее было: «Человекобога близятся роды».

287—295. «Велес. Первый альманах русских и инославянских писателей», Пг., 1912, с. 107. В правленом экз. «Ивы» АСГ стих. 5 и 6 зачеркнуты. Стихотворения 1, 2, 3 и 7 печ. по авториз. машинописи АСГ; стихотворения 4 и 9 — по «Иве», с. 232, 238. Стих. 8 — в Избр. 1936, с вариантами и под загл. «Земля»; Ст. 1956 под тем же загл. и с новыми вариантами. Печ. по Ст. 1956, с. 76 с опущением загл. Авториз. машинопись всего цикла — АСГ.

3. *Рундук* — род ларя, крытая лавка с поднимающимся верхом. *Полавочье* — длинные лавки вдоль стен избы. *Опара* — кислое тесто на дрожжах или закваске.

8. *Бессчастный* — несчастный.

9. *Сечень* — февраль в старославянском календаре.

ЦВЕТУЩИЙ ПОСОХ

Шестая книга стихотворений Городецкого, вышедшая в свет между 24 апреля и 1 мая 1914 г., но работа над восьмистишиями начата была автором значительно раньше. Так, Блок еще 24 декабря 1911 г. записал в «Дневнике», что автор ему «читал хорошие восьмистишия»; об этом же запись от 5 января 1912 г.: Городецкий «читал стихи, некоторые хорошие — «восьмерки», как он называет» (Блок, т. 7, с. 108, 119). Название книги, возможно, было подсказано А. Бе-

лым — в «Воспоминаниях об Александре Блоке» Городецкий писал: «Долго искал он ⟨Блок⟩ объединяющего названия для новой книги. Помню, Белый на узеньком листике своим порхающим почерком набросал около десятка названий — было среди них: „Зацветающий посох“». К выходу книги Блок остановился на „Нечаянной радости“» («Печать и революция», 1922, № 1, с. 79). По-видимому, это название сохранилось в памяти Городецкого и через семь лет он использовал его, несколько изменив только смысл первого слова. Книга открывалась посвящением «Нимфе», т. е. А. А Городецкой (см. примеч. 263), и в нем, в частности, говорилось. «Эта вереница восьмистиший сложилась, за малыми исключениями, в 1912 и 1913 гг. ... Здесь отразился пережитый мною и многими в наши дни кризис мировоззрения, а именно символизма... Может быть иные строки этой книжки убедят в этом не одну тебя. По крайней мере, будучи именно акмеистом, я был, по мере сил, прост, прям и честен в затуманенных символизмом и необычайно от природы ломких отношениях между вещью и словом. Ни преувеличений, ни распространительных толкований, ни небоскребного осмысливания я не хотел совсем употреблять. И мир от этого вовсе не утратил своей прекрасной сложности, не сделался плоским». Выход книги был поддержан одним из столпов акмеизма, Н. Гумилевым, писавшим: «Поворотный пункт в творчестве поэта Сергея Городецкого — «Цветущий посох». Обладатель неиссякаемой певучей силы (и в этом отношении сравнимый только с Бальмонтом), носитель духа веселого и легкокрылого, охотно дерзающего и не задумывающегося о своих выражениях, словом, кудрявый певец из русских песен, он наконец нашел путь для определения своих возможностей, известные нормы, дающие его таланту расти и крепнуть» (Н. С. Гумилев, Письма о русской поэзии, Пг., 1923, с. 185—186). Резко отрицательно отозвался в своей рецензии на книгу поэт и критик Борис Садовский: «Мысль автора — дать непременно «вереницу восьмистиший»... отзывается надуманностью и обличает напряженность чисто литераторского изобретения. Восьмистишие вообще — труднейшая форма: это — миниатюра, в которую приходится уписать целую картину на клочке. Такой мастер слова, как Фет, лишь в самые последние годы жизни прибегал к восьмистишию, причем ему удалось создать всего несколько шедевров... На примере же г. Городецкого мы видим, что недостаточно одной внешней формы для того, чтобы заставить книгу жить» («Северные записки», 1914, № 5—6, с. 175).

Эпиграф к первому разделу книги, как отмечено самим автором на принадлежащем ему экземпляре (АСГ), — из стихотворения его отца — М. И. Городецкого; ко второму разделу — из стихотворения Пушкина: «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...» и к третьему разделу — из стихотворения Лермонтова «Воздушный корабль» (у Лермонтова: «Другие ему изменили»).

В настоящее издание включены лишь некоторые из восьмистиший, входивших в «Цветущий посох». Большинство из них впервые было опубликовано в этой книге и больше не перепечатывалось. В этих случаях место первой публикации и источник, по которому текст печатается в настоящем издании, в примечаниях не оговариваются.

296. В качестве вступления к «Цветущему посоху».

297. В Ст. 1956 с вариантами. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

298. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

299—300. «Современник», 1913, № 7, с. 30, 29. *Ведовство* — колдовство.

301. «Современник», 1913, № 7, с. 30. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

302—303. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

304. «Современник», 1913, № 7, с. 29.

305. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

309. «Русская мысль», 1914, № 1, с. 166. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

310. Печ. по Избр. 1936, с. 136.

312—313. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

314. Печ. по авториз. машинописи АСГ. В оглавл. БСП: «Я прожил несколько счастливых жизней».

315. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

316—317. «Северные записки», 1914, № 7, с. 104, 105. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

318—* 319. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

320. «Огонек», 1914, № 16, с. 3; Ст. 1956. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Лядов А. К.* — см. примеч. 230. *Нимфа* — см. примеч. 263—268.

321. «Русская мысль», 1914, № 1, с. 166.

322. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

325. В Ст. 1956 с вариантами. Печ. по Ст. 1956, с. 116. *Мать* — Екатерина Николаевна Городецкая, урожд. Анучина (1845—1920). Вспоминая о ней, автор писал: «Мать ... получала комплименты от Тургенева, когда обрезала буйные косы и надела очки на ясные глаза. Потом дружила с одной из жертв „слепцовской коммуны"» («Мой путь», с. 320).

326. В Ст. 1956 с вариантами. Печ. по Ст. 1956, с. 102. Написано в связи со смертью Л. Н. Толстого.

328. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Владимир Пяст* — см. примеч. 281.

329. Печ. по Ст. 1964, с. 146. *Щепкина-Куперник* Татьяна Львовна (1874—1952) — поэтесса и переводчица.

330. «Гиперборей», 1913, № 5, с. 14, где последний ст.: «Что верен вечности и мигу». *Мандельштам* Осип Эмильевич (1891—1938) — советский поэт. *Квадрига* — двухколесная колесница у древних римлян, с упряжкой из четырех лошадей.

331. «Гиперборей», 1913, № 5, с. 12.

333. В «Цветущем посохе», с посвящением: «Девушке»; Ст. 1956. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД

Седьмая книга стихотворений Городецкого, вышедшая в свет между 1 и 7 января 1915 г. Вспоминая о ней позже, автор писал: «Когда началась первая мировая война, я был захвачен ура-патриотическим угаром... написал и стихи о верноподданнической демонстрации перед Зимним дворцом в день объявления войны» («Мой путь», с. 326). Но вместе с тем Городецкий не отвергал все стихи, вошедшие в эту книгу. В той же автобиографии он писал: «Живые до сих пор строки я написал в день героической гибели авиатора Нестерова», а стих. «Буй-Роман» перепечатал в «Сев. сиянии». Книга почти единодушно была осуждена критикой. Например, рецензент М. Долинов писал: «Стихи неубедительны и напоминают прозаические рассуждения на патриотические темы» («Петроградские вечера», кн. 4, Пг., 1915, с. 235). В АСГ хранится экз. книги «Четырнадцатый год» с небольшими авторскими исправлениями отдельных стихотворений.

В настоящее издание не включены следующие стихотворения из этой книги: «Четырнадцатый год», «Явление народа», «Подвиг войны», «Сретение царя», «Женщинам», «Прилет англичан», «Русская рать», «У Казанской», «Солдатка», «Сестрица», «Раненый», «Царьград», «Не диво», «Червонная Русь», «Воротарь», «Поп Иван и попадья», «Карпаты», «Россия». Большинство стихотворений, вошедших в книгу, впервые было опубликовано в ней; в этих случаях место первой публикации не указывается. За исключением оговоренных случаев, стихотворения печатаются по книге «Четырнадцатый год».

* **334.** Печ. по авториз. машинописи АСГ. Автограф — АСГ. *Нестеров* Петр Николаевич (1887—1914) — выдающийся военный летчик, в 1913 г. первым выполнивший «мертвую петлю». 26 августа (8 сентября) 1914 г. впервые применил в воздушном бою таран и при этом погиб.

336. Автограф — АСГ.

* **337.** Печ. по «Сев. сиянию», с. 32. Небольшие варианты — в правленном экз. книги «Четырнадцатый год». Авториз. машинопись — АСГ. *Князь Роман* (ум. 1205) — Роман Мстиславич, князь Галицко-Волынского княжества в период его подъема. *Велемудрый* — много-

мудрый. *Вои* — воины. *Волшба* — колдовство. *Нестор* — русский духовный писатель и летописец XI — начала XII вв.

* 338. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Даниил* — Даниил Галицкий (1201—1264), старший сын Романа Мстиславича (см. примеч. 337), князь Галицко-Волынского княжества, выдающийся политический и военный деятель. *Вторым по Соломоне* — т. е. по уму уступал только Соломону, знаменитому библейскому мудрецу — так говорится о Данииле в Ипатьевской летописи. *Волхвованье* — колдовство. *Авдий* — упоминаемый в Ипатьевской летописи художник и скульптор, расписавший и украсивший церковь Иоанна Златоуста в столице Галицко-Волынского княжества г. Холме. *Вежа... до небес* — деревянная башня на каменном фундаменте высотой в 15 локтей, поставленная при Данииле в Холме; она господствовала над городом и, по словам летописца, «светилась на все стороны»; вокруг нее Даниилом был разбит огромный сад. *Корону на себя наденьте... римский папа Иннокентий.* Здесь Городецкий соединил два разных исторических факта: папа Иннокентий III предлагал корону Роману Мстиславичу, который от нее отказался; папа же Иннокентий IV предложил корону Даниилу, и он ее принял, став королем.

АНГЕЛ АРМЕНИИ

Восьмая книга стихотворений Городецкого, вышедшая в 1918 г. в Тифлисе, объединила стихотворения, написанные в апреле — июне 1916 г.; только одно из них («Ангел Армении») относится к январю 1918 г. О происхождении этой книги автор рассказывал: «Не будучи призван, я ... поехал на Кавказский фронт ... Меня направили в город Ван, в Турецкую Армению, и там, видя нищету и разорение, собирая сирот на дорогах, где белели затоптанные в прах кости армянского народа, я начал освобождаться от империалистических иллюзий» («Мой путь», с. 32{}). Позже Городецкий писал: «Я считаю себя продолжателем славного дела Валерия Брюсова. Он еще более подружил Россию с Арменией. Я укрепил эту дружбу стихами и работой на фронте» (сб. «Дружба», т. 2, Ереван, 1960, с. 325). Книга посвящена великому армянскому поэту *Ованесу Туманяну* (1869—1923), о котором Городецкий вспоминал: «На мое творчество Ованес Туманян «повлиял» во всю меру нашей личной с ним дружбы. Он меня звал к эпической поэме большого масштаба на базе народного эпоса. В те трудные годы я мог откликнуться только поэмой «Шофер Ладо» ⟨т. е. «Шофер Владо»⟩ на текущие тогдашние темы. Похваливая, он ласково меня упрекал, что это все же не всенародная русская эпическая поэма» (сб. «Дружба», т. 1, Ереван, 1960, с. 98). Преподнося Ованесу Туманяну экземпляр книги «Ангел Армении», Городецкий сделал на ней такую дарственную надпись: «Вам, светлый друг, я посвятил эту книгу не только потому, что я до корня сердца очарован Вашей личностью, но и потому, что Ваше имя — это идея, прекрасная идея армянского воскресения в дружбе с моей родиной» (цит. по ст.: Р. Погосян, Старейший мастер «цеха поэтов». — «Лит. Армения», 1964, № 3, с. 67). По словам А. В. Луначарского, некоторые из стихотворений «Ангела Армении» «болезненно сжимают сердце читателя» (ЛН, с. 46).

В настоящее издание не включены два стихотворения: «Душевнобольная» и «Панихида».

* 339 «Армянский вестник», 1916, № 14, с. 4, под загл. «Армении» и с дополнительной первой строфой; «Ангел Армении», с вариантами; Избр. 1936, под загл. «Армения», без первой строфы, с новыми вариантами; Ст. 1956. Печ. по авториз. машинописи АСГ. Позже Городецкий вспоминал, что это стих. он написал и принес О Туманяну 13 апреля 1916 г. (сб. «Дружба», т. 2, Ереван, 1960, с. 320).

* 340. «Ангел Армении», с. 7; Ст. 1956 Печ. по авториз машинописи АСГ. *Арчак* — название села в Армении. *Сипан* — название горы. *Айастан* — древнее название Армении.

341. «Армянский вестник», 1916, № 21, с 10. Печ. по кн. «Ангел Армении», с 9. *Ван* — город на восточном берегу озера Ван в турецкой части Армянского нагорья. В 1915 г. армянское население Вана было истреблено младотурками.

342. «Ангел Армении», с. 12. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

* 343. «Армянский вестник», 1916, № 21, с. 10, со строфой седьмой, исключенной в Избр. 1936. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

344. «Армянский вестник», 1916, № 21, с. 10; Избр. 1936. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Курды* — ираноязычный народ, живущий в Турции, Иране и других странах Ближнего Востока, а также (небольшими группами) в Армении и Грузии.

345. «Армянский вестник», 1916, № 21, с. 11, под загл. «Где они?». Печ. по кн. «Ангел Армении», с. 17.

346. «Армянский вестник», 1916, № 25, с. 9: Избр. 1936. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

* 347. «Армянский вестник», 1916, № 25, с. 10; Ст. 1956, без одной строфы. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

348. «Армянский вестник», 1916, № 25, с. 10. Печ. по кн. «Ангел Армении», с. 27. *Масис* — древнее название горы Арарат. *Сипан* — см. примеч. 340. *Ахтамар* — остров на озере Ван со старинной церковью. *Айастан* — см. примеч. 340.

СЕРП

Двенадцатая книга стихотворений Городецкого, вышедшая в июне 1921 г. и в общем довольно сочувственно принятая критикой. В рецензии П. Анапского, между прочим, было сказано: «Книга эта — сплошной гимн советской власти, «Серпу и Молоту и Труду» ... В этой книге уже сказался яркий певец пролетарской революции, впитавший в себя тончайшие изгибы новой эпохи» («Советский юг», 1921, 29 октября). И. Оксенов также считал, что «развертывающаяся ныне великая социальная борьба» воспринята автором горячо и пере-

дана «местами с подлинным пафосом». Вместе с тем, по мнению рецензента, «в иных местах чутье изменяет поэту, или же у него не хватает поэтического напряжения, и, вместо огненных слов, выходят бледные трафареты» («Книга и революция», 1922, № 3(15), с. 73). Наконец, Брюсов в обзоре «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии», отнес Городецкого к числу «тех, которые нашли в себе живой отклик на современность. Его стихи — шаги вперед, а не топтанье на месте, именно в том, что он взялся за новые темы («Серп», 1921, стихи в бакинских изд. и др.). В технике творчества для самого Городецкого ново, что он усвоил себе некоторые приемы, прежде ему чуждые (напр. свободный стих Верхарна), но в целом она осталась старой техникой символистов. С. Городецкий в этом не перешагнул через самого себя, а местами не вышел даже из того стихотворного фельетона, который губил целый период его творчества. Спасительность разрыва с символизмом сказалась только в способности влить свою поэзию в жизненное русло наших дней» («Печать и революция», 1922, кн. 7, с. 51).

В настоящее издание не включены следующие стихотворения из книги «Серп»: «Энергон», «Деревенская коммуна», «Борису Верхоустинскому» (см. книгу «Грань»), «Красная армия».

Первые публикации большинства стихотворений, входящих в книгу «Серп», были сделаны, по-видимому, в закавказской периодике тех лет (Тифлис, Баку), практически не сохранившейся (известны лишь разрозненные экземпляры). В этих случаях мы ограничиваемся указанием на публикацию стихов в «Серпе».

349. «Серп», с. 3, в качестве вступления к книге.

350. «Серп», с. 8, без ст. 13, 48—50. Печ. по Избр. 1936, с 185. Автограф и совпадающий с ним текст в правленном экз. «Серпа» — АСГ. Авториз. машинопись — АСГ. *Крез* — царь Лидии (ок. 558—529 до н. э.), обладатель несметных богатств; имя Креза стало нарицательным обозначением богача.

*** 351.** «Серп», с. 11, с иным окончанием стих. Печ. по Избр. 1936, с. 183. Черновой и беловой автографы редакции «Серпа» под загл. «Орфеи Севера» — АСГ; совпадающие с ними по тексту две авториз. машинописи — АСГ и ГЛМ. *Орфей* (греч. миф.) — певец и музыкант, покорявший своим чудесным искусством всю живую и неживую природу.

*** 352.** «Серп», с. 14, с иными начальными строками; Избр. 1936. Печ. по Ст. 1956, с. 169. Две авториз. машинописи редакции «Серпа» — АСГ; в правленом экз. «Серпа» АСГ эти начальные строки вычеркнуты; отсутствуют они и в двух других авториз. машинописях АСГ.

*** 353.** «Серп», с. 16, под загл. «Концессии», другая редакция; Избр. 1936; Ст. 1956. Печ. по «Сев. сиянию», с. 64. Черновой (ЦГАЛИ) и беловой (АСГ) автографы первой редакции содержат иное окончание стих. Авториз. машинопись этой редакции с небольшими вариантами — АСГ. В правленом экз. «Серпа» АСГ стих. озаглавлено «Леса», исправлены отдельные стихи и дано новое окончание. Авториз. машинопись (редакция Избр. 1936) с новыми вариантами — АСГ.

В Ст. 1956 еще раз изменено окончание стих., снятое при подготовке «Сев. сияния». Датируется по беловому автографу. *Сохатый* — лось. *Стожары* — народное русское название созвездия Плеяд.

354. «Серп», с. 23. Печ. по позднейшей авториз. машинописи АСГ. В правленом экз. «Серпа» АСГ — небольшие исправления; в АСГ хранится ранняя авториз. машинопись без последних четырех строк, вместо которых от руки приписано: «Говорит он: не след На Советы крестьянские лаяться». *Вифлеем* — город неподалеку от Иерусалима, по библейским легендам — место рождения Иисуса Христа.

***355.** «Серп», с. 28, с четырьмя дополнительными строками между ст. 33 и 34; Избр. 1936. Печ. по Ст. 1956, с. 164. Датированная авториз. машинопись ранней редакции — АСГ, в ней другое окончание стих., зачеркнутое автором.

***356.** «Красный балтиец», 1920, № 3, стлб. 31, другая редакция, где стих. состоит из трех главок (первую главку составляет публикуемое стих.); Избр. 1936, без главки 2, с сокращением второй части главки 3; Ст. 1956, с вариантами. Печ. по «Сев. сиянию», с. 69. Автографы первой главки под загл. «Волга», второй и третьей главок — под общим загл. «Военмор» — АСГ. В правленом экз. «Серпа» (АСГ) вся вторая главка и вторая часть третьей вычеркнуты. Авториз. машинопись (редакция Ст. 1956) — АСГ. *Осередок* — мель среди реки, подводный остров.

357. «Пламя», Пг., 1920, № 15, с. 9. Печ. по Ст. 1956, с. 146. Две авториз. машинописи — АСГ. *Амбáлы* — персидские грузчики. *Хайям* Омар (ок. 1040—1123) — персо-таджикский поэт и философ. *Кальян* — восточный курительный прибор. *Кашемир* — правильнее Кашмир — княжество в Центральной Азии, на севере Индостанского полуострова, центр шелковой промышленности.

***358.** «Серп», с. 40, под загл. «Рис», другая редакция (без строфы 6, а после строфы 8 дополнительная строфа и варианты); «Путь МОПР'а», 1928, № 19, с. 16, под загл. «Персидский крестьянин», с иной последней строфой; Избр. 1936, под загл. «Восточный крестьянин» и с вариантами; Ст. 1956, где последний ст. изменен: «Есть надежный друг — Москва». Рецензент этого издания Д. Молдавский высказал сомнение в целесообразности исправления старого текста («Звезда», 1957, № 4, с. 207), и в Ст. 1960 автор вернулся к тексту Избр. 1936. Печ. по Ст. 1960, с. 169. *Амбал* — см. примеч. 357.

359. «Пламя», 1920, № 17—18, с. 11; Избр. 1936. Печ. по Ст. 1956, с. 142. Один автограф — ЦГАЛИ, второй — АСГ; авториз. машинопись — АСГ. Датируется по беловому автографу АСГ. *Сабунчи* — нефтяной район в 12 км от Баку, сейчас в черте города. *Зограф* — иконописец. *Туберкул* — здесь. туберкулез.

***360.** «Серп», с. 45, в составе шести строф. Печ. по Ст. 1956, с. 140. Один автограф (текст «Серпа») — ЦГАЛИ, второй — АСГ; авториз. машинопись этой редакции — АСГ. Датируется по автографам. *Илоты* — здесь: рабы, от названия земледельческого племени,

проживавшего на территории древней Спарты и покоренного дорянами.

* 361. «Серп», с. 47, с еще одним двустишием после пятого. Печ. по Ст. 1956, с. 148. Автограф АСГ содержит дополнительные строки, позже зачеркнутые. Авториз. машинопись, совпадающая с «Серпом», но с некоторыми вариантами — АСГ. А. В. Луначарский писал, что «Город на заре» «дает нам тот Баку, каким он слит с нашей революционной действительностью» (ЛН, с. 46).

* 362. «Понедельник» (Баку), 1920, 5 января; Избр. 1936; Ст. 1956, без строфы 7. Печ. по «Сев. сиянию», с. 60. Черновой автограф ранней редакции — АСГ; автограф и авториз. машинопись, совпадающие по тексту с первой публикацией, — ЦГАЛИ; на автографе — дарственная надпись: «Наталии Александровне Розенель с приветом тому из прекрасного в ней, что есть и в этой яванке. Сергей Городецкий. 8/III-925». Еще одна авториз. машинопись той же редакции — АСГ; авториз. машинопись (текст Избр 1936) — АСГ; авториз. машинопись с иной редакцией строфы 7 — АСГ; правленный экз. «Серпа» АСГ с рядом поправок. В автобиографии Городецкий вспоминал: «В декабре 1919 года я прочитал в кабачке стихотворение «Кофе» про остров Яву, вскоре переведенное на английский, французский и голландский языки» («Мой путь», с. 327). В частности, известно, что на французский язык стих. было переведено А. Барбюсом. На основании этого воспоминания и даты чернового автографа стих. датируется 13 декабря 1919 г. А. В. Луначарский отметил, что «Кофе» — «стихотворение значительное, полное сдержанного гнева и вместе с тем пленительное» (ЛН, с. 46).

МИРОЛОМ

Тринадцатая книга стихотворений Городецкого, вышедшая в первой половине февраля 1923 г. Критика встретила книгу довольно разноречиво. Так, анонимный рецензент в «Бюллетене книг» писал: «И в умелом старорусском стиле автора, подчас довольно удачно обряжающем злободневный сюжет, и в изысканной рифмовке, и в его стихотворениях в стиле «омужиченного», «русифицированного» Маяковского — смотрит на вас не певец революции, а профессиональный литератор, взявшийся за очередную тему», и из всего сказанного делал неожиданный вывод: это «скорее агитационная, чем строго художественная книга» («Бюллетень книг», 1923, № 4, стлб. 56). Иначе оценил книгу Н. Изгоев: «Уже с 1920 г. Сергей Городецкий перешел в советский лагерь, стал писать о революции, воспевать ее. Больше того, сейчас он уже стоит в рядах тех поэтов, которые не только воспевают революцию, но и активно участвуют в советском строительстве ... Много тщательно отделанных, стройных красочных стихов в книге, да одного очень, очень важного не хватает: не чувствуешь того, о чем говорит поэт ... Сергей Городецкий знает, видит наш быт. Он слился с нашим бытом. Но мы знаем об этом не из его творчества, выраженного в „Мироломе“» («На посту», 1923, № 1, стлб. 173—176). Очень высоко была оценена книга в анонимной рецензии, опубликованной в «Известиях»: «Сергей Городецкий — один из не-

многих поэтов старшего поколения, не только стоящий на «советской платформе», но и целиком приемлющий коммунистическую идеологию революционного пролетариата ... Звучны, четки, образны и сильны стихотворения «Европа», «Набат», «Метель» ... Пленительно молодое, свежее и светлободрое стихотворение «Индия» ... Великолепны также «Русь» и «Красномосковье». В стихах т. С. Городецкого доподлинная современность; он отразил город сегодняшнего дня, его «настроения», его дыхание, и лейтмотив, основной тон этой отраженной поэтом современности — пролетарская революция, суровая, грозная и в то же время солнечная и весенне-ликующая» («Известия», 1923, 27 февраля). Много позже А. В. Луначарский оценил ряд стихотворений этой книги, связанных с темой Руси, как цикл «восторженных приветствий и признаний в любви к новой России» (ЛН, с. 46).

В настоящее издание не включены следующие стихотворения из книги «Миролом»· «Я жил, и умер, и возник...», «Камушек», «Былинка», «Русь» («Ты простись с тоскливой дремой...»), «Нева», «Баку», «Набат», «Поэма о русском ребенке», «Пьяный», «Телеграфист», «Вечер», «Наш ребенок», «Дети», «Крыса», «Весна», «Усталому», «Полночь», «Филе по-русски», «Сумерки», «Зима», «Москва», «Крематорий». Первые публикации большинства стихотворений этой книги были сделаны, по-видимому, в газетах 1919—1922 гг. и остались нами не разысканными, — в этих случаях мы ограничиваемся указанием на публикацию стих. в «Мироломе».

363. «Миролом», с. 6. Печ. по Ст. 1960, с. 271. Автограф — ЦГАЛИ; авториз. машинопись — АСГ.

* **364.** «Миролом», с. 18; Избр. 1936; Ст. 1956. Печ. по «Сев. сиянию», с. 75. Черновой автограф — АСГ.

* **365.** «Миролом», с. 21, другая редакция в составе 21 строфы. Печ. по Избр. 1936, с. 262. В правленом экз. «Миролома» АСГ 8 дополнительных строф зачеркнуты. *Солнышко Владимир пригвоздил тебя к кресту.* Владимир Святославич (ум. 1015), великий князь киевский, ок. 989 г. ввел на Руси христианство. *Голгофа* — холм в окрестностях Иерусалима, где, по преданию, был распят Христос; в переносном смысле — место казни вообще.

* **366.** «Красная новь», 1922, № 1(5), с. 312, другая редакция в составе 20 строф. Печ. по «Сев. сиянию», с. 88. *Лабаз* — торговое помещение, обычно на базаре. *Мерзавчик* — рюмка или маленькая бутылка на 100 граммов водки.

367. «Миролом», с. 33.

368. «Миролом», с. 41, под загл. «Метель» и с дополнительной строфой. Печ. по «Сев. сиянию», с. 91. *Остья* — щетинистые усики колосовых растений.

* **369.** «Миролом», с. 43, под загл. «Жертва». Печ. по правленому экз. «Миролома» АСГ. Датированный автограф ранней редакции — ГБЛ, с дополнительной строфой после шестой и без последней строфы.

370. «Миролом», с. 55. *Сочельник* — день накануне Рождества.

371. «Миролом», с. 69. *«Коль славен...»* — молитвенный гимн, мелодию его до революции отбивали колокола Спасской башни Кремля.

372. «Миролом», с. 81. В АСГ сохранился оттиск этого стих. с зачеркнутым загл. «К солнцу».

* 373. «Миролом», с. 87, другая редакция с дополнительной строфой после третьей. Печ. по Ст. 1956, с. 155. Две авториз. машинописи этой же редакции — АСГ (во второй дополнительная строфа зачеркнута автором).

ИЗ ТЬМЫ К СВЕТУ

Книга вышла между 24 и 30 января 1926 г. В настоящее издание не включены следующие стихотворения из нее: «Рассказ старика про 1905 год», «Детский дом», «Микитка», «Мать», «Рассказ медного крестика», «Попова пря», «Обновление куполов».

374. «Из тьмы к свету», с. 3. *Казенка* — см. примеч. 65.

* 375. «Из тьмы к свету», с. 8, другая редакция. В первой публикации, Ст. 1960, Ст. 1964 были дополнительные стихи. Печ. по «Сев. сиянию», с. 112.

* 376. «Из тьмы к свету», с. 10, другая редакция; Избр. 1936. Печ. по «Сев. сиянию», с. 10. Авториз. машинопись первой редакции — ИМЛИ; авториз. машинопись редакции Избр. 1936 — АСГ. В первой публикации, Избр. 1936, Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, БСП были дополнительные строфы.

377. «Из тьмы к свету», с. 12.

* 378. «Из тьмы к свету», с. 17, другая редакция. Печ. по «Сев. сиянию», с. 105. В первой публикации, Ст. 1960, Ст. 1964, БСП после ст. 12 были дополнительные строки. Авториз. машинопись, под загл. «Селькор» и с иной редакцией второй половины стих. — АСГ.

ГРАНЬ

Книга вышла в конце сентября 1929 г. с посвящением дочери поэта Рогнеде (по мужу Рети).

В настоящее издание не включены следующие стихотворения из этой книги: «Notturno», «Немота», «Николаю Гумилеву», «Александру Ширяевцу» («Отбивая с ног колодки...», «Я не могу, — да и никто не может...», «Прадедам рассекали спины...», «Когда мы волокли к могиле...»), «Андрею Соболю», «Могила поэтов», «Из быта», «Пытка».

379. «Грань», с. 9, в качестве вступления к книге.

380. «Грань», с. 13 Печ. по «Сев сиянию», с. 43. Черновой автограф — ЦГАЛИ; авториз. машинопись — АСГ. *Нирвана* — состояние высшего блаженства в буддийской религии, достигаемое путем отказа от всех забот и желаний. *Голгофа* — см. примеч. 365.

381. «Ars», Тифлис, 1919, № 1, с. 42, под загл. «Рояль», с посвящением Н. Н. Черепнину и в иной редакции последних трехстиший; Избр. 1936; Ст. 1960, с подзагол. «Сонет». Печ. по Ст. 1960, с. 192. Черновой автограф с датой «Сентябрь 1918», без загл. — ЦГАЛИ. Автограф в редакции близкой к «Ars'y», но под загл. «Арфа», без посвящения и с датой «24 октября» — ЦГАЛИ; две авториз. машинописи редакции Избр. 1936 — АСГ. *Фиал* — кубок. *Вега* — или альфа в созвездии Лиры — одна из наиболее ярких звезд северного полушария неба

382. «Грань», с. 15. Авториз. машинопись — АСГ.

383. «Грань», с. 18. Черновой автограф — ЦГАЛИ, авториз. машинопись — АСГ.

* 384. «Грань», с. 20, с дополнительной первой строфой. Печ. по «Сев. сиянию», с. 35. Черновой и беловой автографы (текст «Грани») — ЦГАЛИ; авториз. машинопись — АСГ.

385. «Акмэ», Тифлис, 1919, с. 17, под загл. «Бессмертие» и с вариантами; «Грань», под тем же загл. и с новыми вариантами. Печ. по «Сев. сиянию», с. 45. Авториз. машинопись (текст «Грани») под загл. «Бессонница» — АСГ.

386. «Акмэ», Тифлис, 1919, с. 18. Черновой автограф без загл. и с датой «2 февраля 1919 г.» — ЦГАЛИ.

387. «Грань», с. 25. Автограф с вариантами — АСГ.

* 388. «Грань», с. 26; Ст. 1956. Печ. по «Сев. сиянию», с. 83. В «Грани», Избр. 1936, Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964 и БСП после строфы 4 имелась еще одна. *Китеж* — сказочный русский город, по легенде опустившийся в озеро во время нашествия татар, чтобы не стать добычей врага. На сюжет этой легенды написана опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и о деве Февронии».

389. «Новый мир», 1922, № 1, стлб. 12 и сб. «Памяти проф. Н. Е. Жуковского», М., 1922, с. 23; «Грань». Печ. по Ст. 1964, с. 107. В сб. «Памяти проф. Н. Е. Жуковского» датировано 13 марта 1916 г., в «Грани» — 1920 г.; в правленом экз. «Грани» АСГ дата вновь переделана на 1916 г; то же — в двух авториз. машинописях АСГ. Н. Е. *Жуковский* (1847—1921) — основоположник гидро- и аэродинамики *Чистые пруды* — бульвар в Москве, недалеко от него, в Мыльниковом переулке (ныне ул. Жуковского), д. 6, жил Н. Е. Жуковский. *Часы без боя*. Купив стенные часы с боем, Н. Е. Жуковский снял с них «боевую» пружину и удовлетворенно сказал: «Ну, теперь пусть звонят». *Ной* — библейский патриарх, родоначальник нового человеческого рода после всемирного потопа.

390. «Грань», с. 36. Авториз. машинопись АСГ имеет примеч.: «Юнгер В. А. (1883—1921) — поэт, автор книги «Песни полей и комнат», СПб., 1912, переводчик „Калевалы"». *«Мальва»* — рассказ М. Горького. *Иматра* — водопад на р. Вуоксе в Финляндии.

391—392. 1. «Грань», с. 38. Автограф и авториз. машинопись — АСГ. *Незнакомка* — героиня цикла стихотворений Блока «Незнакомка».

* 2. Сб. «Стык», М., 1925, с. 63, другая редакция, в частности после строфы 7 была еще одна. Печ. по «Грани», с. 40. Автограф редакции «Стыка» под загл. «Встреча» и авториз. машинопись без загл. — АСГ. *Мамед Эмин* — правильнее: Мехмед Эмин (1869—1944) — турецкий писатель; его переводы Блока неизвестны.

393. «Пламя», Пб., 1920, № 13—14, с. 4. Печ. по «Серпу», с. 26. *Верхоустинский* Борис Александрович (1889—1919) — писатель. *Кресты* — тюрьма в Петербурге, где в августе — сентябре 1907 г. сидел Городецкий (см. примеч. к «Дикой воле», с. 570). *В триста восемьдесят пятой* — номер камеры в Крестах. *Маловишерские села* — села под г. Малая Вишера Новгородской обл.

* **394.** Сб. «Стык», М., 1925, с. 74; «Грань», с эпиграфом: «Где направо скалы в грядущее, Где налево пропасть в прошедшее. Валерий Брюсов» и вариантами. Печ. по «Сев. сиянию», с. 103. Во всех источниках до «Сев. сияния» была еще одна, заключительная строфа. Авториз. машинопись — АСГ. *Эпод* — в древнегреческой трагедии заключительная часть гимна, исполняемая хором перед жертвенником. *Эдгар По* (1809—1849) — американский писатель, в творчестве которого видное место заняли так называемые «новеллы ужасов». *Верлен Поль* (1844—1896) — французский поэт. *Но Врубелем в тончайший контур...* Врубелю М. А. (1856—1910) принадлежит живописный портрет Брюсова. *Рутения* — Русь (от позднелатинского Ruthenia). *Борей* — у древних греков название холодного северо-восточного ветра.

395. Сб. «Стык», М., 1925, с. 68; «Грань». Печ. по «Сев. сиянию», с 116. Авториз. машинопись — АСГ. *Велимир Хлебников* — Виктор Владимирович Хлебников (1885—1922) — советский поэт, много занимавшийся словотворчеством с уклоном к «заумной» речи. *Урус-дервиш.* Урус — русский, дервиш — странствующий мусульманский монах — так называли Хлебникова в Персии, где он был в 1921 г. (см. поэму В. Хлебникова «Труба Гуль-муллы»). *В будой людьбе* — в будущем человечестве; *будетляне* — люди будущего (неологизмы Хлебникова).

396. «Грань», с. 59. Печ. по Ст. 1956, с. 246. Авториз. машинопись — АСГ. Об отношениях Городецкого с С. А. *Есениным* (1895—1925) см. вступ. статью, с. 31.

397. «Грань», с. 61; Избр. 1936. Печ. по Ст. 1956, с. 244. *Иргаш* — правильнее Иргиз (Большой и Малый) — реки в Самарской и Саратовской губерниях, в тех местах, где Д. А. Фурманов воевал в Чапаевской дивизии.

398. «Новый мир», 1926, № 11, с. 105; Ст. 1956. Печ. по «Сев. сиянию», с. 129. Авториз. машинопись — АСГ.

399. «Красная новь», 1926, № 6, с. 136, без посвящения и без строфы 12, появившейся в «Грани». Печ. по Избр. 1936, с. 229. Автограф и авториз. машинопись — АСГ. *Рогнеда Г(ородецкая)* — дочь поэта. *Орловский дом* — барский дом прадеда поэта Н. Д. Анучина в Орле. *Лутовиновская ведьма* — мать И. С. Тургенева, Варвара Петровна, урожд. Лутовинова, владелица имения Спасское-Лутовиново, недалеко от которого было имение Н. Д. Анучина. *Парадиз* (лат.) — рай.

400. «Красная нива», 1926, № 40, с. 3. Печ. по «Грани», с. 78. Авториз. машинопись — АСГ.

* **401.** «Красная новь», 1926, № 12, с. 142, с дополнительными строфами; Ст. 1956, с вариантами и сокращениями. Печ. по «Сев. сиянию», с. 122. *Рязанский страдалец* — Сергей Есенин. *Увей* — затененная опушка леса. *Ширяевские... соловьи.* Речь идет о стихах Ширяевца. Ширяевец — псевдоним поэта А. В. Абрамова (1887—1924).

* **402.** «Новые стихи», сб. 2, М., 1927, с. 20, другая редакция; «Грань». Печ. по Ст. 1956, с. 242. Автограф ранней редакции («Новые стихи») — ГЛМ.

403. «Красная нива», 1926, № 47, с. 18. Печ. по Ст. 1956, с. 232.

404. «Грань», с. 88. Печ. по Ст. 1956, с. 248. О. С. *Литовский* (1892—1971) — советский журналист и критик, одно время работавший в «Известиях». *Корпус* — название размера типографского шрифта. *Эльзевир* — название рисунка (гарнитуры) шрифта.

405. «Грань», с. 90, с другим первым ст.: «В чадре алмазно-хрусткой снега». Печ. по Ст. 1956, с. 250. Авториз. машинопись без последней строфы — АСГ. *Зыбка* — колыбель.

406. «Грань», с. 91, под загл. «Болезнь» и с посвящением А. Г. Соловьеву. Печ. по «Сев. сиянию», с. 139. Авториз. машинопись без посвящения — АСГ. *Плазмодий* — одноклеточный организм, паразитирующий в красных кровяных тельцах.

* **407.** «Прожектор», 1927, № 2, с. 23, в составе 14 строф. Печ. по «Сев. сиянию», с. 114. Автограф редакции «Прожектора» с иной последней строфой — ГЛМ. Авториз. машинопись с небольшими отличиями от «Прожектора» — АСГ. В «Прожекторе», «Грани», Избр. 1936 имелись 4 дополнительных строфы.

408. «Грань», с. 97.

409. «Грань», с. 98. Авториз. машинопись — АСГ. *Стило* — костяная палочка, служившая орудием письма по восковой пластинке.

ДУМЫ

Книга вышла в ноябре 1942 г. в Ташкенте. В настоящее издание не включены следующие стихотворения из нее: «1613-й год», «Вчера и сегодня», «Ленинград», «Красная Армия», «Походная», «Песня», «Партизаны», «Мы вернемся», «Славяне», «Не сдадимся», «Братьям-украинцам», «Австриец», «Норвежская баллада», «Узбекистан».

410. «Думы», с. 3. Печ. по Ст. 1956, с. 260. Авториз. машинопись с примеч.: «Написано в Ленинграде в день объявления войны и в тот же день читано по радио» — АСГ. *Мамай* (ум. 1380) — правитель Золотой Орды, потерпевший сокрушительное поражение от русского войска в Куликовской битве 1380 г.

411. «Думы», с. 5. Печ. по «Сев. сиянию», с. 160. Авториз. машинопись — АСГ. *Сясь* — река, впадающая в Ладожское озеро. *Бердыш* — топор с закругленным в виде полумесяца лезвием на длинном древке, холодное оружие XV—XVII вв. *Шелом* — шлем.

412. «Думы», с. 9. Печ. по «Сев. сиянию», с. 162. В «Думах», Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, БСП после двустишия 6 было еще одно. Авториз. машинопись — АСГ. *На речке на Березе.* После переправы через реку Березина в январе 1812 г. армия Наполеона фактически перестала существовать.

* **413.** «Думы», с. 20. Печ. по «Сев. сиянию», с. 158. В «Думах», Ст. 1956, Ст 1960, Ст. 1964, БСП после строфы 4 была еще одна. Авториз. машинопись — АСГ.

* **414.** «Думы», с. 22, с иной редакцией строф 5 и 6. Печ. по Ст. 1956, с. 269. Авториз. машинопись АСГ редакции «Дум» имеет вписанное рукой Городецкого окончание. *Растоптав змею копытом... Всадник властно звал меня.* Подразумевается памятник Петру I («Медный всадник»). Его создатель (М.-Э. Фальконе) изобразил Петра верхом на коне, топчущем копытами змею — символ враждебных царю-преобразователю общественных сил.

415. «Думы», с. 26. Печ. по Ст. 1956, с. 271. Авториз. машинопись — АСГ.

416. «Думы», с. 29, без эпиграфа и с вариантами; Ст. 1960. Печ. по «Сев. сиянию», с. 194. Авториз. машинопись (текст «Дум») — АСГ. *Иванов* Иван Петрович (1880—1941) — колхозник с. Лишняги Серебряно-Прудского р-на Тульской обл. 7 декабря 1941 г. фашисты заставили его провести колонну из 30 машин с боеприпасами в соседнее село Подхожее. Иванов завел колонну в глубокий овраг в глухом лесу, где машины застряли в снегу. Гитлеровцы расстреляли И. П. Иванова (см. «Правда», 1942, 11 февраля). *Лихо* — зло, беда.

417. «Думы», с. 32. Печ. по Ст. 1956, с. 273. Авториз. машинопись — АСГ.

ПЕСНЯ ДРУЖБЫ

Книга вышла в конце августа 1947 г. в Минске. В настоящее издание не включены следующие стихотворения из нее: «Песня дружбы», «На отъезд Якуба Коласа», «Якубу Коласу», «Комсомол», «Партизаны», «Встреча», «Победителям», «Возвращение», «Минск», «Ветер», «Академия наук», «Минское дитя», «Раненые сосны», «Ивушка», «Соседке», «В путь великий».

418. «Песня дружбы», с. 5, под загл. «Посвящение». Печ. по «Сев. сиянию», с. 215. *Янка Купала* — псевдоним И. Д. Луцевича (1882—1942), народного поэта Белоруссии.

419. «Песня дружбы», с. 18. Печ. по Ст. 1964, с. 384. Авториз. машинопись с посвящением «Якубу Коласу» — АСГ.

* **420.** «Песня дружбы», с. 45, другая редакция, с дополнительными строфами. Печ. по «Сев. сиянию», с. 217.

* **421.** «Песня дружбы», с. 48; Ст. 1956. Печ. по «Сев. сиянию», с. 219. В «Песне дружбы», Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, БСП после строфы 8 были три дополнительных строфы. *Древляне* и *кривичи* — древнеславянские племена, жившие на западе нынешней европейской части СССР.

II

СТИХОТВОРЕНИЯ

В этом разделе собраны стихотворения Городецкого, входившие в сборники: Избр. 1936, Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964, БСП, «Сев. сияние», а также публиковавшиеся в различных дореволюционных и советских периодических изданиях. Несколько стихотворений публикуется впервые.

422. «Истина», 1906, № 3, с. 65. Первое опубликованное стих. поэта (см. примеч. 86). Городецкий вспоминал об обстоятельствах этой публикации: «⟨Поэт⟩ Александр Рославлев взял у меня стихотворение «Папа, не ходи работать, папа, не ходи! Наше счастье впереди. . .» и передал в редакцию журнала «Истина», где оно вскоре и было напечатано, раньше, чем взятые Брюсовым в его «Весы» стихи про Ярилу» («Мой путь», с. 323).

423. «Сатирикон», 1908, № 17, с. 2. *Гобелен* — стенной ковер, обычно с вытканными на нем изображениями людей, животных, пейзажей.

424. «Северные записки», 1913, № 10, с. 47. Печ. по Избр. 1936, с. 120. В 1912—1913 гг. Городецкий посетил Италию, о чем позднее вспоминал: «Две поездки в Италию, где я надеялся — в эпохе Ренессанса — найти что-то для себя новое в познании России, ничего мне не дали, кроме цикла стихов, в которых торжествовала тоска

по родине» («Мой путь», с. 325). В 1914 г. сб. «Canti d'Italia. Седьмая книга стихов» готовился к изданию, но не вышел в свет в связи с начавшейся мировой войной. *Матвей* — явная ошибка Городецкого: речь идет, конечно, о знаменитой скульптуре Микеланджело «Моисей» — центральной фигуре из неосуществленного надгробия папе Юлию II. *Глыбы, Едва початые стоят*. Рядом с «Моисеем» находятся неоконченные статуи библейских прародительниц — Лии и Рахили. *Четыре пленника*. В сорокафигурную композицию надгробья должны были входить четыре фигуры рабов, скульптуры эти остались незаконченными. Но Городецкий не мог их видеть рядом: две скульптуры находятся в Париже в Лувре, а две во Флорентийском музее Академии изящных искусств. *Рамена* — плечи. *А женщина вся изогнулась*. Среди скульптур для надгробья папы Юлия II нет скульптуры женщины; по-видимому, речь здесь идет о скульптуре «Пьета» (третьей из четырех, выполненных Микеланджело), предназначенной скульптором для своего надгробья; находится в церкви Санта Мария дель Фиоре (Флоренция).

*** 425.** «Изборник», с. 45, с двумя дополнительными строфами после 4 и 6. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Пиза* — город в Италии (в провинции Тоскана). *Арно* — река в средней Италии, на берегах которой стоят города Пиза, Сиена, Флоренция. *Галилео Галилей* (1564—1642) родился в Пизе. *Там поросла травою площадь* — Пьяцца дель Дуомо (Соборная площадь), главный архитектурный ансамбль города, где находятся основные достопримечательности Пизы: кафедральный собор (Дуомо), *баптистерий* (крестильня), построенный в 1153—1278 гг. (т. е. ко времени поездки Городецкого баптистерию шел восьмой, а не девятый век), и *колокольня* — знаменитая падающая башня, строительство которой было начато в 1174 г. *Апуаны* — Апуанские Альпы, отроги Лигурийских Апеннин, район средней Италии. *Тоскана* — область в средней Италии.

*** 426.** «Новый журнал для всех», 1913, № 1, стлб. 15, в составе 8 строф; Ст. 1956. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Фьезоланские холмы*. Фьезоле — город в Тоскане, в чрезвычайно живописной местности на крутом холме над долиной реки Арно. Фьезоланские холмы с их голубоватой дымкой воспеты в литературе (см. «Фьезоланские нимфы» Боккаччо). *Диана* (римск. миф.) — богиня луны и охоты.

427. «Изборник», с. 47, под загл. «Сиена» и без примеч.; Ст. 1956, под новым загл. и с примеч. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Кампо Санто* — кладбище в Сиене.

*** 428.** «Заветы», 1912, № 5, с. 21, под загл. «Прибой», в более пространной редакции. Печ. по Ст. 1956, с. 83. Авториз. машинопись — АСГ.

*** 429.** «Заветы», 1912, № 7, с. 48, под загл. «Ночь» и с двумя дополнительными строфами после 3 и 4; Избр. 1936; Ст. 1956, с новыми исправл. и сокращ. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

430. Ст. 1956, с. 91. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Флоренция* — город-хранитель величайших художественных ценностей, столица провинции Тоскана. *Уффици* — государственная картинная галерея, крупнейшая во Флоренции. *Давид* — знаменитая скульптура *Микеланджело* (1475—1564), изображающая иудейского царя Давида; находится в Музее Флорентийской Академии изящных искусств. *Боттичелли* Сандро (1445—1510) — итальянский художник. *Дантовы терцины* — трехстишные строфы, которыми написана «Божественная комедия» А. Данте. *Боккаччио* Джованни (1313—1375) — итальянский писатель, автор «Декамерона» — сборника ста новелл, рассказываемых от лица молодых итальянцев, развлекающих друг друга во время чумы во Флоренции.

431. «Новый журнал для всех», 1912, № 10, стлб. 67; Ст. 1956. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *«Мучения св. Юстины»* — картина итальянского художника Паоло Веронезе (1528—1588). *Пеня* — упрек, жалоба.

*** 432.** «Заветы», 1912, № 6, с. 70, в составе семи строф. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Джинестри* — ярко-желтый цветок. *Пинии* — итальянские сосны.

*** 433.** Избр. 1936, с. 123, в составе одиннадцати строф; Ст. 1956. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Савонарола* Джироламо (1452—1498) — итальянский религиозно-политический реформатор; возглавлял Флорентийскую республику после восстания 1494 г. С религиозным фанатизмом выступал против *Боттичелли* (см. примеч. 430), поэта Петрарки и других деятелей искусства, прославлявших радости жизни. В 1497 г. был обвинен в ереси и 23 мая 1498 г. сожжен на площади Синьории во Флоренции. Место сожжения отмечено было позже круглым бронзовым диском. *«Святая простота!»* («O sancta simplicitas!») — эти слова задолго до Савонаролы — 6 июля 1415 г. — произнес во время казни на костре выдающийся деятель чешского национального движения Ян Гус (по другой версии, их произнес также во время казни 30 мая 1416 г. друг и единомышленник Гуса Иероним Пражский). *Десница* — правая рука. *Давид* — см. примеч. 430.

434. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Фонтан*, описанный Городецким, находится в Болонье, на площади Нептуна; его создал в 1556 г. скульптор Джованни Болонья. *Нептун* (римск. миф.) — бог моря. *Наяды* (греч. миф.) — нимфы вод.

*** 435.** «Новый журнал для всех», 1913, № 4, стлб. 4, под загл. «Капитолий», другая редакция; Избр. 1936, с вариантами; Ст. 1956, с новой заключительной строфой. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Диоскуры* (греч. миф.) — братья-близнецы (Кастор и Полидевк). В Риме сохранились развалины храма Диоскуров, а две скульптуры братьев как бы охраняют вход на *Капитолий* — древнейшую цитадель города, располагавшуюся на одном из семи холмов Рима, и храм Юпитера Капитолийского. Современный Капитолий представляет

собой архитектурный ансамбль из трех зданий: в середине — Дворец сенаторов, справа — Дворец консерваторов и слева — главное здание Капитолийского музея. В центре площади стоит бронзовая со следами позолоты и покрывшаяся патиной конная статуя императора Марка *Аврелия* (161—180), высокохудожественный памятник античной скульптуры. *Волчица* — так называемая «Капитолийская волчица», произведение неизвестного этрусского скульптора в бронзе, ставшее символом города Рима. *Аргонавты* (греч. миф.) — герои цикла сказаний, предпринявшие во главе с Ясоном поход в Колхиду за золотым руном.

436. «Заветы», 1913, № 5, с. 7. *Сорренто* — курортный город на южном берегу Неаполитанского залива. *Пиния* — итальянская сосна.

437. «Новый журнал для всех», 1913, № 5, стлб. 1. *Помпеи* — город неподалеку от Неаполя, засыпанный в 79 г. пеплом в результате извержения Везувия; раскопки начались в 1748 г. и ведутся до сих пор; в музее г. Помпеи хранится сделанный по методу археолога Фьорелли гипсовый слепок с фигуры девушки-помпеянки, погибшей во время извержения.

438. «Заветы», 1913, № 5, с. 8.

439—440. «Нива», 1914, № 29, с. 570 и 573, как два отдельных стих.: первое под загл.: «В саду у Репина»; второе под загл. «Утро в Пенатах. И. Е. Репин в саду». Печ. по Ст. 1960, с. 97. *Водомет* — фонтан. *Чугуев* — город на Украине, место рождения И. Е. Репина.

441. «Ежемесячный журнал», 1915, № 5, с. 3. *Арктур* — звезда альфа в созвездии Волопаса, одна из трех наиболее ярких звезд северного полушария неба.

442. «Лукоморье», 1916, № 46, с. 1. *Ушкуйник* — см. примеч. 249. *Зыбка* — колыбель.

443. «Лукоморье», 1916, № 40, с. 1.

* **444.** «Сев. сияние», с. 28. В АСГ хранятся неправленные гранки для какой-то дореволюционной газетной публикации и совпадающая с ними по тексту авториз. машинопись, где стих. имеет загл. «Пышный плат» и дополнительную строфу после второй.

445. Печ. впервые по авториз. машинописи АСГ. *Нимфа* — см. примеч. 263—268.

446—447. См. 1956, с. 37. Авториз. машинопись без посвящения, с небольшими вариантами и под загл. «1. Прости», «2. Любимой» — АСГ. *А. А. Г.* — Анна Алексеевна Городецкая (1889—1945), жена поэта.

448. Ст. 1956, с. 118. *Решт* — город в Иране.

449. Печ. впервые по авториз. машинописи АСГ.

450. Печ. по авториз. машинописи АСГ. В АСГ хранятся неправленные гранки стих. для какой-то, видимо, газетной публикации.

451. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

452. Избр. 1936, с. 111. Печ. по Ст. 1960, с. 100. Авториз. машинопись — АСГ.

453. Избр. 1936, с. 112. Печ. по Ст. 1960, с. 101.

* **454.** «Сев. сияние», с. 30. В АСГ хранятся неправленные гранки для какой-то дореволюционной газетной публикации, содержащие раннюю редакцию стих. под загл. «Под северным сиянием» и с дополнительными строфами после строфы 5, а также авториз. машинопись под загл. «Северное сияние» и с сокращениями.

455. Избр. 1936, с. 153. Печ. по Ст. 1956, с. 170.

456. Ст. 1960, с. 269. Авториз. машинопись — АСГ. *Скрижали* — священные письмена.

457. Печ. по авториз. машинописи АСГ. *Ностальгия* — тоска по родине.

458. «Сев. сияние», с. 41. Авториз. машинопись — АСГ. *Гилян* — провинция в Иране на юго-западном побережье Каспийского моря. *Решт* — см. примеч. 448. *Вежды* — веки. *Дервиш* — см. примеч. 395. *Энзели* — город в Иране на юго-западном побережье Каспийского моря.

* **459.** «Сев. сияние», с. 50. Автограф ранней редакции АСГ имеет дополнительные строфы; авториз. машинопись АСГ, снятая с этого автографа, — под загл. «Рассвет на море».

* **460.** «Сев. сияние», с. 46. Авториз. машинопись — АСГ; автограф АСГ имеет две заключительных строфы.

461. Ст. 1956, с. 119. Автограф и авториз. машинопись под загл. «Дуб» — АСГ.

462. Ст. 1956, с. 144. Автограф под загл. «Корпуса (Зых)» и авториз. машинопись под загл. «Зых» — АСГ. *Дантов ад.* В первой части поэмы Данте «Божественная комедия» подробно описываются ужасные мучения грешников, пребывающих в аду. *Мангал* — небольшой очаг или жаровня. *Тартальщик* — рабочий на нефтепромыслах, черпающий (тартающий) нефть из скважины большим ведром, опускаемым на стальном канате.

463. Избр. 1936, с. 301. Печ. по Ст. 1964, с. 186. Авториз. машинопись — АСГ.

*** 464.** Избр. 1936, с. 179. Черновой автограф — ЦГАЛИ; авториз. машинопись — АСГ. *XI армия* — армия, освободившая Закавказье от мусаватистов, национал-меньшевиков и дашнаков.

*** 465.** «Сев. сияние», с. 96. Авториз. машинопись АСГ содержит раннюю редакцию стих. с дополнительными строфами. ВХУТЕМАС — Высшие государственные художественно-технические мастерские, основанные в Москве в 1918 г. *Алаверды* — грузинский застольный возглас «будь здоров». *Дека* — доска в струнных инструментах, служащая для усиления резонанса. *Ватерпас* — простейший прибор для проверки горизонтальности поверхности.

466. «Новые стихи», М., 1927, сб. 2, с. 21, под загл. «Разговор»; Избр. 1936. Печ. по «Сев. сиянию», с. 98. Авториз. машинопись — АСГ. *Бурнус* — длинный плащ с капюшоном, род женского пальто.

467. Ст. 1960, с. 272. *21.1.24* — день смерти В. И. Ленина.

*** 468.** «Красная нива», 1927, № 42, с. 1, другая редакция, без строфы 5. Печ. по «Сев. сиянию», с. 119. В «Красной ниве», Ст. 1956, Ст. 1960, Ст. 1964 после строфы 5 была еще одна строфа. Авториз. машинопись — АСГ. *Янцзы* — река в Китае. *Линотип* — типографская строконаборная машина. *Ротационка* — ротационная печатная машина.

*** 469.** «Рабочий чтец-декламатор», сост. С. Городецкий и Е. Приходченко, с предисл. А. Луначарского, Л., 1925, с. 201, другая редакция, без строфы 17 и с двумя другими предпоследними строфами; Избр. 1936. Печ. по Ст. 1956, с. 351. Авториз. машинопись — АСГ. А. В. Луначарский заметил: «Пожалуй, немножко длинно, но все же очень сильно стихотворение „Беспризорный“» (ЛН, с. 46).

470. «Красная нива», 1926, № 12, с. 9. Печ. по авториз. машинописи АСГ.

471. «Красная нива», 1924, № 32, с. 772, в качестве четвертого стих. из цикла «Памяти Александра Ширяевца». Печ. по «Сев. сиянию», с. 124. Авториз. машинопись — АСГ. *Пахтать* — сбивать. *Остья* — см. примеч. 368.

*** 472.** Избр. 1936, с. 317, без строф 1—2 и 6—10; Ст. 1960, с дополнительными строфами после строфы 2. Печ. по «Сев. сиянию», с. 143. Авториз. машинопись первой редакции — АСГ.

*** 473.** «Красная новь», 1928, № 2, с. 120, с подзагол. «Памяти Н. Г. Чернышевского. 1828—1928», в другой редакции и с дополнительными строфами. Печ. по Избр. 1936, с. 284. Авториз. машинопись первой редакции (ЦГАЛИ) имеет примеч.: «Слова, стоящие в ка-

вычках, принадлежат Чернышевскому», а строфа 8 дана в другой редакции. На полях машинописи имеется помета: «На III пол⟨осу⟩ „Известий“», однако в газете стих. опубликовано не было. Вторая авториз. машинопись этой редакции с небольшими отличиями — АСГ. *«Особенный человек»* — название 29-й главки третьей главы романа «Что делать?», в которой повествуется о Рахметове. *Архиереем будет сын.* Н. Г. Чернышевский родился в Саратове 12 (21) июля 1828 г. в семье священника; учился в духовной семинарии. *Подлейший подлог.* Формальным поводом для ареста Чернышевского были провокационные письма и показания В. Д. Костомарова. *Над головой сломали шпагу.* Обряд гражданской казни, означавший лишение человека всех сословных и гражданских прав; этой казни был подвергнут Чернышевский; *Чтоб Чернышевского читать.* Известно, что К. Маркс изучал русский язык и читал в подлиннике сочинения Чернышевского. *Вилюйской хаты.* После отбывания каторги Чернышевский в 1871 г. был выслан в Вилюйск — глухое поселение Якутской области, где он находился до 1883 г.

474. Избр. 1936, с. 304. Печ. по Ст. 1956, с. 205. Авториз. машинопись —АСГ.

475. Янка Купала, Сборник стихотворений, М.—Л., 1930, с. 56. Авториз. машинопись — АСГ. Перевод стих. Я. Купалы «Не шукай. . .».

476. Ст. 1964, с. 371. Авториз. машинопись — АСГ. *Стило* — см. примеч. 409. *Старинный годуновский дом.* Городецкий жил в бывших палатах Годунова (Исторический проезд, д. № 1/5). *Болото* — Болотная площадь в Москве, на которой казнили Пугачева.

477. Избр. 1936, с. 325. Авториз. машинопись — АСГ.

478. Христо Смирненский, Да будет день!, М, 1935, с. 16 Перевод стих. Смирненского (1898—1923), пролетарского поэта Болгарии «Да бъде ден! . .». Авториз. машинопись ранней редакции (АСГ) содержит большую авторскую правку.

479. Христо Смирненский, Да будет день!, М., 1935, с. 60, другая редакция; Ст. 1956. Печ. по «Сев. сиянию», с. 149. Перевод стих. Х. Смирненского «Червените ескадрони». Стих. было им написано в конце августа 1920 г. как отклик на рейд Первой конной армии Буденного против белополяков в июле-августе 1920 г.

480. Важа Пшавела, Избранные произведения, Тбилиси, 1939, с. 52. Печ. по Ст. 1956, с. 326. Черновой автограф, содержащий метрическую схему стих. и наброски перевода, а также авториз. машинопись — АСГ. *Важа Пшавела* — псевдоним грузинского поэта Л. П. Разикашвили (1861—1915).

481. На русском языке печ. впервые по авториз. машинописи, где последняя строфа приписана рукой автора. В переводе Я. Коласа на

белорусский язык опубликовано: Якуб Колас, Под Сталінскім сонцам. Вершы. 1937—1939, Мінск, 1940, с. 47.

482. Сб. «Родина счастливых», М., 1937, с. 105. Печ. по Ст. 1956, с. 374. Авториз. машинопись — АСГ.

483. Печ. впервые по авториз. машинописи АСГ. Черновой и беловой автографы под загл. «Элегия» и с посвящением «Рогнеде» (дочери поэта) — ЦГАЛИ. В беловом автографе примеч. автора, сделанное в 1947 г.: «Это стихотворение написано на музыку Ю. Шапорина ... Ритм определен музыкой. Тема — ее настроением».

484. Ст. 1956, с. 228. Автограф — в письме Городецкого к А. М. Пазовскому; авториз. машинопись АСГ имеет посвящение: «Арию Пазовскому». *«Пятая»* — пятая симфония Д. Д. Шостаковича.

485. «Сев. сияние», с. 208. Автограф и две авториз. машинописи — АСГ. *Пали Софии одна и другая* — два выдающихся памятника древнерусского зодчества — София новгородская (см. примеч. 214) и София киевская, возведение которой закончилось в 1037 г., — сильно пострадали в период немецко-фашистской оккупации. *Симон* — Симон Ушаков (1626—1686) — художник и гравер. *Андрей* — Андрей Рублев (ок. 1360—1430) — древнерусский художник. *Зело* — очень. *Вои* — воины. *Сторóжа* — застава на границе. *Вежа* — башня. *Ностальгия* — тоска по родине.

486. Ст. 1960, с. 256. Автограф и авториз. машинопись — АСГ. *Арина Родионовна* — няня Пушкина. *Илья-пророк* — персонаж древнехристианской мифологии, повелитель грома и молний. *Панафида* — панихида.

487. Ст. 1960, с. 259. Черновой автограф и авториз. машинопись с двумя дополнительными строфами — АСГ.

488. Ст. 1956, с. 236. Автограф и авториз. машинопись — АСГ. *Час восемнадцатый.* В восемнадцать часов по московскому времени передавали сводку Совинформбюро о событиях на фронте. *Сокол-колокол девять раз вылетит — грянет Москва.* В 9 часов вечера в Москве обычно давался салют в честь очередной победы на фронте.

489. Якуб Колас, Избранное, М., 1946, с. 91. Авториз. машинопись — АСГ. Перевод стих. «Верба». *Якуб Колас* — псевдоним К. М. Мицкевича (1882—1956), народного поэта Белоруссии. Городецкий ставил себе в заслугу, что он первым познакомил русского читателя со стихами Якуба Коласа (см.: «Неман», 1961, № 3, с. 110).

490. Ст. 1956, с. 120. Авториз. машинопись — АСГ. Это и два следующих стих. (№ 491 и 492) посвящены памяти А. А. Городецкой, скончавшейся 10 февраля 1945 г.

491. Ст. 1956, с. 121. Авториз. машинопись — АСГ. *Наль* и *Дамаянти* — герои «Эпизода о Нале» (из третьей книги древнеиндийского эпоса «Махабхарата»), проявившие трогательную верность в любви.

492. Ст. 1956, с. 122. Авториз. машинопись — АСГ. *Петрарка* Ф. (1304—1374) — итальянский поэт; *Лаура* — героиня его стихотворений, возлюбленная поэта.

493. Печ. впервые по авториз. машинописи, содержащей последнюю редакцию стих. Черновой автограф и три авториз. машинописи — АСГ. «Послесловие» предназначалось для книги стихотворений Городецкого, издание которой не состоялось. *Нимфа* — см. примеч. 263—268.

494. Печ. впервые по авториз. машинописи АСГ. В день 160-летия со дня смерти А. Н. Радищева — 24 сентября 1962 г. — стих. было прочитано на митинге, проведенном возле дома, в котором писатель в сентябре 1790 г. находился под арестом (Москва, Исторический проезд, № 1). *Болото* — см. примеч. 476.

495. Мария Конопницкая, Избранное, М., 1950, с. 300. Авториз. машинопись — АСГ. Перевод стих. польской писательницы Марии Конопницкой (1842—1910) «W małej piosnce...».

496. Мария Конопницкая. Избранное, М., 1950, с. 297. Перевод стих. «Błagosław, bracie, piosnce twej...».

497—501. Ст. 1956, с. 125, 123, 124, 126, 127. Авториз. машинописи — АСГ.

502. Печ. впервые по авториз. машинописи АСГ.

503. Ст. 1960, с. 288. Авториз. машинопись — АСГ.

504. «Правда», 1958, 5 декабря. *Неглинная* — река в Москве, заключенная в трубу и текущая под землей. *Оружейная* — Оружейная палата Кремля.

505—506. Печ. впервые по авториз. машинописи АСГ.

507. Печ. впервые по авториз. машинописи АСГ. Ольга Ивановна *М⟨ахова⟩* — колхозница с. Доброе Калужск. обл.

508. Ст. 1964, с. 298. Авториз. машинопись — АСГ.

509. Ст. 1964, с. 301. Авториз. машинопись с иной редакцией первой строфы — АСГ.

510. Ст. 1964, с. 302.

511. «Правда», 1963, 21 апреля. *Мессия* — божественный посланец; спаситель.

512. Ст. 1964, с. 304.

513. Печ. впервые по авториз. машинописи АСГ.

514. «Сев. сияние», с. 242. Д. Н. *Голубков* (1930—1973) — советский поэт.

515. Печ. впервые по авториз. машинописи АСГ. *Пишмаша* — шуточное словообразование от «пишущая машинка».

516. «Сев. сияние», с. 243. Авториз. машинопись — АСГ.

517. «Сев. сияние», с. 244. *Дулова В. Г.* (р. 1910) — арфистка, народная артистка РСФСР.

ПОЭМЫ

518. «Ars», Тифлис, 1918, № 1, с. 5; тогда же вышла отдельным изданием. Неправленная верстка для «Ars'a» — ГБЛ. *«Мерседес»* — марка автомобиля. *Духан* — небольшая лавка или харчевня. *Цоцхали* — рыбное блюдо. *Сациви* — холодное блюдо из птицы. *Чусты* — домашняя обувь. *Ацетиленовый огонь* — фонарь, в котором горит газ ацетилен. *Кальян* — см. примеч. 357. *Гурии* — мифические девы мусульманского рая.

* 519. Ст. 1960, с. 339. Авториз. машинопись (текст Ст. 1960) — АСГ; там же хранится машинопись другой редакции стих. под загл. «Утреннее размышление о ритмах русского языка», имеющая помету: «Вар⟨иант⟩ 1956 г.». Отличия второй редакции: отсутствуют строфы 3—13, 16—17, 28—30, 32—35, 38—39; некоторые строфы переставлены и имеют варианты; окончание иное. Начало перекликается с пушкинским рассуждением о ямбе в «Домике в Коломне». *Дант во фригийском колпаке.* Речь идет о репродукции с одного из известных портретов Данте, где он изображен во фригийской шапке — головном уборе древних фригийцев, напоминающем высокий колпак с двумя клапанами на ушах. *Спондей* — в русской поэзии двухсложная двухударная стопа; часто встречающиеся вкрапления спондея в ямбические стихи нарушают их метрическую правильность («убийца ямба»), но дают возможность разнообразить ритмику таких стихов. *Пэон* — в русской поэзии четырехсложная стопа с ударением на одном из четырех слогов (различают четыре вида пэона в зависимости от положения ударной стопы). *Триангулярный* — треугольный по форме. *Анапест, дактиль, амфибрахий* — в русской поэзии трехсложные стопы с ударением на третьем, первом и втором слоге. *Сквозь силлабическую мглу.* Силлабическое стихосложение существовало в русской поэзии до первой трети XVIII в.; его основной принцип — соблюдение одинакового количества слогов в стихах, что придавало им утомительную монотонность. *«Стесняя вихрем... можешь*

ли затмить?» и *«Кто море... положил предел?»* — цитаты из «Оды, выбранной из Иова» М. В. Ломоносова. *«Заламывая котелки»* — цитата из стих. А. Блока «Незнакомка».

520. Ст. 1956, с. 271. Автограф и авториз. машинопись с небольшими разночтениями, под загл. «Суоми» и с датой 1943 г. — АСГ. *Кантеле* — карело-финский струнный музыкальный инструмент, родственный гуслям. *Кола* — Кольский полуостров. *Иоганновы костры* — деревенский праздник, подобие русского Ивана Купалы (см. примеч. 77). *Суоми* — Финляндия.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. Фотография 1923 г.
2. *Между с. 320* и *321*. Фотография 1904 г.
3. *На обороте:* Фотография 1910 г.
4. *Между с. 352* и *353*. Фотография 1915 г. С. М. Городецкий и С. А. Есенин.
5. *На обороте:* Фотография 1953 г.
6. *С. 397*. Автограф ранней редакции стихотворения «Ямбы». 1925. ГЛМ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

I

Ярь

ЗАЧАЛО

ЯРЬ

ТЕНЬ

Дикая воля

Русь

Ива

РУСЬ

ЗАХОЛУСТЬЕ

КАЛИКИ-КАЛЕКИ

ДЕВИЙ ЛИК

ВЛАГА ЛЕСА

ЗОРИ НЕТЛЕННЫЕ

В СЕРДЦЕ РЕБЕНКА

Цветущий посох

СЕБЕ

НИМФЕ

ДРУЗЬЯМ

Четырнадцатый год

Ангел Армении

Серп

Миролом

ИССТАРЬ

НЕ БЕЛЫ СНЕГИ

МИРОЛОМ

Из тьмы к свету

Грань

ОДИН В ПУСТЫНЕ

СТИХИ УШЕДШИМ

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Думы

Песня дружбы

II

Стихотворения

Поэмы

Городецкий Сергей Митрофанович
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л О. изд-ва «Советский писатель», 1974 г.
640 стр. План выпуска 1974, № 338

Редактор *В. С. Киселев*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 15/III 1974 г Подписано в печать 2/VII 1974 г. М 20663. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$, типогр. № 1. Печ. л. 20+3 вкл. (33,91). Уч.-изд. л. 30,59. Тираж 25 000 экз. Заказ № 265. Цена 2 р 97 к.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

